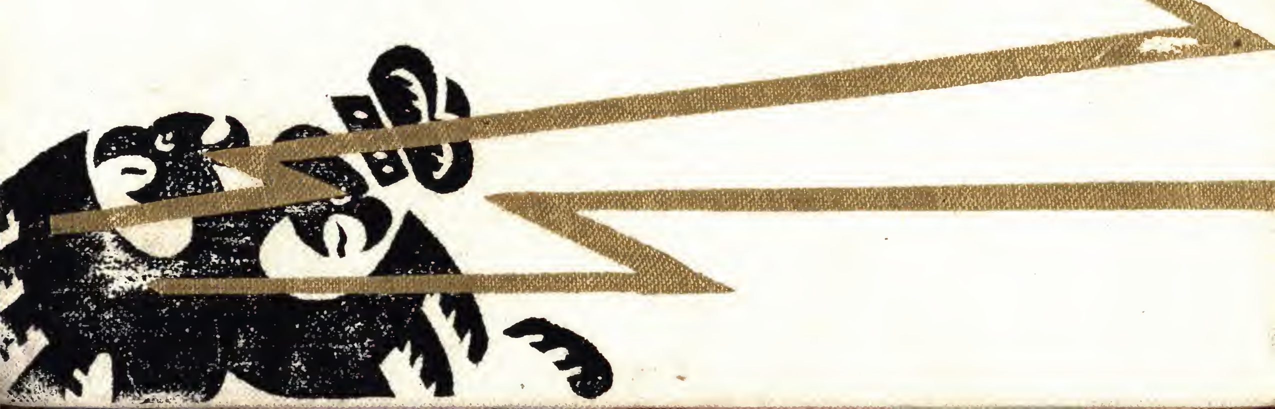
Книга о счастливом человеке

ВОЛЬФ ДОЛГИЙ







Издательство
ПОЛИТИЧЕСКОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ
Москва
1971



СЕРИЯ • «ПЛАМЕННЫЕ РЕВОЛЮЦИОНЕРЫ» •

ПР

Вольф Долгий

КНИГА О СЧАСТЛИВОМ ЧЕЛОВЕКЕ

ПОВЕСТЬ
О НИКОЛАЕ БАУМАНЕ

Р2
Д64

Писатель Вольф Долгий известен своими книгами — «Первый рейс» и «Ступеньки», а также киносценарием «Я купил папу» и пьесой «После казни прошу...», посвященной П. П. Шмидту. Юрист по образованию, В. Долгий много лет работал в газете, на телевидении, был первым помощником капитана.

Герой его новой повести Николай Бауман, недолгая жизнь которого (он погиб 32 лет) — яркий пример непреклонности и одухотворенного оптимизма. Оптимизм революционера был добыт в нелегкой жизни, выстрадан. И тем не менее это книга о счастливом человеке. Счастливом в самом главном, несмотря ни на что.

«...Каждый человек должен идти своим собственным путем. Счастлив тот, кто идет неуклонно, без страха и сомнения, туда и прямо, куда указывает ему его совесть и убеждения» — эти слова Баумана можно поставить эпиграфом ко всей книге.

1—2—2
189—70

Глава первая

Испытание на прочность

1

Для своей должности был он все-таки чересчур молод, полковник Пирамидов. И то ли от этого несоответствия, то ли оттого, что был он очень уж красив, просто до неприличия, а скорей всего оттого, что был на нем новехонький, без единой морщинки мундир, казался он Бауману каким-то невсамделишным: ни дать ни взять — ряженый на святках или, лучше, актеришка из захудалой провинциальной труппы. Подумав об этом, Бауман краешком отметил, что и фамилия у полковника дичайшая — Пирамидов, откуда такая у православного, не иначе и впрямь для сцены фамилия!

Бауман сидел на табурете, на который ему дозволено было сесть после того, как табурет был наитщательнейшим образом Пирамидовым обследован и никаких тайников обнаружено в нем не было. Правда, дозволение это больше походило на приказание — именно сесть (а не стоять, следовательно, и не ходить), именно на этот табурет и именно в этом месте, ближе к стене, так чтоб весь был на виду и в то же время не мешался чтоб под ногами. В комнатенке, и без того тесной, теперь и вовсе не повернуть-

ся было: помимо полковника и трех жандармов, производивших обыск, были тут еще дворник и его жена, приглашенные в качестве понятых.

Хозяйку, у которой квартировал Бауман, почему-то не позвали, но это и хорошо, подумал он, каково-то ей, милейшей Марии Викентьевне, было б смотреть, как отдирают пристенные плинтусы, а заодно — показавшиеся подозрительными срединные доски пола, как вспарывают (по шву, правда) диванную обивку, выискивая что-то в звонких, туго натянутых пружинах.

Обыск шел уже часа три, не меньше. Бауману даже самому странно было, что в такой комнатенке оказалось столько вещей; о существовании многих он забыл или даже не подозревал; меж тем любая из них, будь то ланцет, предназначенный им для очинки карандашей, или безобиднейшая, с видом на море, хозяйкина картинка на стене, любая вещь была жандармами простукана, общупана, обнюхана.

Сам Пирамидов только вот табуретом почему-то не побрезговал, прежде чем усадить на него Баумана, а так ни к чему больше не прикасался. Да и то ведь сказать: вряд ли гоже, чтобы сам начальник петербургского охранного отделения копался во всякой рухляди, с него и того хватит, что отдает приказания, чем и в каком череде заняться сейчас, ничего не упуская из виду. Если же к этому добавить, что одновременно он успевал нет-нет да взглядывать на обыскиваемого, не выдаст ли тот себя чем, то, верно, у самого господа бога не было бы оснований для упрека. И надо еще отдать Пирамидову должное: вскидывал он на Баумана свои черные глаза всякий раз неожиданно, как бы невзначай, будто и правда просто так, по совершеннейшей случайности натолкнулся на него взглядом... и лишь пронзительность этого

взгляда, а еще больше, пожалуй, излишняя беглость его выдавали полковника.

Бауман усмехался в душе: ну что ж, глядите, господин полковник, хоть так, хоть этак глядите, бога ради, все равно я ничем не выдам себя; не потому даже, что так уж владею собой, просто наперед знаю, что ничего путного вам не найти здесь, больше чем на сутки опоздали... Да, так оно и есть, сказал он себе. То, за чем могли бы охотиться жандармы: воззвания «Союза борьбы» или прокламации, словом, все «противуправительственные» издания, какие действительно имелись у него, еще позавчера отдал он Пилипцу, члену «Союза», рабочему, все до единого отдал, поскольку тот уезжал в Ригу как раз для распространения там на фабриках нелегальной литературы. Единственное, прикидывал Бауман, что могут найти здесь, это конспекты некоторых трудов Маркса, но сочинения Маркса, как известно, не относятся к числу запрещенных изданий. Так что, решил он, оснований для волнений решительно никаких нет. Лучше за Пирамидовым понаблюдать, развлечение как-никак.

Двигался Пирамидов по комнате с редким изяществом: что ни шаг — чуть ли не балетное па. А как отработан каждый жест, поворот головы — прелесть что за актер!.. Судя по повадкам, Пирамидов знал, что красив, и не только не забывал об этом ни на минуту, но и заботился о том, чтобы об этом не забывали другие. Вероятно, самое главное для него было — казаться окружающим таким, каким он хотел казаться. Все, что он делал, он и без того делал с удовольствием, ему самому явно нравилось то, как он отдает, коротко и вместе с тем мягко, приказания, и то, как ловко он успевает следить за действиями всех трех жандармов, но ему этого мало было, ему

еще было нужно, чтобы все видели, какое удовольствие он испытывает от своей работы.

Смотреть на него было занятно, Бауман поймал себя на мысли, что всяких-разных людей встречал, а такого вот — чтоб ни на минуту не переставал играть, нет, такого ему еще не приходилось видывать. Но, странное дело, при всем при том Пирамидов не был смешон. В том, как он вел себя, была даже своего рода законченность, отделанность; можно было его принимать или не принимать — это уж как на чей вкус, но играл он свою роль все же недурно...

Думать о Пирамидове было легко и необременительно. Это не мешало думать о другом — о главном. С того самого момента, как раззвенелся по квартире уже далеко заполночь этот долгий, без останова звонок, а хозяйка почему-то не вышла, и пришлось самому открывать дверь на лестницу, и потом, когда Пирамидов, удостоверившись, что перед ним именно Бауман, Николай Эрнестович, 24 лет от роду, объявил, что в его комнате надлежит произвести обыск, и сейчас, пока сидит вот здесь у стены на табурете,— все эти ночные часы не давала ему покоя мысль: чем же все-таки вызван обыск?

Что не был он случайным — это ясней ясного. Наивностью было бы предполагать, что его работа в «Союзе борьбы», к которому после ареста «стариков» во главе с Ульяновым было приковано особое внимание охранки, его вовсе не бессловесное участие в сходках и собраниях, наконец, распространение им нелегальных изданий среди рабочих,— да, верхом наивности было бы думать, что все это останется незамеченным. Не приходилось тут обольщаться и тем, что за исключением самых близких людей был известен он везде как «Макар Иванович». Трудно

даже вспомнить, сколько раз улавливал он за собой слежку; ему-то, правда, казалось, что всякий раз ускользал он благополучно, но кто может поручиться, что это только ему казалось так, а на самом деле, может быть, и удалось хоть однажды выследить его, «проводить», так сказать, до дома. А установив, где он живет, совсем пустячным было делом дознаться, кто он таков в действительности, этот «Макар Иванович». Так что обыск никак не мог быть случайностью, оставалось лишь выяснить, что явилось непосредственным поводом для него — донос провокатора, чей-нибудь провал? И еще: у него одного обыск или и у других, у Володи Сущинского, к примеру, тоже?

Пирамидов вел себя безупречно — в том смысле, что не задавал выпытывающих вопросов, хотя иные из них были бы естественны, и не выказывал ни радости, ни огорчения, хотя и для того и для другого у него был ряд несомненных оснований. Он настолько владел собой, что даже когда из нижнего ящика старенького бюро был извлечен револьвер с патронами, он и тут не подал вида, что эта находка как-то особо заинтересовала его, а с видимым безразличием вынул из револьвера патроны, деловито пересчитал их и, ни слова не говоря, положил все это на свободный край стола. Словом, по виду его, по всему его поведению ровно ничего нельзя было понять: ни того — один ли Бауман удостоился обыска или же это часть широко задуманной операции, ни даже того — последует ли после обыска арест. Оставалось ждать. Впрочем, ждать было уже недолго: обыск, несмотря на то, что кой-какие вещички (книги, папки с бумагами) перетряхивались по второму, а то и по третьему разу, заметно все же близился к концу. Все чаще распрямлялись жандармы и, как-

то нелепо вдвигая в рукава мундира руки, словно бы стесняясь, что эти руки бездействуют вынужденно, ожидающе смотрели на Пирамидова, готовые исполнить любое новое его распоряжение, а Пирамидов все реже и все с большим затруднением эти распоряжения придумывал. Наступил момент, когда распоряжений и вовсе не последовало. Еще раз оглядев комнату и не увидев в ней ничего такого, что не было бы им увидено раньше, Пирамидов сел за бюро и некоторое время писал что-то. Затем, промокнув чернила и бегло пробежав написанное, он протянул лист бумаги Бауману.

— Ознакомьтесь.

«1897 года, марта 21 дня, в г. С.-Петербурге, я, отдельного корпуса жандармов полковник Пирамидов, составил настоящую опись отобранного по обыску у Николая Баумана:

1. Тетрадь, несшитая, озаглавленная: «Теория ценности и денег К. Маркса».

2. Тетрадь, озаглавленная: «Прибавочная стоимость».

3. Тетрадь из 9 листов по рабочему вопросу с указанием на полях авторов соответствующих сочинений.

4. Тетрадь, в которой помещен рассказ «Мокрая курица» тенденциозного содержания.

5. Тетрадь, в которой трактуется о выработке программы для систематического чтения в социал-демократическом духе.

6. Фотографические карточки Герцена и Лассаля.

7. Револьвер, заряженный шестью патронами.

Полковник Пирамидов».

Дойдя до подписи, а была она предельно разборчивая, без закорючек, почти детская, Бауман оторвал глаза от бумаги.

— Ознакомились? — тотчас, и весьма учтиво, осведомился Пирамидов.

— Я хочу еще раз прочесть,— сказал Бауман.

И точно: документ этот заслуживал того, чтобы получше вникнуть в него. При всей своей сдержанности, как бы нейтральности, кой о чем он все же говорил. Ну, хоть это вот взять — упоминание о социал-демократическом духе, в котором будто бы вырабатывалась программа для систематического чтения. Бауман отлично помнил эту тетрадку: просто список книг, притом среди названий было немало и чисто литературных произведений, русская классика, да и остальные книги не так уж наглядно обнаруживали свое истинное направление. Можно было, конечно, в утешение себе расценить эту столь категоричную формулировку как ошибку не очень знающего человека,— но пусть это и так, сказал себе Бауман, пусть даже это и обмолвка, все равно она более чем примечательна, и допустить ее, такую обмолвку, можно лишь в том единственном случае, если точно знаешь, к кому пришел с обыском.

Но смешно говорить о невежестве Пирамидова: вот ведь как ловко он разобрался, кто изображен на фотокарточках. Ну, Герцен — ладно, это еще куда ни шло, свой все-таки, русский, а Лассаля вот совсем не обязан он был знать в лицо... Так что при этой своей прямо-таки незаурядной осведомленности мог Пирамидов и по одним названиям книг, числившихся в списке, установить характер их подбора; не исключено также, подумал Бауман, что некоторые из этих книг Пирамидов и читывал на досуге, дабы ознакомиться с образом мыслей лиц, подлежащих искоренению. Если так, если и впрямь здесь только, во время обыска, заподозрил он неладное,— тогда еще полбеды и вряд ли последует немедленный арест...

Что же до конспектов работ Маркса, равно как и иных работ по рабочему вопросу, то, бог ты мой, кто же сейчас, если говорить об интеллигенции, не интересуется этими вопросами... в плане теоретическом, разумеется. Рассказ «Мокрая курица», тот и вовсе не беспокоил Баумана; сколь он помнил, ничего хоть мало-мальски подозрительного, а тем паче «тенденциозного» в нем не было — тут Пирамидов явно перегнул.

— Ознакомились? — вновь спросил Пирамидов.

— Да,— сказал Бауман, но не торопился вернуть полковнику опись.

— Имеете какие-нибудь вопросы, замечания?

— Пожалуй.

— Слушаю вас.

— Мне непонятно, что вы имеете в виду, утверждая, что «Мокрая курица» — рассказ тенденциозного содержания. Я с этим не согласен.

— Видите ли,— помолчав с секунду, сказал Пирамидов, и в голосе его не было и тени раздражения,— видите ли, вашего согласия тут не требуется. Вам надлежит лишь ознакомиться с документом, не больше того. Относительно же того, тенденциозен рассказ или нет... у нас еще не единожды будет случай поговорить.

Трудно было не понять затаенный смысл последних слов Пирамидова. Все, подумал Бауман, почти физически ощутив холодок в груди, все, надеяться больше не на что. И подумав об этом, окончательно осознав неминуемость своего ареста, Бауман разозлился на себя: мог бы, кажется, и раньше догадаться, что если сам начальник охранного отделения не погнушался возглавить обыск, значит, были у него веские основания для этого и, значит, заранее, до обыска еще, был решен вопрос об аресте.

Меж тем все перечисленное в описи было тщательно упаковано и перевязано. После этого, уже официально объявив об аресте, Пирамидов велел Бауману одеться. По длинному, с закоулками коридору, а затем по лестнице, вниз, шли так: впереди Баумана и по бокам — жандармы, Пирамидов был сзади. Хозяйка так и не выходила из своей комнаты, и тут только Бауман вспомнил, что Мария Викентьевна с вечера собиралась в гости к сестре, на Садовую, у нее, верно, и заночевала.

Было еще темно, лишь край неба посветлел немного. У подъезда стояла полицейская карета. Бауман приметил, что одно-единственное окошко ее завешено изнутри плотной шторой, и пока шел к карете, прикидывал, по каким улицам повезут его на Шпалерную, в дом предварительного заключения, куда помещают политических. Шедший впереди жандарм поеживался, Бауман тоже ощутил этот пронизывающий озноб, но было сухо и покойно, мартовский день этот обещал быть солнечным и веселым.

Везли Баумана долго, куда дольше, подумал он, чем это нужно, чтобы добраться до Шпалерной. Странным было и то, что проехали через два моста (это было заметно по гулкому перестуку копыт): если ехать в «предварилку», никаких мостов не должно быть на пути. Вскоре после того, как проехали через второй мост,— а судя по его протяженности, был он через Неву,— карета остановилась.

Выйдя из кареты и очутившись на брусчатой мостовой, Бауман узнал железные решетчатые ворота Трубецкого бастиона, его стены, одетые в гранит.

То была Петропавловская крепость.

2

Его поместили в камеру № 56. Одиночка... Иных камер, кроме как одиночных, впрочем, и не было в Трубецком бастионе.

Прежде чем отвести его в эту камеру, тюремные надзиратели (Бауман явно уже поступил в полное их распоряжение) приказали ему раздеться догола и придирчиво осмотрели все его вещи и его самого и лишь после этого заставили облачиться в казенное белье и арестантский серый халат.

Личный обыск этот, надо отдать должное, проходил деловито, сонные надзиратели не позволяли себе ухмыляться или отпускать словечки, какие могли бы унизить,— весь расчет, думал Бауман, пока Пирамидов и надзиратели скрепляли акт соответствующими подписями, весь расчет, вероятно, был на то, что сама по себе эта процедура, когда голый человек поеживается от стыда и неловкости, не просто даже унижает его, но вообще выводит за пределы привычного существования, как бы проводя отчетливую черту между тем, что было и что напрочь перечеркивалось сейчас, и тем, что будет отныне. Да, да, думал Бауман, именно в этом все дело — чтобы с самого твоего первого шага в тюрьме показать тебе, что отныне на тебя уже не распространяются все писаные и неписаные людские законы, что, оказавшись здесь, ты в тот же миг перестал существовать как личность.

Мысль эта, может, оттого, что была первая, показалась очень важной, и Бауман поспешил — не потому, что боялся забыть ее, а чтобы больше не возвращаться к ней,— вывести из нее главное правило для себя на будущее: что бы там дальше

ни было, пусть самое худшее, ни на миг не терять себя.

После выполнения всех формальностей его повели вверх по лестнице, а потом по коридору второго этажа. Коридор этот был просторен, с высоким потолком и, что вовсе удивительно, довольно светел: через большие, хоть и грязноватые окна незатрудненно вламывалось мартовское веселое солнце. Слева на одинаковом расстоянии друг от друга выходили в коридор обшитые железными листами двери, над каждой был номер.

Надзиратель не сразу подобрал ключ, а потом еще и повозился несколько с замком, так что у Баумана было время рассмотреть дверь снаружи: врезана в нее была точно посередке массивная форточка, как и дверь, тоже обшитая железом, в закрытом положении ее удерживал толстый, снизу вверх засов с крючком; над форточкой этой шла узкая щель с заслонкой, это удивило Баумана, он считал, что надзиратели ведут наблюдение через «глазок».

Справившись наконец с замком, надзиратель не стал распахивать дверь настежь, оставил неширокий проход лишь, а сам, чтобы не мешать Бауману пройти в камеру, посторонился. Перед тем как запереть камеру, он равнодушно, но вместе и веско посоветовал своему новому подопечному не кричать, не стучать и вообще — не шуметь. Знать, не обходится здесь без стука и шума, нарушающего порядок, если надзиратель счел необходимым, скорей всего по собственному почину, предупредить об этом. Впору хоть посочувствовать бедолагам-охранителям, подумал Бауман, не сладко, выходит, и им живется тут...

Ладно, шут с ним, с надзирателем,— надоело длить глупую эту, с потугой на насмешку, игру, которую затеял, впрочем, для того лишь, чтобы при-

близить момент, когда останется совсем один, даже и без скрежета этого в замке. Но надзирателя не пережждешь, копуха, видать, все возится, снаружи теперь, у двери — не с замком уже, с какими-то щеколдами вроде бы.

Бауман огляделся. Вся обстановка камеры состояла из навесной металлической доски, намертво прикрепленной к стене (стол, так сказать), железной койки, умывальника и параши — все то самое как раз, что, по его представлению, и должно было находиться в одиночной камере. Если что и показалось ему удивительным, да и то не сразу, не в первую минуту, так это то — почему здесь такой полумрак. Сначала объяснил себе это тем, что камера, возможно, выходит не на солнечную сторону, но тут же и понял свою ошибку: при таком ясном небе все равно должно быть светло — хоть солнечная сторона, хоть несолнечная. Вероятно, и окно тут было ни при чем; пусть и под самым потолком оно, и маленькое, меньше некуда, но и такое окошко должно же пропускать хоть немного света. Поискал глазами табурет; нет, не оказалось его в камере. Пришлось приподняться на цыпочки, да еще и подпрыгнуть, только так и удалось заглянуть в окно. То, что он увидел, никак нельзя было, конечно, предугадать: окно камеры почти упиралось в наружную крепостную стену — куртина, так, кажется, называют эту чертову стену.

Сказывалась напряженная, на нервах, ночь, смертельно хотелось спать, и это хорошо было бы — поспать, выспаться всласть, потому что в любой момент могут вызвать на допрос, и очень важно иметь ясную голову, но нет, не мог позволить он себе эту роскошь сейчас, потому что еще более важно было, чтобы вызов к следователю не застиг врасплох, а для этого

нужно восстановить в памяти по возможности все (и не только точно, но и в подробностях), чем пришлось заниматься последние месяцы: и с кем встречался, и кому какие поручения давались.

Тут же, правда, и понял: всего (так вот, сразу) не вспомнить,— много все же сделано; хотя бы главное, что особо могли вменить ему в вину, не упустить.

Первое, что пришло на ум,— как полгода назад (нет, чуть меньше) приехал он в Питер с Володей Сущинским: казанский, с детства еще друг, и институт вместе кончали, и потом, после института, оба служили ветеринарными врачами хоть и в разных уездах, но в одной, Саратовской, губернии, так что встречались часто. Приехали в теплынь, только дождило меленько,— будто со стороны увидел он сейчас себя с Володей: оба в ватных пальто (на Волге как раз перед их отъездом рванул диковинный для октября мороз), а вокруг под зонтами люди, кое-кто в пиджачках даже; снисходительно, с улыбочкой посматривали на провинциалов столичные жители. Увидев себя со стороны как бы, и сам он поулыбался сейчас, но тогда, в октябрьский тот денек, было им, сколь помнится, не до смеха. Предстоял неблизкий путь на Каменный остров, где жила Володина сестра, а тратиться на извозчика жалко было, хотя и чувствовали себя богачами: шутка ли — у каждого в кармане по пятьсот рублей. Но деньги эти, скопленные за полтора года ветеринарной службы, были предназначены для другого — чтоб сколько-то времени не определяться на службу, а целиком отдать себя революционной работе. Отправились пешком — через весь город, благо пожитков было всего ничего: смена белья да несколько книг.

Само собой, приезд их этот в столицу вряд ли мог

обратить на себя внимание охранки, поскольку ни имена их, ни тем более намерения никому не были известны,— разве что кто-нибудь из особо досужих, случившихся в тот час на привокзальной площади, мог приметить смешных молодых людей явно нестоличного вида. Так что вполне можно было бы не вспоминать сейчас об этом, право, не столь уж примечательном событии,— надо полагать, и сам Пирамидов не нашел бы ничего предосудительного в их приезде,— и если Бауман все же думал об этом, то единственно для разгона лишь. И только разгон этот был взят и сами собой, без понуждения, пошли мысли,— сразу и отсеялось все не идущее к делу: не только мелочи — то, к примеру сказать, как добирались до Каменного острова и как потом устроились для экономии жить коммуной,— но даже и посущественнее вещи — как устанавливали связи с кружками рабочих. Потому что, как ни важно и как ни существенно было это — вхождение в революционную жизнь Петербурга,— едва ли в этой внутренней работе по определению своей позиции, при всей сложности, а подчас и мучительности такого самоопределения, можно было усмотреть особый «криминал». Господина Пирамидова, как легко понять, интересуют не столько эмоции и, пусть крайне левые, умонастроения арестованного, сколько дела его,— то, что поддается точной и неопровержимой фиксации. И если предполагать худшее, то Пирамидову, раз уж он решился на арест, кое-что и впрямь известно. Черт побери, дорого дал бы сейчас Бауман за то, чтобы знать, что именно!..

От двери до окна выходило в камере девять шагов, поперек — пять неполных. Бауман избрал себе более длинный путь; к тому же, чтоб и еще продлить его, двигался медленно — в лад неспешным

мыслям своим. Хотя вызвать на допрос могли в любую минуту, он не торопил эти мысли, стараясь и малости не упустить, потому что — чуял нутром — как раз на каких-нибудь мелочах и будет подлавливать его Пирамидов.

Вообще-то, говорил себе Бауман, будь он на месте жандармов, первым бы делом поинтересовался тогда именно самыми начальными шагами приезжего в Петербурге, потому что они-то и определили направление всей последующей, непосредственно уже практической, работы в подполье. Тут он (окажись опять же в шкуре Пирамидова) на особую заметку взял бы такую немаловажную частность, как радостное изумление провинциала, который здесь, в Петербурге, столкнулся не с разрозненными, каждый в свою дуду, кустарными кружками, как было в Казани, а со стройной организацией, вобравшей в себя многочисленные кружки,— «Союзом борьбы за освобождение рабочего класса».

Потом, как следующую стадию, он отметил бы некоторое не то чтобы разочарование, но как бы отрезвление свое,— когда, поприсмотревшись, понял, что не так уж все ладно в революционном подполье Питера, что пришедшие после ареста Ульянова, Кржижановского, Мартова и других «стариков» к руководству кружками «молодые» боролись лишь за «пятачок», и было это, как выяснилось при ближайшем рассмотрении, не просто уступкой, какая могла быть продиктована тактическими соображениями, нет, это была коренная ошибка, и, как ни убеждал Баумана в своей правоте Катин-Ярцев, лидер «молодых», ничего из его стараний не вышло, разошлись их дороги.

Да, усмехнулся Бауман, начальнику охранки с этого скорей всего и надо бы начать разматывать

клубок криминальных деяний новоявленного преступника, потому что все дальнейшее было только следствием, а первопричина таилась как раз в тех начальных блужданиях и поисках, которые при всем желании не мог «углядеть» ни один филер или провокатор. Сыскную же свою ретивость Пирамидов и его доблестные сотрудники могли проявить лишь позднее. В декабре, пожалуй.

Да, в начале декабря.

Темнело рано, вдобавок ветер с залива затеял дьявольскую круговерть неопрятного, больше смахивающего на дождь снега, и в Екатерингофском парке, несмотря на непоздний еще час, было безлюдно — так, по крайней мере, казалось ему и Саше Спицыну, студенту-технологу. В парке должна была состояться первая встреча Баумана с рабочими фабрики Штиглица. Пришли трое: Царев, Осипов и Пилипец; они-то впоследствии и составили ядро кружка, руководить которым взялся вместо Спицына Бауман. Саша Спицын был славный парень, но ему не хватало марксистской подготовки, и, понимая это, он сам позвал Баумана. Тогда-то, во время этого знакомства, и появился на свет божий «Макар Иванович»: так назвался в тот раз Бауман, и кличка надолго закрепилась за ним.

Первые два-три занятия проходили на квартире у Царева, но комнатка была маленькая, а собиралось человек по семь — десять; было еще и то чреватое опасностью неудобство, что соседи вполне могли — очень уж тонкие стены! — слышать все, о чем говорилось в кружке. Платон Осипов вызвался подыскать новую квартиру, Бауман передал ему для найма ее 11 рублей, и в дальнейшем сходки, ставшие еще более людными, происходили уже в новом ме-
 сте — на Слоновой улице (дом № 67, квартира 18 —

закрепил в памяти точный адрес Бауман). Удобней квартиры для нелегальных встреч, казалось, и придумать нельзя было. Помимо парадного имелся черный отдельный ход, а проходными дворами можно было выйти на добрый пяток соседних улиц. Но и с этой квартирой, при всех ее удобствах, пришлось, увы, распроститься: на ближних подходах к дому однажды обнаружен был некий господин незапоминающейся наружности. Филер то был или нет, никто не мог знать наверняка, но, по общему согласию, решили не искушать судьбу — в тот же день ликвидировали явку.

Интересно, помянут на допросе Слоновую улицу? Или, может, переусердствовали они тогда в своей конспиративности — на манер той пуганой вороны, которая, известное дело, и куста боится? Нет. Коль скоро возникло подозрение, только так и следовало поступить. Только так.

Все тот же Осипов, оказавшийся человеком расторопным и с большими знакомствами, нанял новую квартиру, не квартиру даже — дом, расположенный в глухой местности за Большой Охтой, в деревне Исаковке, по сути, в пригороде. Бауман поначалу еще и тем был доволен, что неподалеку было несколько крупных заводов и фабрик: вовлечь в кружок как можно больше рабочих считал он своей наиважнейшей задачей. И действительно, жившие на этой окраине рабочие — сначала один-два, а потом и все пятнадцать — постоянно приходили на занятия, притом, что отраднее всего, не отмалчивались, как бывает, а горячо ввязывались в споры. К этому надо прибавить, что они уносили с собой пачки листовок и прокламаций, которые затем раздавали своим товарищам. Работа, словом, разворачивалась вовсю, но тут обнаружилось вдруг, что немолодой уже крестья-

нин, в доме которого (Черновская улица, № 60) происходили встречи, Дементьев слыл в округе, по причине своего вольнодумства, отъявленным смутьяном и потому находился под негласным наблюдением полиции. И хотя, как убежден был Бауман, для такого надзора у полиции не было ровно никаких оснований, просто Дементьев принадлежал к числу тех людей, которые всем и вся возмущаются, а в действительности весьма далеки от революционного движения, но не станешь же все это объяснять полиции!

Так порушилась и эта явка. Дальнейшие встречи были — попеременно — в двух лишь местах: в трактире «Кострома» на Большой Болотной и в другом — на углу Калашниковской набережной и Смольного проспекта. Трактиры эти, усердно посещавшиеся извозчиками и торговцами, в любой час, а особенно вечером, ближе к ночи, были многолюдны, и вряд ли кто мог заподозрить, что группа мастеровых, собравшаяся в дальней зальце, чтоб перекинуться в картишки, ведет меж тем какие-то недозволенные разговоры, тем более что на случай, если кто-нибудь проявит все же интерес к этим разговорам, там, в других залах, тоже были свои ребята: чуть что — сразу дадут знать.

Так вот перебрав в уме все, с адресами даже, места, где проходили нелегальные собрания, еще и еще удостоверившись, что нет, ничего вроде не упустил (а это было очень важно — чтобы и секунду, какую могли принять за замешательство, не тратить на раздумье там, на допросе),— после этого, хоть и давшегося не без труда, но все же простенького занятия, Бауман подошел уже непосредственно к содержанию всех этих тайных встреч и разговоров.

Как и ожидал, задачка эта оказалась сатанинской

сложности. Вначале, впрочем, он довольно-таки лихо ринулся в дебри воспоминаний и сумел даже чуть не дословно восстановить все первое их собрание, но потом, словно в отместку за эту лихость, память забуксовала. Здраво рассудить, иначе и быть не могло. Попробуй-ка вспомни — что, когда и кем говорено было! Если и можно вспомнить, то постепенно, потом. Теперь же — на первый случай, так как неизвестно, сколько времени отпущено ему до вызова на допрос,— всего разумней, решил он, не уходя в частности, хоть начерно подытожить главное. Тем более что в беге каждодневных дел и забот не было у него для такого анализа ни повода, ни возможности.

Итак, главное, сказал он себе.

По самому трезвому и придирчивому соображению выходило так, что наиболее важным из того, чем он занимался, и в то же время, с точки зрения Пирамидова, наиболее, должно быть, опасным было то, что их с Володей Сущинским кружок продолжал линию «стариков». Бог ты мой, думал Бауман, сколько нападок пришлось выдержать от «молодых», от Катина-Ярцева того же! Среди иных катин-ярцевских аргументов один и вовсе смехотворный был: поскольку, дескать, рабочие не доросли еще до политической борьбы — какой смысл руководителям движения рисковать собой и преждевременно садиться за решетку? При этом он еще и сетовал на Ульянова и его друзей: мол, веди они себя поосторожней (в том смысле, что им, по его мнению, надлежало, руководя стачками, ограничиваться лишь борьбой за увеличение заработка) — тогда и по сей день были бы они на свободе, принося движению куда больше пользы, чем приносят сейчас... Пресильный довод, что и говорить! Тогда и разошлись окончательно их с Катиным-Ярцевым дороги. Политические лозунги — вот

что ставили во главу угла всей своей работы и Бауман, и полностью солидарные с ним в этом Сущинские: сам Володя, его брат Петр и сестра Маша.

Поразительно, подумал Бауман. То, чего никак не мог взять в толк такой образованный и в общем неглупый человек, каким, с несомненностью, был Катин-Ярцев, отлично понимали неискушенные в теоретических тонкостях рабочие. Казалось бы, уж кому, если не этим замученным каторжным трудом, непомерными штрафами и вычетами людям, думать единственно о том лишь, чтобы им и их семьям жилось легче, но нет, как раз им-то и ясно, что дело не в одном только их фабриканте, что тут повинна вся система, при которой одни наживаются на других, и что без завоевания политических свобод, притом для всех, ни один человек не может быть свободен. Ну, разумеется, к такому пониманию они пришли не сразу, но ведь пришли, пришли же! Бауман вспомнил, с каким проникновением в самую суть вопроса разбирали рабочие с фабрики Штиглица (один кружок целиком состоял из них) брошюру Ульянова «Объяснение закона о штрафах, взимаемых с рабочих на фабриках и заводах». Этой своей брошюрой Ульянов наглядно продемонстрировал всем «молодым», как можно подвести рабочих к самостоятельному выводу, что им, рабочим, остается одно только средство для своей защиты — соединиться вместе для борьбы с фабрикантами и с теми несправедливыми порядками, которые установлены законом. Именно так — соединиться для борьбы с самими порядками.

Ему надоело ходить, присел на койку. Полагалось теперь (по тому плану, который окончательно уже сложился в голове) хоть бегло прикинуть, что из помянутых сведений мог Пирамидов узнать, основы-

ваясь на результатах «наружного», филерского то есть, наблюдения, а что — лишь при содействии провокатора, проникшего, быть может, в один из кружков. Но когда подошел вплотную к обдумыванию этого, понял, что не сумеет заставить себя заняться выискиванием возможного осведомителя,— даже и мысль такую допустить было невозможно. Лег спать, рассудив, что теперь, когда, пусть начерно, главное продумано, это самое мудрое — выспаться перед допросом хорошенько.

Проснулся от стука открываемой двери. Решил, что вызывают на допрос. Нет, просто надзиратель принес еду и зажженную уже свечку: трепыхался во все стороны хилый огонек. Поставив все это на стол, надзиратель молча удалился. Бауман недоумевал — почему же свечка, а не лампа, которая, если судить по неистребимому запаху керосина, застоявшемуся в камере, явно полагалась заключенному? Потом догадался — почему. Вспомнил: после самоубийства Марии Ветровой, которая сожгла себя, облив керосином из лампы, пронесся по Питеру слух, будто департаментом полиции отдано распоряжение изъять из всех одиночек Трубецкого бастиона лампы. Не просто слух, значит...

В этот день так и не вызвали его на допрос.

3

Ко всему был готов он, когда оказался в Петропавловской крепости: к изнурительным допросам, во время которых будут сбивать, путать, делать вид, что знают больше, чем в действительности знают; к постоянным издевательствам, на которые тюремщики были изрядные мастера; даже к этой вот пронизы-

вающей до костей могильной сырости, которой, казалось, были пропитаны сами стены. К одному лишь, как обнаружилось, не был подготовлен он — к неопределенности.

Прошел день, и следующий, и еще, и еще — допроса все не было. Баумана не покидало пришедшее однажды ночью ощущение, что о нем попросту забыли. Втиснули, будто и в самом деле мертвец, в этот каменный гроб и — забыли.

В первые дни своего заточения он еще находил какие-то объяснения такой забывчивости Пирамидова — в любом случае неразумной, потому что допрашивать конечно же следовало по свежим следам, сразу, чтоб застичь врасплох, не дать собраться с мыслями. Среди объяснений, какие могли хоть как-то оправдать Пирамидова в его глазах, было, в частности,— что по горло занят он другими арестами; или же, если не это,— выискивает какие-нибудь особо весомые и неотразимые доказательства его, Баумана, вины. Но, с другой стороны, сколько можно заниматься всем этим, не год же!..

И когда понял, сколь неосновательны все его успокоительные догадки,— вот тогда-то и стало ему страшно, такой ужас (почти как в детстве было, когда впервые задумался о неотвратимости смерти) охватил его, что в тот, запомнилось, пятый день он не нашел в себе сил подняться с койки, так и пролежал до вечера ничком, уткнувшись в плоскую подушку. Уже не то даже, чтоб неизвестность страшила его. Было, конечно, и это, но не только это. Потому что куда страшнее было обезволивающее ощущение не неизвестности, а именно предрешенности своей участи, сознание, что могут тебя вот так, без попытки обвинить даже, продержать в каземате и год, и два, и сколько угодно, сгноить попросту, а ты, утратив

все, даже имя, будешь лишен и малейшей возможности противоборствовать этому. Было и такое, в чем стыдился признаться самому себе: в тот день как о высшей благости мечтал он, чтобы поскорей вытащили его на допрос, а там, дальше, пусть суд, правый или неправый — все равно, любое пусть наказание, лишь бы точно знать, что ждет впереди, лишь бы покончить с этой неопределенностью.

Отрезвление наступило неожиданно — все в тот же навек запомнившийся день, когда отчаяние достигло, казалось, своего высшего предела.

Сперва он подумал об этом вскользь, в порядке сомнительного предположения только, но тут же, едва подумал, понял, что для мимоходной мысли была она слишком, на диво ясной и законченной, так что уже не оставалось сомнений: как раз на это и была вся ставка Пирамидова — чтобы, пытая неопределенностью, довести своего подопечного до той стадии приниженности и обреченности, которые куда губительнее (потому что исподволь и незаметно) действуют на психику, чем даже пытки. И, стоило понять это, удивился сразу, как это такая простая и до смешного очевидная мысль не пришла в голову раньше...

Почти физически ощутив после этого освобожденность, он тотчас поднялся и, умывшись, заставил себя проделать несколько обычных своих гимнастических упражнений, показавшихся (успел уже отвыкнуть) и сложными и утомительными. Но на другой день он еще и усилил нагрузку и с каждым днем все больше и больше увеличивал число упражнений. В распорядок дня он ввел также «прогулки» — по камере от двери до окна, положив за правило выхаживать таким манером не меньше десяти километров. А чтобы втянуться в эту нудную — вот

уж ни уму ни сердцу! — ходьбу, он устраивал себе, по памяти, настоящие прогулки, всякий раз новую,— по улицам родной Казани, по заволжским лугам. Шаг за шагом вспоминал каждый дом, попадавшийся на пути, чуть не каждую вывеску, а поскольку не любил гулять один, то и эти мысленные свои прогулки совершал с друзьями и разговаривал с ними, спорил.

Вначале, правда, был он слишком расточителен в своих воспоминаниях, пришлось пресечь такую неоправданную щедрость,— что-нибудь одно назначал на день и приказывал себе думать только об этом и ни о чем другом. По собственному опыту знал он, что нет ничего опаснее в тюрьме, как потерять меру в чем бы то ни было. Стоит хоть чуть ослабить узду — и захлестнет дремучая тоска, либо, напротив, чрезмерная, из-за сущей мелочи, радость. Обе эти крайности одинаково выводили из равновесия. Поэтому, отшагав положенное, принимался он за другое — начинал ежедневный перестук с соседними камерами.

Камера слева молчала, скорей всего была пуста. В камере справа узник был, но, хотя Бауман подолгу выстукивал в стену свои вопросы, наладить с ним связь никак не удавалось. Нет, неведомый этот узник не отмалчивался, он тоже стучал что-то в ответ, однако удары его были беспорядочны: явно незнаком с техникой тюремного «телеграфа». Техника эта была предельно проста. Но как растолковать это соседу?

Бесплодность попыток наладить с ним разговор была с самого начала очевидна для Баумана, тем не менее каждый раз, едва закончив утреннюю свою «прогулку», он не меньше часа выстукивал в правую стену. Нет, он не надеялся, что сосед постигнет со
 временем азбуку перестукивания,— просто понял по

истеричной суматошности ответных ударов: доведенному до отчаяния соседу даже и такой, вовсе лишенный смысла разговор необходим, так как давал хоть какую-то иллюзию общения.

Чудилась порой Бауману в стуке соседа некая логика, упорядоченность что ли, казалось, что он бьется над изобретением собственной азбуки. Но Бауман так и не понял принцип ее построения. Самое большее, чего он достиг со временем,— угадывал настроение соседа, чаще всего пребывавшего в подавленном состоянии; этому соответствовал частый и негромкий, как бы жалующийся стук.

Бауману там, на свободе, вечно не хватало времени. Так уж получалось, что с утра и до глубокой ночи был в бегах, в делах; для чтения урывал часы у сна, хронически не высыпался. И вдруг все остановилось, само время, кажется, остановилось — ровно никаких дел. И это вынужденное безделье действовало опустошительней, чем одиночество даже. Когда делалось особенно худо (хандра настигала обычно вечером), трудно было перебороть желание броситься к двери и стучать, колотить по ней ногами, а когда явится смотритель тюрьмы или прокурор, или еще кто, потребовать с криком, чтобы его немедленно, сию же минуту вызвали на допрос... Но ему удавалось взять себя в руки. Нет, дудки. Не доставит он такой радости Пирамидову: тот, поди, этого только и ждет — признаков его, Баумана, неспокоя.

Единственное, что он себе позволил, да и то к исходу второй недели,— сказать надзирателю, что требует выдачи ему бумаги и чернил. Надзиратель промолчал, а наутро сообщил, что начальство спрашивает, зачем ему бумага. Бауман велел передать — для писем. Надзиратель потом пришел еще раз и,

опять сославшись на смотрителя, спросил: «А кому письма-то?» Бауман сказал, что отцу с матерью, вообще — родным. Вечером вместе со свечой он получил через окошко в двери два листика бумаги, чернила и ручку.

Полагалось бы тотчас и сесть за письмо. Но оказалось, он был не готов к нему. Он думал об отце. Отец считает его жестоким и бессердечным — вот ведь какая незадача. Спор его с отцом, причинявший тому и другому боль, длился уже не один год. Но и сейчас, хотя с тех пор как ушел из дому, прошло почти шесть лет, отец был непримирим. Вновь и вновь вышагивая по камере, перебирал Бауман в уме свои доводы... Ты неправ, говорил он отцу. Да, да. У каждого своя дорога, я свою тоже выбрал. И уже то одно, что я иду по ней, не сворачивая, столько времени, должно убедить тебя, что не ребячливое легкомыслие движет мной. К чему все эти попытки «образумить» блудного сына, вернуть его на праведный путь? В сущности, все очень просто, отец. Ты, конечно, хочешь мне добра, я знаю,— ну как тебе объяснить, что у меня, и тут ничего не поделаешь, иное понимание счастья?.. К тому же — судьбу не выбирают, каждому свое. Нет, глупость. Именно — выбирают. Он-то, во всяком случае, сам выбрал себе долю...

Отец, мастер-краснодеревщик, владел небольшой столярной мастерской. Состояния, понятно, не нажил, но семья жила безбедно. Можно, конечно, отца понять: не для себя — для детей старался, сил своих не щадя, наравне с мастерами своими работая; гордился, что может поставить их на ноги, вывести в люди,— и вот неожиданность: один из сыновей заводит опасные знакомства. Вдобавок сын этот — нет чтобы повиниться, раскаяться — какую-то еще пра-

воту свою отстаивает, доказывает, что нельзя, преступно жить сыто и бездумно, когда рабочие, в той же отцовской мастерской хотя бы, живут в такой нищете. Отец воспринял это как блажь. Невдомек ему было, что не вдруг пришел сын его к таким мыслям, что, столкнувшись с несправедливостью, впервые, пусть и по-детски, осознав ее, он уже не мог остановиться в своих поисках правды.

В 16 лет зачитывался Добролюбовым, Писаревым, Чернышевским. Многое ли тогда понимал — теперь и не вспомнить; вероятно, не все, далеко не все, но эта радость первых продуманных мыслей, первых осознанных целей привела к мечте о жизни для народа, к стремлению бороться за правду, за права угнетенных и обездоленных. Отцу, пуще всего дорожившему покоем семьи, все это было чуждо; после одного из столкновений с ним, особенно тягостного, Бауман и ушел из родительского дома, вынужден был уйти. В тот год — так совпало — поступил он в ветеринарный институт...

Вспоминая себя о ту пору, Бауман сознавал, что революционность его была следствием скорее юношеского прекраснодушия, нежели ясного понимания путей борьбы. В ходу были брошюры народнического толка. Но они не давали ответа на «проклятые вопросы»: народовольчество в эти годы выродилось в интеллигентский радикализм и культурничество. Социал-демократия же в Казани не пустила еще корни. Ведя подпольные занятия с рабочими алафузовского и крестовниковского заводов, Бауман особенно остро ощущал, что для рабочих кружков одного «революционного» настроения слишком мало. Выход подсказало знакомство с марксистской литературой.

Да, подумал Бауман, только после этого, пожалуй, вправе был он посчитать себя революционе-

ром — после того, как возглавил несколько социал-демократических кружков. Был тут еще и личный один момент: арестовали в Петербурге брата Володи Сущинского — Михаила, привозившего в Казань нелегальные издания. Этот арест близкого человека с отчетливой ясностью показал Бауману, сколь серьезен путь, на который он встал, побудил вплотную задуматься над тем, что его работа — не развлечение, а борьба, чреватая, быть может, лишениями и тяготами. Было не поздно отойти в сторону,— Бауман не только не бросил свои кружки, но с еще большим пылом отдался революционной работе, вполне сознавая теперь всю опасность ее.

...Перед Бауманом был чистый лист бумаги. Он должен написать письмо домой, в Казань. Вспомнилось вдруг, как однажды, исчерпав все свои аргументы, отец в запальчивости предрек ему тюрьму да суму (заплакала, помнится, закричала в голос кроткая, не смевшая перечить отцу мать). Отец и тогда уже явно жалел о сказанном, а теперь, получив это, тюремное, письмо, и вовсе изведется, вовек не простит себе то зловещее, неосторожное свое пророчество. Надо бы как-то успокоить родных, подумал Бауман. Хотя, по совести, какое уж там спокойствие, если из этого письма узнают они, что сын их и брат заточен не просто даже в тюрьму,— в Петропавловку... Но так или иначе, писать надо, сказал он себе.

«Дорогие родители, братья и сестра! Тяжело писать. Не знаю, как начинать. Невеселую новость узнаете вы с этим письмом. С 21 марта я арестован и сижу в одиночном заключении в Петропавловской крепости. В чем меня обвиняют, не знаю еще до сих пор. Допроса не было. Если же даже скоро узнаю обстоятельства дела, то и тогда едва ли сумею уведомить вас об этом. Здешняя цензура, кажется, не до-

пускает касаться в письмах подобных вопросов. Завтра будет две недели моего заключения. Несмотря на полнейшую неопределенность положения, чувствую себя сносно: нервы не шалят, и физически совершенно здоров. Не тревожьтесь и вы, мои дорогие, не проливайте слез над моей судьбой. Я молод, силы не надорваны — жизнь моя впереди».

В этом месте он остановился. Пришло вдруг на ум, что письмо его — до того, как уйдет в Казань,— непременно попадет в руки Пирамидова, не может не попасть. А коль так, подумал он, совсем неплохо было бы создать у него (не явно, конечно, не грубо) впечатление, что не так уж безоблачно настроен узник камеры № 56. Что-нибудь вставить, скажем, насчет страданий, выпавших на его долю, но сделать это осторожно, чтобы и родным не доставить лишних волнений... Была у Баумана надежда, что если Пирамидов глотнет крючок с этой наживкой, допрос не замедлит последовать.

Продолжал он писать, имея уже в виду и Пирамидова:

«Прямо, без препятствий, без разочарований и страданий едва ли кому-нибудь удавалось пройти свой жизненный путь. С подобными неожиданностями приходится мириться. Никакими слезами, никакими сожалениями нельзя помочь в моем настоящем. Личная воля, личные страдания не могут хоть чуточку изменить положения...»

На этом вполне можно было закончить письмо, но для родных он добавил:

«Обо мне заботиться не надо. Живу здесь на всем готовом, кроме чая и сахара. На эти мелочи у меня денег хватит...»

4

Письмо его не понравилось Пирамидову. В чем тут было дело — он и сам затруднялся себе объяснить, потому что не слезного же раскаяния ждал: нет, не столь наивен был Владимир Пирамидов. Еще в ту — во время обыска — ночь он понял, что поединок с Бауманом будет не из легких: очень уж независимо держался этот молодой человек; и в этой насмешливой независимости не чувствовалось той суетливой бравады, какая бывает большей частью наигранной и обычно предшествует у иных юнцов, возомнивших себя Робеспьерами, бабьей постыдной истерике с самобичеванием и проклятьями (после такой истерики дело чистой техники завербовать их в провокаторы, надо только обласкать — и они сами идут в расставленные силки).

Что же до Баумана, размышлял Пирамидов, то люди этого склада встречаются нечасто, но в последнее время становится их все больше, и почти все они — так или иначе — причастны к социал-демократическому движению. Да, теперь приходилось говорить уже о движении, и только скудоумием своего начальства мог Пирамидов объяснить тот факт, что «верхи» министерства и департамента полиции до сей поры числят в главных врагах империи народников, которых, считай, и нет уже, либо одиночек-террористов, хотя, если смотреть вперед, самые опасные как раз безобидные, на первый взгляд, социал-демократы, ибо только им удается найти общий язык с рабочими. Думал обо всем этом Пирамидов с привычным раздражением, его прямо-таки бесила подобная близорукость — много ли, кажется, ума надо, чтобы уразуметь, что станет с Россией, если все это быдло, именуемое в интеллигентских писаниях

пролетариатом, если вся рабочая масса пойдет за социал-демократами...

Вернувшись к исходной точке своих размышлений — к Бауману, Пирамидов подумал о том, что надежды, которые возлагал он на режим Петропавловки, не вполне оправдались, что, выходит, и двух недель одиночки недостаточно, чтобы сломить или хотя бы расслабить волю заключенного. В письме — между строк — читалось такое отчетливое и вместе с тем хладнокровное понимание своего положения, будто и не было позади помянутых двух недель. Вывод напрашивался сам собой: значит, для таких, как Бауман, чтоб им «дозреть» к допросу, нужны не две, не три недели, а месяц, два, полгода, может, и больше. Но вся беда в том, что откладывать допрос больше нельзя было, и оттого Пирамидов злился и на Баумана, на его строптивость, и на себя, что поставлен обстоятельствами в такие рамки, при которых нет возможности сколько-нибудь последовательно осуществить задуманное.

Обстоятельства же, заставившие Пирамидова принять вынужденное решение провести первый допрос не позднее чем завтра, были таковы. Генерал Эллис, комендант Петропавловской крепости, в конце прошлого года обратился на высочайшее имя с предложением закрыть государственную тюрьму Трубецкого бастиона. Обосновывал он это, во-первых, тем, что содержится здесь, согласно прилагавшейся выборке за ряд лет, очень уж малое число заключенных — не больше тридцати двух, а в иные месяцы и вовсе один-два... Другим доводом было — что в последнее время крепость из места заключения превратилась, по сути, в подследственную тюрьму, то есть исполняет функции уже имеющейся в Петербурге и специально предназначенной для этих целей

тюрьмы — дома предварительного заключения. Завершающий довод и вовсе смеху подобен был: дескать, не место тюрьме в крепости, где покоятся почившие императоры и члены императорской фамилии. Соображение это явно рассчитано было на повышенную к такого рода вещам чувствительность недавно взошедшего на престол императора Николая II... Военному министру вздумалось поддержать бравого своего коменданта, и предложениям генерала был дан надлежащий ход.

Министерство внутренних дел решило выступить с возражением. Как раз в это время, в январе уже нынешнего, девяносто седьмого года, он, Пирамидов, был переведен из Одессы в Петербург на должность начальника столичной охранки. Ему-то и было поручено составить то самое возражение министерства. Он уж постарался: составленный им проект бумаги всеми, вплоть до министра, был принят без единого замечания.

Прежде всего Пирамидов в той бумаге отметил, что в Трубецкой бастион помещаются привлеченные лишь по наиболее важным государственным преступлениям, так что тяжесть обвинения вполне оправдывает повышенной строгости условия содержания именно в этой тюрьме. Дальше сказано было, что соображения о том, будто тюрьме не место там, где погребены умершие императоры, едва ли основательны, так как тюрьма тоже есть учреждение государственное; тут, в подкрепление этого своего пункта, Пирамидов не забыл упомянуть, что сам Александр III в 1881 году предполагал устроить здесь даже военную тюрьму вместо государственной и, таким образом, вообще не видел препятствий для существования в Петропавловской крепости какой бы то ни было тюрьмы.

Спор решился не в пользу военного министра. Трубецкой бастион был сохранен как тюрьма, где можно содержать не только отбывающих наказание, но и тех, кто находится под следствием,— что было особенно важно в связи со все ширившимся революционным движением.

Бауман был первый из числа политических деятелей последнего времени, кого сразу после ареста привезли в крепость, и вот теперь надлежало наглядно продемонстрировать на этом примере, сколь плодотворен для следствия сам факт заключения в крепость. Было также опасение, что в случае неудачи или даже задержки следствия генерал Эллис вновь возбудит несуразное свое ходатайство,— потому-то и не мог Пирамидов отложить допрос, хотя и была в том настоятельнейшая необходимость.

Назначив допрос на завтра и отдав все необходимые на сей счет распоряжения, Пирамидов начал продумывать линию своего завтрашнего поведения — знал по опыту, что успех дела во многом зависит от того, сколь тщательно разработан план допроса.

Комната в департаменте полиции, куда привезли Баумана, помещалась на первом этаже. Было тут уже двое: один — в жандармском мундире, другой — штатский. Они представились, а точнее поставили в известность, что допрос, на основании 1035-й статьи устава уголовного судопроизводства, будет вести отдельного корпуса жандармов подполковник Ковалевский в присутствии («дабы обеспечить беспристрастность» — так это было подано) товарища прокурора Санкт-Петербургского окружного суда Утина.

А Пирамидов, друг сердешный, где? Бауман почувствовал даже некоторое разочарование...

Ковалевский начал с «формальных» вопросов;

дело пошло быстро: у Баумана не было причин таить требовавшиеся данные.

— Имя, отчество, фамилия и звание...— ровным тусклым голосом, почти механически спрашивал Ковалевский; был он грузен, вдобавок мундир сидел мешковато.

— Бауман Николай Эрнестович, ветеринарный врач.

— Место родины?

— Казань.

— Вероисповедание?

Чтоб не ввязываться в объяснения, Бауман не стал, хоть и подмывало, говорить, что атеист. Сказал:

— Лютеранское.

— Лета? — стремительно следовал новый вопрос.

— 24 года.

— Грамотность?

— Окончил Казанский ветеринарный институт.

— Были ли под судом или следствием?

— Не был.

— Женат или холост? Если женат, то на ком? — частил Ковалевский в скороговорке.

— Холост.

— Имеете ли родителей и кого именно, лета их и место жительства?

— Отец, Эрнест Андреевич, 54 лет, и мать, Мина Карловна, 52 лет. Проживают в Казани.

— Имеют ли родители какое-нибудь состояние?

— Нет, не имеют.

— Имеете ли родных братьев и сестер, их имена, лета?

— Братья Александр 26 лет, Эрнест 22 лет, Петр 18 лет и сестра Эльза 19 лет.

Ковалевский умолк, и вот тут-то, едва покончено

было с этими горохом сыпавшимися пустяковыми

вопросами, и появился Пирамидов,— похоже было, что он точно знал, когда начнется главное. Сделав Ковалевскому знак, что нет, он не будет вмешиваться, просто посидит в сторонке, он и действительно устроился в стороне, неподалеку от окна — так, однако, чтобы видеть одновременно и Баумана, и подполковника Ковалевского.

Первый вопрос — после прихода Пирамидова — Ковалевский подал с некоей значительностью в голосе:

— Знакомы ли вы с Владимиром Сущинским?

Отрицать это было бессмысленно.

— Не только знаком: он большой мой друг,— сказал Бауман, надеясь, что последуют новые вопросы, из которых станет ясно, арестован ли Володя.

Но Ковалевский действовал по своему какому-то плану.

— В таком случае,— заглядывая в лежавшую перед ним бумажку, сказал он,— вы, возможно, знакомы также с его братом и сестрой?

Пришлось признать и это. Знакомство его с Петром и Марией Сущинскими — факт, известный многим и сам по себе достаточно невинный.

— Случалось бывать и на квартире у них? — проявил вдруг повышенную заинтересованность Ковалевский.

— Случалось.

— Это где же, на Каменном острове?

— Насколько я знаю, другой квартиры у них нет.

Ковалевский удовлетворенно кивнул.

— Скажите,— сказал он,— а не приходилось вам во время посещения этой квартиры видеть там какие-нибудь нелегальные листки? Или брошюры?

Бауман удивился простодушию вопроса. С трудом удержался, чтобы не посмотреть на Пирамидо-

ва,— почему-то казалось, что увидит на его лице гримасу неодобрения. Поборов соблазн (нельзя было сейчас медлить с ответом), спокойно сказал, без удивления даже:

— Нет, ничего подобного я там не видел.

— Разве?

Вот теперь, в ответ на столь явное недоверие, вполне уместно и обидеться.

— Я уже сказал — не видел,— с раздражением повторил Бауман.

— Вы все же не торопитесь с ответом,— посоветовал Ковалевский.— Подумайте.

— Вы хотите сказать: придумайте? — уточнил Бауман с расстановочкой и почти искренней злостью.

— Как это? — Ковалевский, кажется, действительно не уловил смысла услышанного.

— Видите ли,— с неприкрытой уже издевкой разъяснил Бауман,— видите ли, у меня нет желания придумывать, что я видел то, чего на самом деле я не видел и видеть не мог.

Повисла пауза, и Бауман воспользовался ею, взглянул на Пирамидова. Пирамидов улыбался. И, встретившись глазами с Бауманом, все улыбаясь, проговорил дружески и как бы примирительно:

— Вы так сказали это, что можно подумать, будто у вас в руках и вообще-то нелегальных изданий никогда не бывало...

Бауман тоже улыбался:

— Вы совершенно правы: даже в руках не держал.

Пирамидов кивнул тотчас Ковалевскому:

— Продолжайте допрос.— И стер улыбку с лица, ровно и не было ее.

 Вопрос, который через минуту выудил Ковалев-

ский из своей бумажки, несколько озадачил Баумана: речь шла о Катине-Ярцеве — знаком ли? Вопрос этот тем был странен, что Бауман в последний раз видел его месяца три назад; не потому, что сознательно избегал этих встреч, просто получалось так; и сегодня это было кстати: Катин-Ярцев не мог знать в деталях, какую работу проводил все это время Бауман.

— Да, кто-то, помнится, знакомил меня с ним,— сказал Бауман.

— Давно?

— Вероятно, в октябре.

— Вскоре после вашего приезда в Петербург?

— Да.

— Вы хорошо знали его?

— Нет. Шапочное знакомство.

Бауман ожидал теперь вопросов, уже впрямую касающихся подпольной его деятельности, решив, что ни на один из них отвечать, конечно, не станет. Но никаких вопросов почему-то не последовало, если не считать заключительного, предусмотренного, должно быть, самой формой протокола: не желает ли допрашиваемый сделать какие-либо дополнения или разъяснения к своим показаниям? Допрашиваемый не изъявил такого желания, и его немедленно препроводили назад, в крепость.

Вернувшись к себе, Бауман попытался привести свои мысли в порядок. Перво-наперво придирчиво проверил, не сказал ли чего лишнего, прикинув заодно, не мог ли иначе отвечать на поставленные вопросы, а если мог — то как. Нет, даже и теперь, уже без спешки раздумывая об этом, ни в чем не мог он себя упрекнуть — разве что можно было обойтись без улыбки, когда говорил Пирамидову, что вообще понятия не имеет, что такое нелегальная литература. Но

это ничего не решало, и, разбираясь в себе, Бауман понимал, что нет, не этим вызвано неотвязное ощущение, что на допросе что-то было *не так*.

Допрос и впрямь был непонятен, бессмыслен. Ну в самом деле: стоило ли, спрашивается, арестовывать его, а затем что-то там выжидать две недели, чтобы в результате задать все эти, прямо сказать, не очень идущие к делу и уж, во всяком случае, не самые существенные вопросы... Успокоительней всего допустить, что никакими иными сведениями следствие и не располагает, но в это слабо верилось; уместней предположить, что сегодняшний допрос не больше чем разведка, а главные козыри Пирамидов приберег «на пото́м», преследуя какие-то свои цели.

В том, что такое предположение не лишено оснований, Бауман теперь не сомневался. Лишним доказательством здесь было то, что уж один-то вопрос — о предназначении револьвера, отобранного при обыске,— в любом случае должен был быть задан сегодня. Не исключено, подумал Бауман, что и кажущаяся нелогичность следствия была запланирована заранее — с тем чтобы при помощи и этой нелогичности, и совершенно очевидных уловок сбить его с толку. А может быть, опасения преувеличены? Что ж, может быть. Но даже и в этом, впрочем, маловероятном случае куда лучше, решил он, переоценить противника, чем видеть в нем дурака. Пирамидов же, судя по всему, был и умен и опытен.

Только что закончившимся допросом Пирамидов был недоволен. Досаду его при этом вызывал не сам допрос, нет, тут все было именно так, как задумано, и вопросы задавались те самые (хотя Ковалевский мог бы и не заглядывать так тупо в шпаргалку).

Злило его другое. До сих пор стояла перед глазами физиономия Баумана, эта ухмылка вроде бы даже превосходства, когда, понимая, что дерзит, он дерзил все же — то ли в уверенности, что Пирамидов не осмелится уличить его в более чем близком знакомстве с нелегальными изданиями, то ли, напротив, вынуждая открыть все карты. И, признаться, был ведь момент, когда Пирамидов едва пересилил себя! Так хотелось увидеть на улыбающемся этом лице если не страх, то хотя бы смятение, что и вправду готов был уже выложить некоторые особо весомые свои доказательства...

Ничего, удержался, слава богу.

Зрел уже в его голове новый план, и со свойственной ему педантичностью он сперва четко сформулировал задачу (сломить Баумана физически), чтобы затем уже наметить наиболее скорые способы ее осуществления. Опыт подсказывал: лучше карцера — в этом смысле — трудно что-нибудь придумать. А поскольку Бауман своим поведением не дает повода для усиления строгости режима, нужно, следовательно, было озаботиться тем, чтобы создать такой повод.

Пирамидов немедленно вызвал к себе старшего смотрителя тюрьмы Веревкина и, подчеркнув конфиденциальность этого их разговора, порекомендовал сегодня же перевести в смежную с Бауманом, 57-ю сиречь, камеру какого-либо узника — такого, желательно, чтоб умел при посредстве «телеграфа» сноситься с соседями. Не ведая истинных намерений полковника, Веревкин в усердии своем предложил подсадить в эту камеру своего человека, но Пирамидову претила такая неприкрытая провокация, он попросил воздержаться от подобного. Достаточно и того, если надзиратели будут начеку и смогут застичь

Баумана в момент перестукивания. Остальное — отсидка виновного в карцере — подразумевалось само собой как бы; об этом не говорили.

5

— Прекратить! Пре-кра-тить!

Надзиратель вырос вдруг за спиной, лицо его, красное, с вислыми щеками, перекорежено было криком, он схватил Баумана за руку, повыше запястья, и Бауман с силой рванул руку в сторону, освобождаясь от цепких надзирателевых пальцев. В эту секунду, все еще стоя у стены, только теперь спиной к ней, Бауман успел подумать с удивлением — как это он не слыхал возни с засовами и замком и даже стука двери... Чепуха, подумал он, не мог я этого не заметить, просто не было этой возни, просто все подготовлено было, открыто!

Верно, так все и было, потому что через полминуты (еще и краска не схлынула с лица надзирателя) ворвались в камеру старший надзиратель корпуса и даже сам смотритель тюрьмы Веревкин, притом не было у них одышки, значит, все это время рядом находились, поблизости. Веревкину (для того хоть, чтоб рассеять такое подозрение) спросить бы — в чем дело, разобраться, но он обошелся, ничего не стал уточнять, крикнул лишь, выпучив глаза:

— В карцер!

Надзиратели (старший тоже) заломили Бауману руки за спину и повели его по коридору. Одна из дверей была приоткрыта, туда и втолкнули Баумана. Массивная и тяжелая, как в несгораемом ящике, дверь захлопнулась.

Запершило тотчас, маслянистая горечь подсту-

пила к горлу: стояла в карцере непереносимо затхлая гнилостная вонь. И только в следующее мгновение дошло до сознания, какая здесь аспидная, без малейшего просвета, воистину кромешная темень. Открыты глаза или закрыты — разницы никакой, но ему показалось удобней обследовать новое свое обиталище все же с открытыми глазами. Сделал шага три — руки коснулись влажной, сочившейся стены. Передвигаясь на ощупь, он едва не поскользнулся — каменный пол был покрыт ощутимым слоем липкой вонючей слизи.

Тем временем подобрался к телу холод, и этот вызывавший невольную дрожь озноб был, как понял вскоре, мучительней всего, страшней даже, чем вонь и темнота. Карцер отродясь, видно, не отапливался, оттого и сочились, оттаивая по весне, стены. Тут и полушубок вряд ли спас бы, Бауман же был в одном нижнем белье да предшественниками истонченном арестантском халате. Он принудил себя приседать время от времени, резко взмахивать руками, разгоняя кровь.

Вспоминал, как все произошло. Он лежал, когда ожила, заговорила вдруг левая стена: «Кто здесь? Кто?» Ответив, он в свою очередь узнал, что узника, появившегося сегодня в камере № 57, зовут Таисия Акимова и что ей 23 года. Тут-то и ворвался к нему в камеру надзиратель, оборвал разговор. Но и того, что Бауман узнал, было достаточно, чтобы вспомнить, теперь уже в подробностях, в какой связи запомнилось ему это имя. Дело, по которому Акимову арестовали, было столь громкое, что молва о нем докатилась даже до Новых Бурас, небольшого сельца в Саратовской губернии, где в ту пору Бауман служил ветеринарным врачом. Суть же дела заключалась в том, что группа молодых людей, считавших

себя преемниками «первомартовцев», готовила убийство только что вступившего на престол Николая II, причем метнуть разрывной снаряд при въезде царя в Москву вызвалась, по слухам, именно она, Таисия Акимова...

Затекли ноги, нужно было походить. Шаг, еще, еще, приказал он себе. Не поскользнуться... Поворот... Теперь посидеть... на корточках... хоть немного... Так, хорошо... Боже ж ты мой, как хорошо все-таки на Волге. Нет, купаться еще рано: апрель... но можно просто ходить и ходить и смотреть по сторонам, и пьянеть от земляного запаха прошлогодней травы. И это солнце. И лето. А скоро ведь лето. Лето! Сесть в лодку и грести, грести, а потом нырнуть... нет, не очень глубоко: там холодно, даже летом. Холодно... Согреться. Раз, два... раз, два... раз, два-а-а... Время... На сколько меня хватит? Час, два?..

И тут, взнуздывая себя горячечным этим шепотом, он в ужасе понял, что теряет ощущение времени.

Видимо, времени прошло все-таки изрядно, потому что приносили ему уже воду и хлеб. В уверенности, что сейчас самое важное — отвлечься от мыслей о холоде, темноте и вони, от всех этих чисто физических забот, он расщедрился: решил не ограничивать себя в воспоминаниях — лишь бы быстрее шло время, лишь бы не думать о необходимости двигаться и приседать.

Но мозг не пожелал воспользоваться чрезвычайной этой милостью, распорядился по-своему — словно бы приказал думать именно о неотложном, о всех этих хоть и унизительных, но единственно необходимых сейчас заботах по сохранению остатка сил и тепла в теле, тем более что двигаться и проделывать безостановочно разнообразные движения

было нужно еще и для того, чтобы не заснуть ненароком.

А лечь хотелось смертельно. В конце концов и можно было, махнув рукой на омерзительную эту слизь, покрывавшую всё, преодолеть отвращение и гадливость, но не ум даже, а инстинкт подсказывал, что стоит лишь поддаться этому, и уже не пересилишь слабость; подозревал также, что этого как раз и хотят тюремщики — сломить его, смять, растоптать. Ну уж дудки, сказал он себе. Шаг! Еще! Еще!

Он не знал, сколько времени провел в карцере. Казалось, вечность. И, должно быть, эта-то приготовленность к тому, что пробудет здесь бесконечно долго, и помогла ему встретить надзирателя, пришедшего за ним, в полном и ясном сознании и, главное, на ногах. Он медленно и осторожно (как в карцере) шел по коридору, не чувствуя одеревеневших ног, после трех шагов чуть не повернул (тоже как в карцере), усмехнулся на это и пошел уже быстрее.

И минуты не дали ему отдохнуть — сразу повезли куда-то. Вскоре выяснилось: в департамент полиции. Здесь, в той самой комнате, где происходил давешний допрос, уже находились Пирамидов, товарищ прокурора Утин и подполковник из жандармов, но не Ковалевский, а новый — Кузубов, как сообщено было.

Бауману предложили сесть, и он сел.

— Вы скверно выглядите,— сказал Пирамидов.

Бауман не ответил.

Тогда Пирамидов пожурил его:

— Нельзя же так расточительно относиться к своему здоровью.

Слова его доходили до Баумана как через вату, но он улавливал все, даже почти натуральное сочув-

ствие. Бауман опять промолчал, но Пирамидов, вероятно, и не ждал ответа, потому что сразу, почти без паузы продолжил:

— Смею сказать, это непростительная в вашем положении роскошь — карцер. Эдак, поверьте, вас не надолго хватит. Я, к сожалению, ничем не мог помочь вам: в тюрьме свои порядки. Так что — на будущее — вы уж сами, пожалуйста, соблюдайте необходимую осторожность. Договорились? Ну, а теперь — служба есть служба — нам надлежит приступить к допросу. Прошу вас, подполковник.

Кузубов уже приготовился было задать какой-то там свой вопрос, но Бауман опередил его и, обращаясь не к нему, а к Пирамидову, сказал, что в этом своем состоянии он не намерен отвечать ни на какие вопросы. Пирамидов, вновь посочувствовав ему, заметил тем не менее, что проводить или не проводить допрос — это как-никак прерогатива следствия, так что Бауману не остается ничего иного, как подчиниться.

— Мне даже странно,— закончил он,— что приходится напоминать вам об этом.

— Воля ваша,— сказал Бауман.— Если вам угодно попусту терять время — тут я помешать вам не могу.

Пирамидов дружелюбно хохотнул:

— Довольно пикантная, согласитесь, получается ситуация. Следствие должно как бы согласовывать день и час допроса с обвиняемым!..

— Сколь я помню, обвинение мне еще не предъявлено.

— Оно будет предъявлено сегодня.

— Что ж,— сказал Бауман,— тем больше у меня оснований уклониться от допроса.

 — Что так? Не вижу логики.

— Как вы сами изволили заметить, я нынче неважно выгляжу. Сейчас я не то что разговаривать — сидеть не в силах.

— И все же,— после паузы сказал Пирамидов,— я полагаю, это легче, нежели находиться в карцере...— Тут голос Пирамидова обрел вполне ощутимую жесткость.— Откуда вы были, мм... извлечены до срока исключительно по нашей просьбе...

Это можно было понять как угрозу нового водворения в карцер. Бауман поднял на Пирамидова глаза.

— Уж не должен ли я, господин полковник, воспринять это как особое ваше благодеяние? — сказал он, отчетливо сознавая, к чему это может привести.— Я имею в виду вызволение меня из карцера.

Пирамидов сумел совладать с собой, даже воскликнул с улыбкой:

— О, вы еще в состоянии шутить!..

Потом — серьезно уже:

— Хорошо. Каковы ваши условия? Я об этом спрашиваю, уповая на ваше последующее благоразумие.

— Прежде всего,— сказал Бауман,— дайте мне возможность помыться как следует и сменить белье.

Пирамидов кивнул.

— Далее: мне необходим плотный обед.

Пирамидов вновь кивнул.

— И последнее: я должен выспаться.

— Всё? — с завидным хладнокровием спросил Пирамидов.

— Да, все.

— Одно встречное условие. На все это, включая сон, мы можем дать вам не больше четырех часов. Сейчас около двух — на допрос вы будете вызваны в шесть. Согласны?

— Да.

Как ни мечтал он поскорей заснуть (это желание было сильнее всех остальных), но, попав хоть и в нетопленную, но с горячей водой баню, он провел здесь с добрых полчаса, не жалея ни воды, ни мыла, чтобы смыть с себя, содрать всю эту в самые, кажется, поры впитавшуюся нечисть. В камере его уже ждал вполне сносный на вид обед; есть, правда, не хотелось, пришлось заставлять себя, вкуса еды он при этом не ощущал. Пока ел, ни о чем не думал. А когда лег на койку, и вовсе недосуг стало думать о предстоящем допросе. Едва голова коснулась подушки, сразу и заснул — с ощущением, что все будет хорошо, все будет, как надо, только бы отдохнуть по-настоящему, выспаться. Проснувшись (разбудил его, тряся за плечо, надзиратель), он, однако, не почувствовал себя достаточно отдохнувшим: тяжелой была голова, ломило ноги и спину. Потребовалось, хотя и поторапливал надзиратель, смочить обильно голову водой, чтобы сбросить с себя сонную одурь.

6

Пирамидов считал, что неплохо разбирается в людях. С годами он все больше полагался на интуицию, видя в ней наиболее близкое к истине объяснение своей порою и самому казавшейся поразительной следовательской везучести... Вот об этом своем чутье и говорил он подполковнику Кузубову, когда тот вслух удивился решению отложить допрос до вечера.

— Голубчик,— втолковывал он Кузубову (тот был лет на пять старше, и дружеской фамильярностью этого «голубчик» Пирамидов как бы подчерки-

вал свое служебное старшинство),— видите ли, голубчик, я готов даже согласиться с вами, что если бы еще поднажать, он, воленс-ноленс, под страхом карцера хоть, вынужден был бы отвечать на наши вопросы. Но можете ли вы поручиться, что он отвечал бы так, как хотелось нам? Поверьте уж моему *нюху*,— это словечко, подвернувшееся вдруг, показалось ему более убедительным, чем *чутье* и *интуиция*,— поверьте, что человеки, когда с ними обходятся по-человечески, то есть с пониманием их положения и состояния, куда лучше отзываются на наши вопросы. Я не думаю, что Бауман составляет исключение. Он человек интеллигентный и в состоянии, я думаю, оценить доброе к нему отношение.

— И из признательности,— все не сдавался Кузубов,— выложить то, что нам нужно?

Кузубов потому сменил Ковалевского в качестве следователя по делу Баумана, что казался Пирамидову тоньше, интеллигентней, и Пирамидову было сейчас неприятно, что, похоже, и с Кузубовым промахнулся: судя по его возражениям, особой сообразительности и он не проявлял.

— Зачем же так прямолинейно? — поморщился Пирамидов.— Дело, конечно, не в признательности. Я бы скорее назвал это... чувством интеллигентской общности, что ли.

Надо сказать, что Пирамидов примерно так и считал, как говорил Кузубову. Лишь вот в какую частность не счел он нужным посвящать подчиненного: что сам не очень верил, будто можно было возвращением в карцер или еще чем принудить Баумана давать показания. Но это была отнюдь не частность, и Пирамидов понимал, что нельзя безболезненно изъять этот, в фундамент заложенный камешек,— эдак, глядишь, и вся логическая постройка потеряет

свою стройность или, того хуже, вовсе даст нежелательный перекос. Потому он и умолчал о своих сомнениях.

Но дело было не только в недовольстве, вызванном шаткостью доводов,— раздражало его в особенности то, что в столкновении с Бауманом не чувствовал он себя хозяином положения, и то, как повернется нынче допрос, зависело уже не от него, а от одного Баумана. Себя Пирамидов не стал обманывать: решение отложить допрос вызвано было не силой его, как старался показать он Кузубову, а именно бессилием, невозможностью настоять на своем. Ему самому, пожалуй, а не Бауману, ничего иного не оставалось, как «уповать на последующее благоразумие» заключенного. Все четыре часа Пирамидов был неспокоен, и даже мысль, что уступка-то, если разобраться, копеечная: может ли за такое время набрать силы человек, не спавший почти двое суток? — даже хитрая эта уловка не приносила желанного успокоения.

Но, вопреки ожиданиям, начало допроса было обнадеживающим. Выглядел Бауман бодро, да и настроен, кажется, миролюбиво: на приглашение сесть ответил учтивой благодарностью. И еще раз поблагодарил, когда Пирамидов, удостоверившись в добром его самочувствии, выразил удовлетворение по этому поводу.

— Ну-с,— сказал после всех этих любезностей Пирамидов,— теперь, я надеюсь, ничто не мешает нам приступить к допросу.

И Бауман — чуть дрогнули в улыбке губы его — ответил:

— Да, конечно.

— Приступайте, подполковник,— сказал Пирамидов и, как в прошлый раз, сел в сторону.

Вопросы, какие Кузубов должен был задать сейчас, равно как и порядок их, были дословно известны Пирамидову, так как он сам составлял их, тщательно отшлифовывая каждую формулировку (Кузубову осталось только переписать вопросики в свою бумажку),— можно было теперь, не отвлекая на это внимание, понаблюдать со стороны, как будет разыграно сочиненное им действо. В особенности интересовало его, с каким выражением лица выслушает Бауман первый вопрос и затем уже, как станет отвечать на него; существенным представлялось и то, какая — по длительности и напряжению — пауза повиснет между вопросом и ответом. Это не было праздным любопытством. Нет, от реакции Баумана на первый вопрос зависел, по сути, успех не только нынешнего допроса, но — возможно — всего расследования. Пирамидов шел сегодня ва-банк. Вместо того чтобы выяснить сначала лежащие на периферии частности и затем только, подловив допрашиваемого на действительных или мнимых противоречиях, подвести его к необходимости признать главное, Пирамидов решил сегодня начать генеральный свой приступ именно с этого главного, считая, что в случае удачи выяснить мелочи и частности не составит большого труда... Но что это там Кузубов возится так долго? Пора бы!

И Кузубов словно уловил его нетерпение.

— Прежде всего вот что,— полуулыбкой скрашивая сугубую официальность тона, сказал он, в упор глядя на Баумана.— Признаете ли вы свою принадлежность к существующему в Петербурге преступному сообществу, носящему название «Союз борьбы за освобождение рабочего класса»?

Вопрос был поставлен точно так, слово в слово, как было условлено заранее, но сейчас, на слух, несколько неосторожным или, точнее, преждевременным

показалось Пирамидову упоминание о преступности «Союза». Появилось опасение, что Бауман воспользуется этой оплошностью, возмутится,— Пирамидов остро вглядывался, стремясь уловить перемены в его лице. Ни возмущения, однако, ни хотя бы удивления Бауман не обнаружил. Пауза, правда, была, но точно такая, какая требовалась, чтобы вникнуть в вопрос. Ответ же был серьезен и деловит, ничего лишнего, только то, о чем спрашивалось.

— О существовании названного вами «Союза»,— тут Бауман извинился, что не запомнил полное название,— я услышал только что впервые. По этой причине я не могу ни судить о преступности помянутого сообщества, ни тем более признать свою принадлежность к нему.

Сказано это было (перепроверял себя потом Пирамидов) весьма спокойно, без малейшего вызова — именно деловито. Впору было тут же и прекратить допрос, потому как остальные вопросы из числа заготовленных уже не многого стоили после столь твердого и, нужно было признать, неуязвимого ответа. Пирамидов сделал последнюю попытку направить разговор в желательное русло и, пока Кузубов в заметном замешательстве гладил шрамик на подбородке, сказал с веселыми нотками в голосе:

— Должен повиниться: прискорбная эта осечка была нами предусмотрена. Этим я хочу сказать, что иного ответа мы от вас не ждали. Не странно ли в таком случае, что, несмотря на это, мы все же осмелились пойти на подобный риск? Крайне любопытно было бы узнать, чем вы объясните это...

— Мало ли.— Бауман пожал плечами.— Пробный шар, скажем.

— Провокация то есть? Ну-у,— протянул Пирамидов с обидой,— мы о вас более высокого мнения,

чем вы о нас. Так что же, каково ваше объяснение? — вновь спросил он, но, поняв, что рискует остаться без ответа, сказал: — Хорошо, не напрягайтесь, я охотно помогу вам. Все дело в том, что мы располагаем вполне надежными данными, характеризующими вашу деятельность. Так что, отдавая должное вашей осторожности, я тем не менее опечален, что в ущерб себе вы были недостаточно искренни. Понимаю: вы хотите сказать, что не обязаны верить на слово. Ну что ж, вы правы, пожалуй. Итак, подполковник, продолжайте...

Пирамидов был доволен тем, как ловко повернул все. Но победителем он себя не чувствовал. Не давала покоя мысль, что все это не больше чем хорошая мина при не очень ладной игре. И почти до самого конца допроса он ни разу не вмешивался больше, озабоченный лишь тем, чтобы сохранить на лице ироническую, с легкой укоризной, улыбку.

Кузубов, должно быть, собирался с мыслями, на это ушло не меньше минуты. Бауман тем временем подумал о том, что, кажется, выспался все же, во всяком случае — голова легкая и ясная.

— Что вы можете сказать об Осипове, Цареве и Пилипце? — заговорил Кузубов.

Вот оно, подумал Бауман. Начинается.

— Кто это? — спросил он.

— Запамятовали? — уколол было Кузубов, но сразу же перешел на серьезный тон.— Рабочие фабрики Штиглица.

— Нет,— сделав вид, что старается вспомнить, сказал Бауман.— Нет, таких не знаю. Да и вообще, смею уведомить, решительно ни с кем из рабочих я не знаком.

Кузубова не смутил такой ответ, вполне возможно, что и насмешку в тоне и в этом «смею

уведомить» он не почувствовал,— он двигался вперед с неутомимостью дредноута, ни на градус не отклоняясь от курса, проложенного Пирамидовым. Словно не услышав того, что сказал Бауман, он спросил, предварительно сверившись с бумажкой:

— С какой целью в среде рабочих вы называли себя Макаром Ивановичем?

— Я уже говорил, что среди рабочих знакомств не имею. Следственно, не было и повода как-то особо им представляться.

— Каков характер вашего знакомства,— последовал новый вопрос,— со студентом технологического института Александром Спицыным?

— Впервые слышу это имя,— сказал Бауман, невольно холодея в то же время от мысли, что Пирамидов и в самом деле не так уж мало знает; неужели все?

Но вслед за этим наступило несколько довольно спокойных минут: когда Кузубов, уточняя показания, полученные на первом допросе, спросил, давно ли и при каких обстоятельствах произошло знакомство его с братьями и сестрой Сущинскими. Вопрос был легче легкого, и Бауман позволил себе секунду-другую помедлить с ответом: в предчувствии более каверзных вопросов было совсем нелишне сбить темп допроса и, главное, исподволь приучить Пирамидова с Кузубовым к тому, что к ответам своим он подходит основательно и вдумчиво — даже к таким вот невинным.

— Как я уже имел случай сказать,— после паузы произнес он неторопливо,— с Владимиром Сущинским я учился вместе в гимназии, а потом в ветеринарном институте. В Казани же я встречал и Марию. Что касается Петра, то я познакомился с

ним только здесь, в Петербурге. То есть в ноябре минувшего года.

— Да,— подтвердил Кузубов.— Все именно так. Только...— тут он справился по бумажке,— только знакомство с Петром Сущинским произошло несколько раньше. В октябре.

— Возможно,— согласился Бауман.— У меня не было нужды запоминать это.

— Я вас понимаю,— сказал Кузубов,— факт и в самом деле малозначительный, немудрено и запамятовать.

У Кузубова была манера немигающе смотреть на собеседника в упор, при этом лицо его ровно ничего не выражало. Только вот на какую, вроде бы совсем пустячную деталь обратил внимание Бауман: едва Кузубов сказал это, тотчас ожила у него, забилась в лихорадке, предательски задергалась под левым глазом голубоватая жилка. Так было уже несколько раз, и после этого, замечал Бауман, задавался неприятный либо опасный вопрос. В ожидании такого вопроса Бауман напрягся внутренне.

И точно: Кузубов готовил решающий удар.

— Да, все запомнить нельзя,— сказал он,— это верно. Но есть вещи, которые, вероятно, трудно забыть. Я имею в виду первую — первую! — вашу встречу с рабочими, первую сходку, которая произошла в январе... не седьмого ли?

Ошибки не было: седьмого.

— Я не знаю, о чем вы говорите,— сказал Бауман.

С этой минуты он стал отрицать все, уже не разделяя вопросы на главные и второстепенные, потому что теперь все они касались сугубо конкретных фактов. В протоколе, который потом ему дали для ознакомления, ход допроса был зафиксирован хотя

несколько и косноязычно, но вполне точно и обстоятельно. Вот как все дальнейшее выглядело в кузубовской записи:

«На сходке рабочих в квартире 18 дома № 67 по Слоновой улице я никогда не бывал. Марию Сущинскую своей сестрой не называл и о том, что она, бывая в обществе рабочих, называла себя Марией Ивановной, а Владимир Сущинский при таких же обстоятельствах называл себя Андреем Степановичем, я не знаю. 17-го минувшего февраля в трактире на углу Смольного проспекта и Калашниковской набережной я не был, и если, как вы говорите мне, что я там в этот день был и читал там рабочим «Устав рабочей кассы» с объяснениями и дал 11 рублей для уплаты за квартиру, то я это совершенно отрицаю. Не бывая на упомянутой выше квартире, я, естественно, не мог дать там Цареву, Осипову и другим рабочим 4-го числа минувшего марта для распространения 28 экземпляров «Петербургского рабочего листка».

Лишенного всех прав состояния Александра Дементьева, живущего за Большой Охтой в дер. Исаковке в доме № 60 по Черновской улице, я не знаю. На квартире этой вместе с Осиповым для найма ее не был, а также на сходке в этой квартире вместе с Владимиром Сущинским вечером между 8 и 10 часами 8-го минувшего марта не был. 14-го минувшего марта около 9 часов вечера я не был на свидании с Пилипцом в трактире «Кострома» и там не передавал Пилипцу для распространения в городе Рига завернутые в газетную бумагу 10 экземпляров брошюры «Объяснение закона о штрафах...» и 80 экземпляров прокламаций, начинающихся словами: «Товарищи, почти каждый день мы недосчитываемся...»»

«Отобранный у меня по обыску револьвер и к нему шесть патронов куплены мной в 1896 году в Саратове с целью пользоваться им как ветеринарному врачу в случаях убиения заразных и неизлечимых животных...»

Читая протокол, продираясь через дебри кузубовских периодов, Бауман, как и во время самого допроса, думал главным образом о том, что нет, не одними только филерами (хотя и без них, верно, не обошлось) добыты эти сведения. Слишком явно было, что бóльшую часть фактов мог сообщить лишь человек, бывавший на сходках. Все время Баумана мучило, кто бы это мог быть. И только когда речь зашла о Пилипце, стало ясно, что это он сообщил все жандармам, больше некому: последнее свидание с Пилипцом было наедине... Но и при этом Бауман страшился допустить, что Пилипец с самого начала был провокатором. Чепуха, говорил он себе. Не может этого быть. Скорей всего Пилипец был задержан с поличным и дал свои показания уже после ареста. По неопытности.

Заговорил вдруг Пирамидов. На лице его все была укоризненная, с примесью иронии улыбка, соответственно и в голосе сквозили насмешливые нотки.

— Вас можно было бы поздравить с несомненной победой, если бы...— неожиданно он прервал себя, повернулся к Кузубову: — Не записывайте, это не для протокола: просто разговор.— И опять к Бауману: — ...если бы все это (я имею в виду вашу позицию полного отрицания) не было похоже на детскую игру — может, и увлекательную, но столь же, прошу верить, и бесполезную. Ну посудите сами: какой смысл отрицать очевидное? — с довольно искренним недоумением сказал он, отлично в то же время понимая, что смысл был, ибо, пока существует суд

присяжных, трудно рассчитывать (при отсутствии такого твердого и несомненного доказательства, как признание обвиняемого) на обвинительный вердикт; понимал он и то, что Бауман тоже знает это. Тем не менее он продолжал — не с недоумением, как раньше, а с состраданием: — Этим, поверьте, вы только осложняете свое и без того не очень простое положение.

— Ваша забота трогательна,— сказал Бауман.— Я весьма высоко ценю ее,— добавил он.

Бауман сказал это корректно, по видимости смиренно даже, но подчеркнутая учтивость его ответа не могла обмануть Пирамидова.

— Вы оцените мою заботу еще выше — потом,— ядовито заметил он.— Правда, раскаянье ваше может и запоздать, поскольку здоровье — самый в этих стенах скоропортящийся продукт.— И чтоб мысль не потерялась, вполне дошла до сознания Баумана, еще и подчеркнул: — В э т и х стенах. Относительно же сроков вашего пребывания здесь ничего утешительного, увы, пообещать не могу. Оно может, по вашей же вине, затянуться на неопределенное время.— Пирамидов был доволен, что удалось найти своей угрозе столь элегантную упаковку и, по обыкновению, не только не стал скрывать этого своего удовлетворения, но еще усилил его торжествующей улыбкой.

Ожидал, что Бауман — по инерции или из естественного желания показать, что ему все трын-трава,— тоже отзовется улыбкой, и занятно было, какая она получится у него, улыбка: жалкая, растерянная или, что вероятней, вызывающая? Бауман смотрел на него серьезно и устало. Только сейчас Пирамидов заметил у него темные болезненные круги под глазами.

 И в эту минуту Пирамидов с какой-то вдруг обо-

стренной отчетливостью понял, что — как ни бейся, сколько ни допрашивай этого человека, сколько ни держи его в каземате,— вряд ли удастся вырвать у него признание. Понимание этого вызвало, как ни странно было самому, не ярость, а чувство, которое он определил для себя как тихое бессилие. И еще было, пожалуй, уважительное удивление, что, оказывается, не только в старых книжках живут люди, способные так вот, без жалоб и позы, пройти весь свой торный путь на Голгофу. Тут же, правда, Пирамидов и высмеял себя зло: «торный путь», «Голгофа» — экая безвкусица... Но в глубине души он сознавал: смеяться можно тут над словами — не над смыслом.

7

Старший смотритель тюрьмы Веревкин, решив проявить усердие, попытался «усилить» режим для Баумана, заручившись в этом поддержкой самого коменданта крепости генерала Эллиса. По правилам так, вероятно, и следовало поступить. Но Пирамидову удалось все же, при содействии директора департамента полиции, настоять на предоставлении Бауману некоторых послаблений; самым важным из них было право на регулярную переписку с родными.

Цель у Пирамидова была тут двоякая. Во-первых, желательно было проверить, не смягчится ли Бауман после столь неожиданных льгот. А главное — письма; на допросы Пирамидов давно уже рукой махнул: следовавшие один за другим, они заканчивались одной-единственной фразой в протоколе: «Я и в настоящее время ничего не желаю изменить из сказанного мной ранее», так что только по письмам, по их тону и характеру, и оставалось теперь судить о настроении Баумана.

В надежде заполучить хоть какой-то «ключик» Пирамидов не жалел времени на скрупулезное изучение этих писем (копии их, естественно, аккуратно подшивались к «делу»).

Вскоре после допроса Бауман писал домой:

«Дорогие родители, братья и сестра! От вас едва ли скоро придет письмо, отсюда и ко мне корреспонденция движется медленно, поэтому пишу второе, не дождавшись весточки из Казани. Ничего интересного сообщить, конечно, не могу. Пребываю все в том же учреждении, и сколь долго засижусь здесь, трудно предугадать. Узнал, в чем меня обвиняют. Чем кончится процесс — не знаю. Во всяком случае придется вооружиться терпением. Так-то обстоят мои делишки...»

Дальше следовали вопросы о здоровье родителей, совет сестре Эльзе непременно отдохнуть летом в деревне. И в конце:

«С тюремной обстановкой освоился, здоров».

Пирамидов с нетерпением ждал письма из Казани: верилось, что волнение родителей, их смятенность выбьют Баумана из равновесия. Но первым пришло письмо от брата, приехавшего учиться в Петербург,— от Петра. Он сообщал довольно давние новости — о том, к примеру, что мать тревожится, прослышав о возможной войне с турками, тревожится, не заберут ли Баумана и другого брата (Эрнеста, Эрочку) в действующую армию, где «ведь так легко погибнуть». Письмо было неумное, мальчишеское, с нотками даже гордости за брата, сидящего в «самой» Петропавловке... но, распорядившись после некоторого колебания передать все же письмо по назначению, Пирамидов рассчитывал на то, что Бауман поймет: если мать способна взволноваться по поводу нелепых слухов о каких-то турках — каково

же будет ее потрясение, когда узнает, в какую, уже невыдуманную, беду попал сын. Вряд ли после этого удастся Бауману сохранить доброе расположение духа, вряд ли...

На следующий день вечером Пирамидову доставили ответ Баумана, вернее — новое его письмо родным в Казань. Бауман успокаивал родителей, это естественно, но как успокаивал, к а к!

«Дорогие родители, братья и сестра! — было в письме.— От вас еще не получал писем. Получил только от Пети весточку, в которой он, между прочим, сообщает кое-что о вашей жизни. Узнал, в частности, о тревогах насчет Эрочки и меня, но после прихода моего первого письма в Казань, конечно, характер вашего настроения изменится... Не придется мне воевать с турками, если бы даже осуществились мамины предположения в области политики. Другая война не только предстоит, но и началась у меня. Война с одиночеством».

Так и написано: одиночество. Пирамидов обрадовался,— такое признание дорогого стоило. Тем неожиданней для него было то, что следовало дальше,— Пирамидов воспринял это почти как вероломство.

«Не представляю себя,— читал Пирамидов, еще не ведая, что ждет его через несколько строк,— в рядах вооруженной армии, направляющей свое смертоносное оружие на людей, именуемых в обыденном лексиконе неприятелями. Может быть, я там проявил бы трусость, начал бы ни с того ни с сего философствовать: «зачем вся эта канитель, что даст нам проливаемая человеческая кровь?» и так далее... Вообще я не знаю, как бы себя чувствовал солдатом, хотя бы и с красным крестом. Здесь же, застрахованный от всяких назойливых вопросов «к чему, зачем», не видя перед собой страшных картин, я прямо

и храбро гляжу на своего несложного, бесстрастного, но зато действительного неприятеля — на своды тюремной камеры».

И дальше — с предельной уже откровенностью:

«План кампании выработан, тактика изобретена и проверена, и я вступил на поле сражения, твердо надеясь вести победоносную борьбу. Вот почему, дорогие родители, убедительнейше прошу вас не тревожиться, не причинять себе лишних страданий, когда узнаете о постигшей меня судьбе. Вы, конечно, можете возразить мне на мои утешения: «Das schwere Herz wird nicht durch Worte leicht» («Тяжелое сердце никакие слова не облегчат» — перевел Пирамидов). Знаю, и очень хорошо знаю. Но я знаю также и то, что люди страдают за других часто потому главным образом, что они преувеличивают несчастие своего ближнего. И в данном случае я хотел только показать вам свое настроение, чтобы незнание его не было причиной такого преувеличения...»

Пирамидов не хотел себя обманывать. Он понимал, что слова эти не были просто утешением. Бауман скорей всего и в самом деле не притворялся; особенно наглядно это вытекало из шутливого тона, каким заканчивалось письмо,— такое не наиграешь, нет.

«Удивила меня одна новость — Эрочка поехал давать концерты! Вот тебе на! Куда «наши» хватают! А я-то, грешным делом, не думал, не гадал, что и в «нашей крови» скрываются таланты. Послушал бы и посмотрел на восходящую звезду! Но меня вот что смущает: Эрочка, как же ты со своей физиономией обходишься? Ведь, пожалуй, не к лицу артисту иметь такую здоровую, широкую (извини) «рожу»? Носителям искусства более всего идут бледность, худоба и тому подобные атрибуты всего возвышенного.

Наверно, и репертуар твой изменился. Поди, преподносишь теперь публике: ночь, луна, шепот, трепет сердец и т. д.? А? Не поленись, Эрочка, поведай мне о своем путешествии. С тебя же, сестренка, хочу взять слово: думать об экзаменах и не отвлекаться моей персоной. Во всяком случае, мое положение лучше твоего, когда ты стоишь перед анатомом и должна копаться в своей памяти...»

У Пирамидова никак не выходила из головы одна фраза, он даже подчеркнул ее в своей подшитой к «делу» копии: «План кампании выработан, тактика изобретена и проверена, и я выступил на поле сражения, твердо надеясь вести победоносную борьбу». Все это можно было бы счесть за хвастовство, если бы... да, если бы Пирамидов и раньше не чувствовал, что Бауман действует не по наитию, а именно сообразуясь с какой-то своей тактикой. Теперь окончательно прояснилось то, что прежде воспринималось разрозненно и потому не всегда поддавалось здравому объяснению. Думая об этом, Пирамидов не мог не отдать Бауману должное: свой «план» тот проводил последовательно и с немалым мужеством,— имелось в виду не только поведение его на допросах, но и это вот отсутствие страха перед карцером, куда часто попадал просто потому, что, ничем не желая поступаться, продолжал, вопреки строжайшему запрету, перестукиваться с соседними камерами. Было это неразумно, нерасчетливо, что и говорить. Но, верно, куда важнее, чем здоровье, было для Баумана чувство достоинства свое и независимость...

Сутки продержал у себя это письмо Пирамидов, все не мог решить, стоит ли отправлять его в Казань.

Отправил все же. Очень уж не хотелось признавать перед тюремными начальниками их правоту,

тем более что генерал Эллис, человек злоязыкий, не преминул бы напомнить ему о такой его очевидной недальновидности. Но старик Эллис сам же и дал вскоре Пирамидову возможность достойно выйти из затруднения: своим приказом запретил Бауману, по другому уже поводу, переписываться, поставив об этом в известность, через голову Пирамидова, непосредственно департамент полиции. Текст его о т н о ш е н и я был такой:

«Его превосходительству С. Э. Зволянскому,
директору департамента полиции

Во время содержания в крепости Николай Бауман за то, что стучал в соседние камеры, был посажен, по приказанию моему, на сутки в темный карцер. Взыскание это мало на него подействовало. Пользуясь разрешением иметь письменные принадлежности, он оборвал поле книги, написал на нем в соседний номер (Акимова) записку, заложил написанное в корешок книги и посредством стука сообщил, какую книгу следует потребовать из библиотеки, чтобы найти там написанное. Вследствие принятых мер книга не была выдана и написанное по назначению не дошло. За подобный проступок арестованный Бауман, по приказанию моему, совершенно уединен и лишен права иметь письменные принадлежности.

Генерал А. Эллис,
комендант Петропавловской крепости».

Пирамидов не без тайной радости присовокупил документ этот к «делу» — на сей раз, само собой, и не помышляя о возражениях.

Долгое время после этого — месяцы — Пирамидов не принимал участия в допросах, изучал лишь про-



токолы. Не то чтобы он вовсе потерял надежду добиться признания — просто не было уже времени для этого. Новая волна арестов требовала к себе тем большего внимания, что количество арестованных исчислялось уже десятками. Опасность социал-демократического движения возрастала с каждым днем, оно перешагнуло уже границы Петербурга и Москвы, захватило Киев, Одессу, Екатеринослав, Елисаветград; в этих и нескольких еще городах появились свои «Союзы борьбы». Дело дошло до того, что в Минске состоялся съезд, провозгласивший создание партии — Российской социал-демократической рабочей партии.

Но однажды Пирамидов все-таки оторвался от других своих забот и, дабы подчеркнуть неофициальность разговора, не Баумана вызвал к себе, а сам явился к нему в камеру. Поводом для визита было прошение матери Баумана, каким-то образом узнавшей о признаках цынги у сына. Нет, Пирамидов не собирался выяснять, как Бауману, давно уже лишенному права переписки, удалось сообщить о своей болезни на волю. Попросту хотелось своими глазами взглянуть, какова будет реакция на письмо, которое даже у него, у Пирамидова, вызвало сострадание. Само собой, не исключал при этом Пирамидов и возможности склонить Баумана к благоразумию, ради матери хотя бы.

«Его превосходительству
господину директору департамента государственной полиции

Мины Карловны Бауман

Прошение

Вот уже 14 месяцев, как родной сын мой, Николай Бауман, сидит в крепости. Сперва я не хотела

верить этому. Единственное утешение мое на старости лет, любимый сын мой, которым я жила,— этот сын в тюрьме! Только мать или отец, горячо любящие своего ребенка, могут понять, как велико поразившее меня горе. В последнее время оно еще усилилось, когда я узнала, что здоровье моего сына расстроилось. А Вы знаете, Ваше превосходительство, что значит для матери болезнь ее ребенка. Сколько слез и бессонных ночей прибавит она к моей и без того нерадостной жизни! Неужели же Вы, Ваше превосходительство, не поймете всей глубины моего горя и не исполните моей нижайшей просьбы, просьбы матери, которая только на Вас возлагает всю надежду? Я умоляю Вас именем Ваших детей, именем самого Христа облегчить участь моего сына и выпустить его на свободу. Если же этого нельзя сделать, то хотя бы перевести его из крепости в дом предварительного заключения. Там, как я слышала, условия жизни все-таки лучше, чем в крепости, и, может быть, здоровье моего сына поправится. Это единственная надежда, которая у меня остается. Не отнимайте же ее, Ваше превосходительство, у бедной старой матери, не откажите исполнить мою просьбу. Мои самые искренние и горячие молитвы послужат Вам благодарностью».

Прочитав прошение и вернув его Пирамидову, Бауман долго смотрел в одну, где-то левее Пирамидова помещавшуюся точку. Глаза его были влажные, и, что больше всего удивило Пирамидова, он не скрывал слез, не стыдился их.

— Я сожалею,— прервал молчание Пирамидов,— что познакомил вас с этим.— В голосе его и действительно было сожаление.— Тем более что я вовсе не обязан был это делать. Простите.

Бауман невидяще глядел на него.

— Отчего же,— глухо сказал он.— Напротив, я благодарен вам.— И, помолчав, добавил: — Все-таки весть из дома.

— Поэтому я и осмелился,— сказал Пирамидов и, радуясь тому, что, как и хотелось, налаживается, кажется, вполне неофициальная беседа, поспешил закрепить это: — Я не знал, что вы больны. Цынга?

— Да,— сказал Бауман,— цынга. Также — нервы.— Бауман не жаловался, нет, и не обвинял; просто готовился, как понял потом Пирамидов, к тому, чтобы сказать нечто язвительное.— Так что вы были правы,— сказал он,— когда говорили о пагубности здешних стен для здоровья.

— Вы никогда не жаловались.

— Какой смысл?

— Да, конечно. И все-таки: чем бы я мог вам помочь? Все, что в моих силах...

— Ничем. Разве что — убрать эти стены.

Усмехнулся и Пирамидов:

— Нет, уж этого-то я делать не стану!

— Отчего же? Боитесь без работы остаться?

— Это мне не угрожает... к сожалению! — сказав это, Пирамидов почувствовал, что нехорошо это сказал, слишком серьезно и, боясь потерять непринужденность тона, постарался смягчить эту серьезность не бог весть какой, но все же шуткой: — О, вам куда легче живется, чем мне!..

— Поменяемся?

Посмеялись оба.

Со стороны посмотреть (Пирамидов попытался именно так взглянуть) — встретились после разлуки два приятеля, понимающие друг друга с полуслова... Но было все же что-то, что мешало Пирамидову до конца ощутить себя естественным и непринужденным. Вероятно, это была догадка (ничем, впрочем,

явно не подтверждаемая), что Бауман от скуки снисходительно забавляется с ним; эта-то снисходительность — неуловимая и оттого сбивавшая еще больше — и вызывала у Пирамидова помимо его воли какую-то ненатуральную, приторную, почти заискивающе дружелюбную интонацию. И главное, с раздражением подумал он,— чего ради? Если б еще действительно всерьез рассчитывал на откровенность Баумана — так нет, нет же. С самого начала, в ту самую минуту, как оставил их одних в камере надзиратель, он понял, что настоящего добросердечия не будет и не может быть и что надеяться на это — наивность, трудно объяснимая при его, Пирамидова, опыте. Одно лишь, задним числом, могло оправдать его сейчас в собственных глазах: люди, с которыми доселе приходилось сталкиваться во время следствия, участники тех громких одесских процессов, которые, собственно, и привели его к возвышению, эти люди, пусть и иного направления, революционеры, в подобной ситуации были бы (и были!) рады такому визиту своего расследователя — хотя бы в надежде на пробуждение в нем сочувствия.

Бауман же словно из другой породы был. И откуда — ведь молод и в тюрьме впервые! — откуда у него эта твердость, эта... заматерелость? Пирамидов подумал вдруг, что Бауман, бесспорно, вызывал бы у него уважение к себе... если бы не страдало так его самолюбие всегда удачливого человека, почти не знающего издержек в своем ремесле.

Отсмеявшись положенное, Пирамидов сделал новую попытку овладеть положением, сказал с улыбкой легкого превосходства:

— Как вы понимаете, я пришел сюда отнюдь не допрашивать.

 В широко расставленных глазах Баумана обозна-

чился неподдельный интерес — как если бы ждал он заведомой уловки, готовый тотчас уличить в ней. Заметив это, Пирамидов раздумал говорить то, что собирался. Решил вдруг — по наитию,— что лучше идти в открытую.

— Тем не менее,— с добрым, сродни вдохновению, замиранием в сердце сказал он,— я крепко соврал бы, если бы сказал, что не надеялся как-то повлиять на вас. Хотя особой надежды не возлагал. Но главное — и этому прошу верить — хотелось поговорить с вами по душам... насколько это, конечно, возможно в нашем с вами положении. Цель, спросите вы? Извольте: понять некоторые нюансы... Нет, не думайте, я не стану спрашивать, почему вы упорно отрицаете все. Я понимаю, вы заботитесь в данном случае не только о себе, но и о тех — многих! — что связаны с вами. Это похвально. Нет, нет, я далек от иронии, такая позиция ваша и в самом деле не так глупа, поскольку трезво учитывает обстановку. Все правильно, без вашего признания мы не рискнем вынести дело на суд присяжных.— Улыбнулся.— Хотя, разобраться, какая вам, собственно, разница: будете вы сосланы по приговору суда или во внесудебном, административном порядке? Но это я так, попутно, и речь сейчас не о том. Объясните мне вот что: почему вы так часто оказываетесь в карцере? Ведь вы легко можете избежать его, стоит лишь не нарушать режим. Не правда ли? Не скрою, мною движет не столь человеколюбие (да и будь это так, вы ведь все равно не поверите), сколько обыкновеннейшее любопытство. За неимением достоверных сведений я даже позволил себе сочинить некую теорийку на сей счет. Любопытно? — спросил Пирамидов, не особенно рассчитывая на ответ.

Но Бауман откликнулся.

— Я слушаю,— неопределенно сказал он.

— Так вот к какому выводу я пришел,— продолжал Пирамидов.— Пуще всего вы боитесь, чтобы мы не подумали, будто вас, э... сломили, или подчинили, или что-нибудь еще в этом роде. Словом, вы хотите, чего бы то ни стоило, утвердить себя как личность, вернее — как независимую личность. Я не прав?

— Допустим, правы. И что?

— В общем, ничего, конечно. Просто я подумал, что для столь серьезного, как вы, работника неразумно излишествовать подобным образом...

— Помнится,— без улыбки сказал Бауман,— однажды я уже благодарил вас за заботу. Мог бы я знать, чему обязан ей?

— Я и сам не раз спрашивал себя об этом,— придумал на ходу Пирамидов.

И после паузы, уже не сомневаясь, что только такой, на предельном чистосердечии, разговор уместен сейчас, сказал:

— Вы чем-то занимаете меня. Может быть, дело и не в вас, а во мне: не так уж часто бывают у меня осечки... а уколы самолюбия, как давно замечено кем-то, самые чувствительные. Вот и приходится думать о вас больше, чем то положено по службе.— Тут Пирамидов спохватился, что, играя в чистосердечие, невольно перешагнул черту и стал чересчур уж откровенен. Пора бы и остановиться, злясь на себя, подумал он и сказал:

— Впрочем, вы ведь все равно мне не верите. Ни на грош не верите,— повторил он, как бы подводя черту.

— Нет, почему,— сказал Бауман.— Вероятно, вы говорите правду. Меня особенно заинтересовало ваше рассуждение о самолюбии и его уколах.

Пирамидов инстинктивно почувствовал, что сейчас последует что-то очень обидное для него, но сумел прикрыть свою обеспокоенность осторожным смешком.

— И в каком, простите, плане? — сказал он с заинтересованностью человека, ждущего шутку и готового по достоинству оценить ее.

Чутье не обмануло Пирамидова. То, что сказал Бауман вслед за этим, царапнуло весьма болезненно.

— В том плане, господин полковник,— сказал Бауман, отчетливо выделяя каждое слово,— в том плане, что, как тоже кем-то давно и мудро замечено, люди, чье самолюбие уязвлено, редко прощают это. Чаще — мстят.

Улыбнулся все же Пирамидов, удалось.

— Вы занятно шутите,— сказал он с этой своей приклеенной улыбкой.— Хотя, быть может, и несколько неосторожно.

С тем и ушел, посмеиваясь.

Но долго еще не покидало его чувство, что большего поражения у него не было.

К тому же Бауман явно переоценил его всесилие. Мстить или не мстить — было, увы, вне его возможностей: не он решал вопрос о наказании и не в его власти было теперь продлить срок заточения в крепости — дело Баумана две недели назад было направлено в министерство юстиции, где, сообразуясь с повелением государя, и будет определено (без суда, разумеется), какая кара последует. Ссылка, должно быть. Года на два, на три...

Матери же Баумана был направлен через посредство казанского губернатора такой, Пирамидовым составленный, ответ за подписью вице-директора департамента Семякина:

«Г. Казанскому губернатору

Департамент полиции имеет честь покорнейше просить Ваше превосходительство не отказать в распоряжении с объявлением проживающей в Казани мещанке Мине Карловой Бауман на ее прошение, что дело, к коему привлечен сын ее Николай Бауман, находится на рассмотрении в министерстве юстиции, будет разрешено в самом непродолжительном времени и что ходатайство ее об освобождении Николая Баумана из-под стражи или переводе из Санкт-Петербургской крепости для дальнейшего содержания в дом предварительного заключения удовлетворено быть не может».

8

Трудней всего дались первые недели. Потом, когда счет пошел уже на месяцы, стало легче. И было непонятно, в чем тут дело. В том ли, что со временем освоился с одиночкой, притерпелся (да нет же, чушь, сказал он себе, к этому разве привыкнешь!). В том ли, что обрел наконец второе дыхание. Или же все дело в той извечной житейской логике, по которой, как водится, дни тянутся медленно, а месяцы и годы проходят незаметно. Вероятно, и то предположение, и другое, и третье были не так уж беспочвенны, но одновременно не покидало ощущение, что разгадка таится в чем-то другом.

И точно. Вспомнил: перелом наступил после первого карцера и допроса, следовавшего за ним; как раз тогда, совладав и с тем и с другим, он впервые понял, что может и не такое выдюжить, надо только успокоиться внутренне, а главное не жалеть себя. Нет ничего страшнее этой жалости к себе.

Лучше — злиться. Да, лучше злиться. На то,
 к примеру, как бездарно (оттого что начисто выклю-

чен из работы) проходит время — с ума сойти, 21 месяц, два года без малого! Или на то, что, хоть удавись, не дают ни писать, ни читать. На того же Пирамидова с его иезуитскими ухватками. Такая злость, уже убедился в этом, прибавляла ему силы, вносила в жизнь его ясность, а в душевный настрой — прочность, и Бауман мог спокойно поразмыслить над некоторыми странностями расследования.

К числу наибольших этих странностей относилось то, что Пирамидов (Кузубова, хотя вел допросы он, Бауман как-то не принимал в расчет: слишком очевидно тот был лишь исполнителем) до сих пор не додумался сделать ему очную ставку с Пилипцом. Чего проще, казалось бы. Не додумался?.. Нет, не похоже. Видимо, опасаясь, что я и на очной ставке буду все отрицать, он попросту не хочет, чтобы в деле фигурировал еще один документ, по всем пунктам отвергающий обвинение.

Впрочем, надежды на то, что выпустят подобру-поздорову, Бауман все равно не питал. Рано или поздно — будет суд, нет ли — последует ссылка, и, вероятно, в Сибирь.

Ссылка, даже и на длительный срок, не пугала его. И потому, что будешь там не один, а с товарищами. И потому, что появится возможность подналечь на политическую литературу. А главное, потому, что он не собирался очень уж задерживаться в ссылке. Правда, дальнейшая, после побега, жизнь рисовалась как бы в тумане — в том смысле, что, находясь в Петропавловке, он не имел понятия, где, как и какого рода революционной работой будет заниматься. Собственно, одно лишь и было ясно, что с пути, избранного им,— пути профессионального революционера, теперь не сойдет.

Воистину — неожиданное это то, чего очень, очень ждешь. Бауман подумал об этом, когда надзиратель доставил его в тюремную канцелярию, где сам комендант крепости генерал Эллис старческим своим, надтреснутым, но исполненным значительности и торжественности голосом объявил стоя:

— Имею честь поставить вас в известность о нижеследующем.— И, не отрывая глаз от бумаги, зачитал, слегка путаясь в казуистических оборотах, но все с той же торжественностью: «Государь Император, по всеподданнейшему докладу министра юстиции по обвинению ветеринарного врача Н. Э. Баумана в государственном преступлении, 12 декабря 1898 года высочайше повелеть соизволил: разрешить означенное дело в административном порядке с тем, чтобы, по вменению Бауману в наказание предварительного содержания под стражей, выслать его под гласный надзор полиции в Вятскую губернию сроком на четыре года, по 12 декабря 1902 года...»

Из-за обычных полицейских проволочек лишь к середине января попал он в Орлов, предписанием вятского губернатора определенный ему для отбывания ссылки. Городишко этот Орлов, затерявшийся в лесах на севере весьма обширной губернии, несмотря на свой уездный сан, был, скорее, большим селом.

Только в Орлове он узнал, что в марте 1898 года, то есть год, почти год назад, представители четырех «Союзов борьбы», а также группы «Рабочей газеты» и Бунда, собравшись тайно на свой первый съезд в Минске, провозгласили создание Российской социал-демократической рабочей партии. Узнал об этом

Бауман чуть не месяц спустя после того, как поселился в Орлове,— узнал от Потресова, члена Петербургского «Союза борьбы». Александр Николаевич Потресов был милый, очень интеллигентный человек; Бауман сразу же сошелся с ним, но и, дорожа дружбой с ним, не стал скрывать своей обиды: как это можно — целый месяц молчать о таком? Говорить о всякой всячине, а об этом — молчать?

Потресов шутливо поднял руки.

— Сдаюсь, сдаюсь, сдаюсь! Но кто же мог подумать, что вы до сих пор не слыхали об этом! Так что не сердитесь, не надо. Право, тут нет никакого умысла. Я вполне понимаю вашу радость, сам переживал то же самое...— Помолчав, он неожиданно сказал: — Ничего, переболел.— Дразняще посматривая на Баумана, он повторил: — Переболел.

Бауман, зная за ним эту страсть к розыгрышам, спросил:

— Шутите?

Потресов поднялся со стула, прошелся по комнате:

— Только не торопитесь гневаться, выслушайте сначала.

Потресов сказал, что он вовсе не склонен преуменьшать заслуги съезда. Сама попытка создать партию — одним этим уже сделан шаг вперед. Крупный шаг! Но... тут Потресов прервал себя, принялся оглаживать жгуче-черную свою ассирийскую бороду, как всегда делал, когда нужно было собраться с мыслями.

— Но не следует, Николай Эрнестович, закрывать глаза и на другое,— сказал он.— Не надо забывать, что, несмотря на съезд, партии, как таковой, еще нет. В местных организациях по-прежнему царит разброд. Как и раньше, нас разъедает кружков-

щина. По существу, ничего не изменилось. Я не пессимист, нет. Просто я за трезвый подход. Только при этом условии можно рассчитывать на победу.

— Значит, можно все-таки рассчитывать? — иронически вставил Бауман; он считал, что Потресов в оценке положения дел на местах чересчур сгущает краски.

Потресов с удивлением посмотрел на него.

— Не только можно, но и должно — как же иначе! Но для этого нужно отрешиться от сладкой иллюзии, что партия уже есть, и устремить все усилия на то, чтобы создать, вернее, воссоздать ее сызнова. А то ведь срам, до чего дело дошло! Любой «экономист» нынче не только числит себя в социал-демократах, но и считает себя вправе поучать всех и вся. Как говорится, можно бы дальше, да некуда! — Обычно сдержанный, даже чопорный, Потресов, кажется, не на шутку развоевался; Бауман впервые видел его таким.— Э, да что там долго говорить, взгляните хотя бы на нашу колонию.

— В таком случае,— сказал Бауман,— надо как можно скорее собрать второй съезд. Он и разрешит наболевшие вопросы.

— Сразу? Без подготовки? Простите, но это несерьезно. Прежде чем объединяться — а любой совместный съезд, хотим мы того или нет, это объединение — надо размежеваться. Эти слова, кстати, принадлежат Ульянову. На днях я получил от него письмо — из Шушенского, он там отбывает ссылку. Постойте, да вы с ним, должно быть, знакомы! По Питеру!..

— Нет,— сказал Бауман.— Когда я приехал, он был уже арестован. Но я много слышал о нем.

— Ах, как жаль, что вы его не знаете! Это удивительный, совершенно неповторимый человек. Впро-

чем, мое мнение не так уж важно. Послушайте лучше, что сказал о нем Плеханов. Когда года четыре назад Ульянов побывал у него в Швейцарии, Плеханов написал моему старинному, с гимназии еще, другу Петру Струве о том, что за период многолетнего его пребывания за границей у него перебывало большое число лиц из России, но что, пожалуй, ни с кем не связывает он столько надежд, как с этим молодым Ульяновым. Насколько я помню, еще он отмечал в том письме удивительную эрудицию его и целостность его революционного мировоззрения, и бьющую ключом энергию. Все, до точки, верно! Я бы к этой оценке Ульянова добавил только практическую зрелость его и, пожалуй, трезвость, какое-то особое бесстрашие мысли... Я отвлекся, простите. Суть же дела в том, что в нынешней обстановке любое объединение будет механическим и потому бесплодным, даже вредным.

Бауман остался все же при своем мнении: расслоение в среде социал-демократов не столь велико, а противоречия между различными группами не очень существенны, во всяком случае, должны отойти на второй план — перед лицом той огромной задачи, что стоит перед всеми. Нет, сказал он напоследок, я не вижу оснований оттягивать созыв съезда.

Дальнейшие события показали, до какой степени он был неправ.

Осенью Потресов получил от Ульянова, из Сибири, написанный им документ, называвшийся «Протест российских социал-демократов» (его подписали 17 ссыльных социал-демократов). Поводом для этого протеста послужило «Кредо», сочиненное мадам Кусковой. Собственно, ничего нового или неожиданного (в сравнении со взглядами тех же «молодых») в «Кредо» не было, кроме разве попытки сформули-

ровать, привести в некую систему воззрения, выдававшиеся за «новое слово» социал-демократической мысли. Кускова утверждала, что рабочий класс России еще не созрел для политической борьбы. Удел рабочих — вести экономическую борьбу с предпринимателями.

Бауман читал и удивлялся: утверждать подобное сегодня, сейчас — уму непостижимо!.. «Протест», расценив «Кредо» как шаг назад в развитии российской социал-демократии призывал всех социал-демократов высказать свое отношение к поднятому вопросу, чтобы устранить всякие разногласия и ускорить дело организации и укрепления партии.

Вздорность «Кредо», его неприкрытая оппортунистическая сущность, казалось, была очевидна... но, вот поди ж ты, какие жаркие споры захлестнули всю Орловскую колонию! Выяснилось вдруг, что у «Кредо» есть и сторонники. Но большинство политических ссыльных Орлова все же присоединились к «Протесту».

Примерно тогда же Потресов посвятил Баумана в вынашиваемый Ульяновым план воссоздания партии при помощи общерусской газеты, издаваемой за границей. Эта газета, по мысли Ульянова, должна стать тем идейным и организационным центром, вокруг которого объединится все живое, истинно революционное.

А еще через несколько дней Потресов, ликуя, сообщил, что Плеханов и вообще вся группа «Освобождение труда» горячо поддерживают идею Ульянова. Сам же Потресов, срок ссылки которого подходил к концу, дал согласие принять практическое участие в выпуске газеты. Бауман потерял покой, каждый день, проведенный в Орлове, стал в тягость. Он вплотную занялся подготовкой к побегу.

Отыскивая наилучшие варианты побега, он несколько раз, испросив специальное на то разрешение от самого губернатора (так положено было), ездил в Вятку, лечить якобы зубы; слежка там за ним велась в открытую, шагу без «хвоста» нельзя было сделать. Зато не возбранялось ссыльным уходить в лес на охоту. Однажды — для проверки — он пробыл на охоте три дня — и ничего, сошло. Исправник, осмотрев трофеи, сказал только, что в другой раз надо бы ставить его в известность о своих намерениях.

Под видом дальней охоты, приурочив ее к последнему, в преддверии зимы, пароходному рейсу, Бауман и решил скрыться.

9

Вятскому губернатору

20 октября 1899 г.

Рапорт

Сим сообщаю, что находящийся под гласным надзором полиции государственный преступник Николай Эрнестов Бауман 15 сего октября неизвестно куда из Орлова скрылся.

Одновременно ставлю в известность, что мною в целях розыска уведомлены об этом все становые приставы Орловского уезда, уездные исправники Вятской губернии, а также Никольский и Усть-Исольский уездные исправники Вологодской губернии.

Орловский уездный исправник (подпись)

* *
*

Орловскому уездному исправнику

23 октября 1899 г.

Предписываю в квартире Баумана произвести тщательный обыск.

Вятский губернатор (подпись)

* *
*

Вятскому губернатору

27 октября 1899 г.

Сим сообщаю, что в незапертой квартире Баумана предосудительного в его имуществе не найдено, исключая картину, которую препровождаю Вашему превосходительству.

Орловский уездный исправник (подпись)

* *
*

В департамент полиции

30 октября 1899 г.

Состоящий в г. Орлове под гласным надзором полиции ветеринарный врач Николай Эрнестов Бауман 15 сего октября из места жительства неизвестно куда скрылся.

Сообщая об этом, имею честь присовокупить, что о розыске Баумана сделано распоряжение.

При сем препровождается картина, найденная в квартире названного лица при охране оставшегося его имущества.

Вятский губернатор (подпись)

*   *
*

Циркуляр о лицах, подлежащих розыску

Министерство внутренних дел.
Департамент полиции по особому отделу

13 декабря 1899 г.

№ 2263

Бауман, Николай Эрнестов, ветеринарный врач, из мещан, родился 17 мая 1873 года в г. Казани. Вероисповедания лютеранского, немец, русский подданный, холост. Привлекался к дознанию по делу о С.-Петербургском «Союзе борьбы за освобождение рабочего класса» и по высочайшему повелению был выслан под гласный надзор полиции сроком на четыре года в Вятскую губернию, где и водворен в г. Орлове, откуда 15 октября 1899 года неизвестно куда скрылся.

Приметы Баумана: рост 2 аршина 6 и три четверти вершка, телосложение хорошее, белокурый, борода слегка рыжеватая, глаза серые, размер их в 3 сантиметра, нос с небольшим горбом, размер его 6 с половиной сантиметров, на переносье рубец, лицо овальное, тембр голоса — баритон, походка скорая, слегка развалистая.

Как поступить по разыскании и особые примечания: Арестовать и препроводить в распоряжение вятского губернатора, уведомив о сем департамент полиции. Обратить особое внимание. Фотографическая карточка имеется.

Глава вторая

Точка отсчета

1

Встреча должна была состояться в кафе у Ландольта. «После обеда»,— сказал Потресов. Бауман пришел сюда в двенадцать.

Оглядевшись, он выбрал столик у открытого окна. Тотчас подлетел официант. Бауман заказал кружку пива — здесь оно всегда подавалось холодное, из подвалов.

Даже и у окна было душно — август выдался жаркий,— да еще теснил сюртук и с тугим, под галстук, воротом рубашка. Он ослабил галстук, расстегнул верхнюю пуговку — вроде легче стало. В такой ранний час он попал к Ландольту впервые и очень удивился тому, что среди редких посетителей, явно случайно забредших сюда, не оказалось ни одного знакомого лица. Впрочем, сейчас это как раз кстати, подумал он: у него не было ни малейшего желания учтиво кланяться, улыбаться, вести ни к чему не обязывающие разговоры или, того хуже, ввязываться в пустопорожние дискуссии.

Кафе «Ландольт» с недавней поры стало своеобразным клубом для русских революционеров. Те из них, что нашли себе хоть на день приют под благо-

словенным женевским небом, сходились сюда по вечерам, чтобы разузнать новости (больше, правда, походившие на сплетни), а главное — поспорить. Поводов же для споров и ругани было предостаточно, потому что чуть не у каждого имелись свои объяснения как сложившегося в России положения, так и перспектив революционной борьбы. Единства зачастую не было ни по одному пункту, и многие, отчаявшись отстоять свою точку зрения в честной дискуссии, начинали заводить склоки и интриги. Думать Бауману об этом было тем более неприятно, что самым, пожалуй, злобным и несправедливым наветам подвергались Плеханов и члены группы «Освобождение труда» — главным образом за то, что стояли в стороне от дрязг, не боясь ни упреков в высокомерии, ни обвинений в трусости.

Вскоре Бауман пожалел, что устроился у окна. Проходивший мимо человечек с коротким туловищем и непомерно большой головой, увидев его, радостно всплеснул руками и, не замедлив зайти в кафе, направился к столику Баумана, распираемый, судя по всему, наисвежайшими новостями. Человека этого звали Витольд; Бауман не знал толком, что это — имя, фамилия или кличка? Впрочем, Витольд этот, наиболее шумливый из завсегдатаев «Ландольта», столь мало интересовал Баумана, что он не знал и того даже, к какой партии причислял тот себя; скорей всего, он был «сам по себе», потому что, споря едва ли не ожесточенней всех, не высказывал, как помнилось, никакой позитивной программы — и вряд ли только из конспиративных соображений; Бауману были не в новинку подобные деятели, специализирующиеся лишь по части критики...

Едва присев, Витольд придвинулся поближе, заговорщически сообщил:

— Вы слышали — на нашем горизонте объявился Ульянов?!

При этом он впился в Баумана глазами, полагая, должно быть, обнаружить в своем собеседнике крайнюю заинтересованность или удивление, или, возможно, даже восторг по поводу этой чрезвычайной новости.

Бауман с каменным лицом разглядывал его.

— О, так вы ничего не знаете?! Этот Ульянов — Владимир — брат того Ульянова, которого лет десять назад казнили за покушение на императора! Как мне говорили, он находился в сибирской ссылке, теперь вот явился сюда. И для чего бы, вы думали? Для переговоров с Плехановым! Да, с самим Жоржем — каково? О, представляю, какая будет у них драка! Этот Ульянов, смею вас уверить, предерзкий молодой человек...

Врет, подумал Бауман. Незнаком он с Ульяновым.

— Вы что, его знаете? — спросил он.

— Как же, как же! — воскликнул Витольд.— Мне довелось его видеть однажды, когда он, совсем-совсем юный, делал, так сказать, первые шаги на политическом поприще. Это было в Москве... да, зимой девяносто, если мне не изменяет память, четвертого года. Я присутствовал при одном его споре... в качестве статиста, разумеется. Он спорил с самим В. В.— Воронцовым! Слыхали? Знаменитейший в ту пору был человек! Народник! Уж не помню, у кого мы собрались, помню только — пили чай, вели степенные теоретические разговоры, вернее, все мы внимали Василию Павловичу Воронцову. А его и впрямь заслушаться можно было: умница, эрудит... И вот является некий молодой человек («петербуржец» — так его представили) и — можете верить, можете не ве-

рить — под орех разделывает нашего многомудрого В. В. Видели бы вы этот темперамент, этот максимализм в суждениях! И главное — какой водопад строго научных доказательств, статистических сведений, всевозможных цифр обрушил он на голову бедного В. В., опровергая его по всем решительно пунктам! Спор шел о путях развития капитализма, да... О нем, об Ульянове, уже тогда заговорили как о восходящей в среде марксистов звезде, и если за минувшие годы он не поистер себе зубки,— о, Жоржу туго тогда придется! Верьте слову, в самое ближайшее время мы станем свидетелями такого!..— Витольд захлебывался от предвкушения удовольствия, черные глаза его были возбуждены. Бауман вспомнил, что такие точно глаза, с лихорадочным, неестественным блеском, были у сгрудившихся вокруг рулетки — в игорном доме, куда забрел однажды.

— Вы-то на чьей стороне? — спросил Бауман.

Витольд расхохотался:

— Я?.. Ни на чьей, разумеется! Ни тот, ни другой не годятся в мессии — да, да, да! Делать ставку на пролетариат, темный, невежественный, дикий, могут только безумцы.

— На кого же, позвольте узнать, делать эту самую ставку? — спросил Бауман, не удержавшись от улыбки.

— Можете смеяться сколько вам угодно,— сказал Витольд,— но — не на кого! Не на кого...

— Значит?..— спросил Бауман, но сразу же и пожалел, что спросил, потому что Витольд в ответ понес немыслимую чушь. Как можно было его понять, программа его сводилась к тому, чтобы группа людей («не просто разумных — высокоинтеллектуальных») купила по сходной цене какой-нибудь остров, зате-

рявшийся в океане, и, поселившись там, основала новое, разумно организованное общество; что же до народа («так называемого народа»), то поскольку он, народ то есть, не мыслит жизни без родимого своего царя-батюшки, пусть и живет, как ему хочется... Словом, чудовищная каша из траченных молью идеек, замешанных к тому же на махровом обскурантизме. Совершеннейший вздор этот даже и слушать было неловко. Бауман достал из кармана записную книжку и карандаш, сказал:

— Простите, мне надо поработать немного.

Витольд, верно, привык, что его обрывают. Ничуть не обидевшись, он запнулся на полуслове, суетливо проговорил:

— О, тогда не буду вам мешать! Поработайте. Но вечером мы непременно продолжим этот интереснейший спор. Приходите, я буду вас ждать!

Бауман кивнул, чтоб отвязаться, и Витольд ушел. Стараясь забыть о нем, Бауман начал думать о предстоящей встрече. Она потому особенно волновала его, что Потресов должен был прийти не один — с Ульяновым.

Интерес, какой вызывал у него к себе этот человек, о котором приходилось слышать столько разных, подчас и противоположных суждений, объяснялся не одним только любопытством; нет, интерес к нему у Баумана был сугубо практический: с Ульяновым он связывал многие свои надежды. При этом он сознавал: то, что говорил сейчас Витольд, предвкушая «драку», было, при всем преувеличении, совсем не беспочвенно. Плеханов — человек сложный, временами трудный. Удастся ли Ульянову найти с ним общий язык?

Бауман вспомнил: когда, бежав из ссылки и затем
 перейдя под видом старообрядца австрийскую гра-

ницу с контрабандистами, он очутился наконец в Швейцарии, ему казалось, что уж теперь-то ничто не помешает тотчас приступить к практической работе. В действительности все было иначе.

Сблизиться с плехановской группой, ради чего, собственно, Бауман и устремился в Швейцарию, удалось не сразу. Сначала, явно на предмет «прощупывания», беседовал с ним Павел Борисович Аксельрод, верный Плеханову человек. Интересовался Аксельрод главным образом тем, чтó Бауман читал из трудов Жоржа (так называл он Плеханова). Выяснив, что Бауманом прочитано не так уж мало, во всяком случае самое существенное: «Наши разногласия», «К вопросу о развитии монистического взгляда на историю», и удостоверившись, что Бауман вполне разделяет идеи, выраженные в этих трудах, Аксельрод рискнул представить «молодого русского практика» другому основателю группы «Освобождение труда» — Вере Ивановне Засулич.

Бауман и сейчас не забыл то волнение, какое охватило его перед встречей с Засулич. Видная в прошлом народница, она еще тридцать лет назад, юной девушкой, была заключена в Петропавловскую крепость по обвинению в пропаганде. Через несколько лет она совершила покушение на петербургского градоначальника генерал-адъютанта Трепова: по его приказу был наказан розгами содержавшийся в тюрьме студент Боголюбов. Засулич ранила Трепова, ее схватили, предали суду, но суд присяжных вынес оправдательный вердикт. Правда, вскоре такое решение было отменено, но Вера Засулич была уже за границей, вне пределов досягаемости царских властей. Впоследствии она отошла от народничества, стала марксисткой, одним из основателей группы «Освобождение труда»... Было это 17 лет назад.

Вера Ивановна поразила Баумана во время первой их встречи какой-то аскетической строгостью всего своего облика — одежды, делавшей ее похожей на курсистку (белая кофта, черная длинная юбка), прически, стягивающей волосы назад, сосредоточенного взгляда серых глаз. Она, кажется, ни разу не улыбнулась на протяжении всего их разговора (впрочем, и потом, за все те полгода с лишним, что Бауман знал ее, он не мог припомнить, чтобы видел улыбку на ее лице). Она расспрашивала его о родных, потом сама принялась рассказывать — о Плеханове (она тоже звала его Жоржем), о том, какой это необыкновенный человек; Бауман отметил, что говорила она о нем с непонятной горячностью, так, словно бы кто возражал ей.

Вероятно, он успешно выдержал испытание: к концу встречи Вера Ивановна сказала, что Жорж поручил ей передать Бауману приглашение посетить его дома,— улица Кандоль, знаете, сразу за университетом,— в любой удобный Бауману день и час, но лучше, если завтра, ближе к вечеру.

При всем том, что он так стремился к встрече с Плехановым,— он и боялся ее одновременно. К тому времени он уже наслышался у Ландольта о причудливом праве Георгия Валентиновича: о его апломбе, высокомерии, о его переходящей всякие границы властности.

Но страхи были напрасными. Пили чай из кипящего самовара (у стола без устали хлопотала Розалия Марковна, жена Плеханова) и непринужденно говорили о разных разностях. Георгий Валентинович, заметив, должно быть, некоторую скованность своего гостя, ничего не выспрашивал, говорил по преимуществу сам, меньше всего о политике (лишь два-три мимоходных замечания, одно из них — что теориями

Кусковой, да и вообще всех «экономистов», можно добиться таких же результатов, как если сесть верхом на самовар — «на этот самовар» — и всерьез рассчитывать, что он повезет,— это замечание запомнилось); говорил об искусстве, о том, как заблуждается Толстой, полагая, что одно искусство выражает чувства людей; о том, что буржуазия неизбежно обесцвечивает искусство и, как и во всем, является сегодня тормозом также и в области художественного творчества.

Бауман ушел в тот вечер с ощущением, что прикоснулся, пусть краешком, пусть ненадолго, к чему-то очень значительному. Возвращаясь средневековыми кривыми улочками к себе в пансионат, он думал о том, как, в сущности, ничтожна вся эта, вот уж действительно, мышиная возня у Ландольта и как прекрасно, что есть — на другом полюсе — Плеханов с его полной отрешенностью от суеты и вечных эмигрантских свар. И пусть это не по нутру кое-кому, пусть с издевкой и плохо скрываемой завистью называют его небожителем, тысячу раз пусть! Бауман брался (перед лицом всей ландольтской шушеры) оправдать в Плеханове решительно все, даже и неприступную, издали и впрямь смахивающую на высокомерие позу его; если это и поза, подумал он, то — особенно при данных обстоятельствах — не только уместная, но, пожалуй, и единственно достойная.

Потом были еще и еще встречи с Плехановым, сердечные, во всяком случае доброжелательные, но, правду сказать, прошло немало времени, долгие месяцы, прежде чем Бауман почувствовал, что стал в группе Плеханова вполне своим человеком.

Решающую роль в окончательном этом сближении сыграло участие Баумана, вместе с Плехановым,

во втором съезде «Союза русских социал-демократов за границей». В большинстве своем участники съезда были «экономистами», убеждать их в чем-либо оказалось делом настолько бесполезным, что группа «Освобождение труда» и Бауман вынуждены были демонстративно покинуть съезд.

Тогда-то (в тот апрель, помнилось, рано зацвели каштаны, сладко дурманила воздух только что распустившаяся магнолия) и состоялся у Баумана памятный разговор с Плехановым. Непривычно взволнованный, Георгий Валентинович завел вдруг речь о давних и мучительных своих опасениях, что ему и близким ему людям, быть может, суждено «ныне и присно» пребывать в горних теоретических высях, изолированно от новой поросли революционеров; и о том, как он счастлив, что есть люди, поверившие в него, вернее (оговорился он), в идеи, которые он и его друзья исповедуют. Плеханов говорил еще о трагедии одиночества, одиночества, понимаемого не примитивно, не вульгарно: как раз с этой, житейской, точки зрения все обстоит как нельзя лучше — он окружен людьми, которых давно и беззаветно любит и которые платят ему тем же; нет, он имеет в виду горечь того одиночества, когда ощущаешь вдруг тщету всех своих усилий перекинуть мост между своим поколением и теми деятельными молодыми практиками, что народились за последние годы в России.

Слушая его, Бауман думал о всех тех россказнях, что ходили о Плеханове по Женеве,— что вот-де, барин какой: живет в Швейцарии, в полном комфорте, и Россия, поди, ему не нужна, чихал он на нее — небожитель, словом... Какая чушь, думал Бауман. Какая злая, бездарная ложь. Им, подумал он, этим жалким, опустившимся людишкам, почитающим за

доблесть раздеваться донага — хоть на базарной площади, только бы зрителей поболе,— вероятно, и невдомек, что вряд ли среди них есть хоть один, кто страдал бы и мучился больше, чем этот, столь, по видимости, спокойный, невозмутимый, холодный человек... То, о чем Бауман смутно догадывался и раньше, только теперь откристаллизовалось в ясную мысль — Плеханов и в самом деле не очень счастлив.

Рассказывали про него, про Плеханова, такой, вспомнилось еще, анекдотец... Что и говорить — ядовитый! Догнал, мол, его на улице некто, из новоявленных эмигрантов: «Товарищ Плеханов! Товарищ Плеханов!» Остановился «товарищ» Плеханов, послушал его некоторое время, потом оборвал: «Заметьте и запомните, молодой человек: товарищ министра — министру товарищ, но министр товарищу министра — отнюдь не товарищ, отнюдь!..» Повернулся и пошел себе... Историйка эта, само собой, придумана, сочинена, хотя, надо отдать должное, весьма похоже. Но Бауман готов был даже допустить, что так оно и было, и, вспомнив об этом в тот апрельский вечер, все равно оправдывал Плеханова с его щепетильностью в выборе политических друзей.

Кафе заполнялось меж тем обедающими. Бауман посмотрел на часы: без чего-то два. Пора бы уж и прийти Потресову, подумал он. Пора. Коротая время, стал думать об Ульянове. От Плеханова впервые он услышал это имя во время все той же апрельской их прогулки по вечерней Женеве. Было так: упомянув о тщетности попыток спаять воедино помыслы и дела разных поколений, Плеханов вдруг сказал, что все это, впрочем, уже позади, в прошлом, кажется, теперь дело явно идет на лад. Порукой тому появление в России такой яркой личности, как Ульянов.

Плеханов одобрил план издания общерусской партийной газеты, согласен он и с тем, чтобы издавать ее за границей. Ему нравилась также та серьезность, та обстоятельность, с которой Ульянов ставит газету: едва вернувшись из ссылки, он объехал множество городов, налаживая личные связи с теми, на кого можно будет впоследствии опереться в работе... Плеханов говорил, все больше возбуждаясь; говорил, что жизнь его теперь обретает новый смысл.

Но шло время, появился в Женеве уже и Потресов, а вот Ульянова все не было и не было. По слухам, произошли у него какие-то неприятности с полицией, был даже под арестом несколько дней, но, по тем же слухам, все кончилось будто благополучно, и, стало быть, приезда его в Швейцарию нужно ждать со дня на день. В последние дни только и было разговоров, что о предполагавшемся этом его приезде.

Но, как казалось Бауману, мучительней всего ожидание было для него. Ничто так не томило, как это ничегонеделанье. Словно бы стрела, пущенная тугой тетивой, вдруг остановилась в своем стремительном полете,— вот такое же примерно противоестественное состояние неподвижности в полете не покидало его. А вчера Потресов еще больше подхлестнул нетерпение, сказав, что Ульянов обязательно хочет с ним познакомиться, и назначил вот эту встречу у Ландольта.

Бауман подумал, что сегодняшняя его нетерпеливость, заставившая с утра пораньше явиться в кафе, сродни ребяческому желанию любым способом приблизить время, оставшееся до получения обещанного подарка. Потресов же явно опаздывал. Разочарованно встречая взглядом каждого нового посетителя, Бауман прикидывал, удобно ли (если и через

часик-другой Потресова не будет) поехать в Везену — в тамошней гостинице остановились Потресов с Ульяновым.

Так ничего и не решив, заказал еще пива.

2

Новый посетитель решительно ничем не привлек внимания. Скользнув по нему взглядом, Бауман мельком отметил только, что этот невысокий коренастый человек ему не знаком, и продолжал наблюдать за входной дверью. Между тем человек этот, бегло оглядев зал, без раздумий направился к его столику у окна. Но даже и тогда Бауману не пришло в голову, что это мог быть Ульянов.

— Простите, не вы ли Николай Эрнестович? — спросил незнакомец с полуулыбкой, слегка наклонив голову и оттого глядя словно исподлобья.

Бауман кивнул, в недоумении подняв брови, тогда незнакомец сказал:

— Я так и думал. Здравствуйте, я Ульянов. Вы извините, что я припоздал.— Обменявшись рукопожатием, он сел.— Я ждал Потресова, а он куда-то запропастился. Ну, я решил, что и без него узнаю вас, и вот не ошибся. Правда, моя заслуга тут не велика: он довольно точно обрисовал вас... Вы давно здесь?

— Часов с двенадцати.

— Ого! — рассмеялся Ульянов.

— Потресов сказал, что придет после обеда. Понятие растяжимое...

— Узнаю Александра Николаевича, очень в его духе,— все еще смеясь, сказал Ульянов. Неожиданно посерьезнев, добавил: — Знаете, Николай Эрнестович,

у меня вот какое предложение. Нам о многом надо бы поговорить, а здесь душно и людно,— так не махнуть ли нам на озеро? Я знаю одно дивное местечко — Бельрив. Там и пообедаем, а захотим — так и на лодке покатаемся. Как у вас со временем? Я-то до самого вечера свободен.

Бельрив был в двенадцати километрах от Женевы. Добирались пароходиком. По дороге выясняли, нет ли общих знакомых — по Петербургу. Кой-кого отыскали, в том числе одного и вовсе уж удивительного знакомца: Пирамидова! Упомянув о нем, Ульянов принялся весело рассказывать ничуть, однако ж, не смешную историю о том, как попался в его руки — совсем недавно, в конце мая. «Как цуцики попались, как цуцики!» — имея в виду себя и Мартова, приговаривал он смеясь.

— Уезжали из Пскова,— рассказывал он.— Юлий Мартов должен был вернуться в Полтаву, у меня же — заграничный паспорт в кармане. Въезд в Петербург нам, как понимаете, после ссылки был запрещен, а у нас там дела неотложные — как быть? Судили, рядили — решили ехать. Все бы ничего, да мы переконспирировали. Чтобы замести следы, решили пересесть по пути на другую железнодорожную линию. Но упустили из виду, что дорога эта идет через Царское Село, где живет, страшно подумать, сам государь-император, и вряд ли есть недостаток в шпиках... Словом, там-то нас, как потом выяснилось, и заприметили. «Провели» до Питера (мы слежки, само собой, не замечали), а наутро, только вышли на улицу из дома, где ночевали,— по два дюжих мóлодца выросли возле каждого. С обеих сторон взяли под локотки, на извозчика и — в охранку...

Посмеиваясь над собой, Ульянов далее вспомнил, как, сидя в пролетке, изобретал планы изничтожения

лежавшей во внутреннем кармане одной пренеприятнейшей бумаженции — письма Плеханову, написанного на каком-то невинном счете «химическими» чернилами. В том письме (а текст его, если и не догадаются проявить, мог сам проступить со временем) подробно излагалось, что сделано для издания газеты за границей. Одной такой улики за глаза достаточно было, чтобы снова упечь в Сибирь. Планы уничтожения письма были один хитроумнее другого, но даже самый простой из них — проглотить ту бумаженцию, съесть — осуществить не было ни малейшей возможности: зажатый с обеих сторон жандармами, он и пошевельнуться не мог, не то что вытащить листок из кармана.

— Тогда мне, конечно, не до смеха было — что уж говорить! — улыбался Ульянов.— Клял себя на чем свет стоит! Шутка ли — этаким глупейшим манером провалить все дело. Но ничего, пронесло, через десять дней освободили. А Пирамидов — не дурак, о нет! «Гран-кокет», правда, а так — вполне соответствует, вполне. В моем же случае просто одно заслонило другое. В его глазах и сам по себе самовольный мой приезд в Петербург был достаточным преступлением, ну а поскольку взрывательных снарядов под царский дворец мы не подкладывали (уж это-то шпики ему точно донесли!), то пришлось удовлетвориться немедленным выдворением нашим из столицы. Повезло, словом.

В Бельриве, приехав туда, первым делом пообедали в ресторанчике на набережной. Разговор шел в том дружеском тоне, который с самого начала както незаметно установился между ними. Это радовало Баумана, но и удивляло. Думая о встрече с Ульяновым, он считал почти неизбежным, что понадобится какое-то время, пусть несколько дней, для присмат-

ривания друг к другу, для примеривания, что ли,— совершенно понятная, как казалось ему, стадия в отношениях между только что познакомившимися людьми, особенно если учесть, что в будущем скорей всего им предстоит работать бок о бок. Нынче же все обошлось без обычной этой приглядки — словно они с Ульяновым раньше уже знали друг друга, просто давно не виделись, и вот теперь оставалось только сообщить о том, что произошло за время разлуки. Что он сам против обыкновения так легко и открыто пошел на сближение, Бауман объяснял себе тем, что очень многое (больше всего от Потресова) знал об Ульянове. Потресов, вероятно, и Ульянову кое-что порассказал о нем — спасибо, Александр Николаевич, спасибо!

Говорили за обедом о ссылке: Бауман об Орловской, Ульянов о своей, о Шушенской. Ульянов, оказалось, знал о побеге Баумана, в особенности его теперь интересовали подробности: как, в частности, удалось перейти границу, что за люди эти контрабандисты и можно ли вполне им доверяться при переправке, скажем, транспортов с нелегальной литературой. Разговор этот они вели вполголоса, и хотя и по-русски, все равно умолкали всякий раз, когда подходил официант.

Потом взяли напрокат лодку, отплыли подальше от берега, время от времени сменяясь на веслах. Ульянов пошутил, что идеальней условий для встречи двух великих конспираторов не сыщешь даже здесь, в Швейцарии, затем тотчас (Бауман уже привык к этим неожиданным переходам) заговорил серьезно — о деле. Что говорил сам, Бауман почти не помнил; зато и потом, много позже, он мог ручаться, что запомнил едва ли не каждое слово, сказанное в тот раз Ульяновым.



Итак — внезапно посерьезнев, Ульянов без предисловий, сразу же, повел речь об издании «Искры» — так на совещании в Пскове решено было назвать будущую газету. (««Из искры возгорится пламя» — помните?..»)

Начал Ульянов с того, что для успешной борьбы с самодержавием необходима пролетарская партия; если же смотреть правде в глаза, говорил он, если не выдавать желаемое за действительное,— такой партии, в силу многих обстоятельств, сейчас нет, ее лишь предстоит создать. Поэтому уместно вопрос о ближайшей и непосредственной задаче поставить так: какой план деятельности нужно принять, чтобы достигнуть возможно более прочного возобновления партии? Наиболее простой, казалось бы, путь — это выбрать центральное учреждение и поручить ему издавать газету; вся беда в том, однако, что такой путь — в условиях нынешнего разброда — не только не целесообразен, но и вреден. Было бы наивностью («архинаивностью!») полагать, будто объединение всех русских социал-демократов можно декретировать. Ничего подобного! Такое объединение можно только выработать — идейное, организационное объединение. И только тогда, когда возникнет такая организация,— только при этом условии партия станет могущественной силой.

План этот в основе своей был уже известен Бауману, тем не менее, слушая эту стремительную, исполненную какой-то особой энергии речь, он ловил себя на том, что, пожалуй, только сейчас по-настоящему (сердцем — не только разумом) постигал необходимость действовать именно так, а не иначе. И дело здесь было, верно, не в одних лишь мыслях, высказанных Ульяновым, а и в той убежденности, страстности, с какой он говорил.

Слушая его и одновременно думая о том, что и как он говорит, Бауман не удержался, невольно стал сравнивать его с Плехановым; не в том, понятно, смысле — кто лучше, кто хуже,— нет, совсем не качественную оценку имел он в виду, а именно сравнение: в чем схожи и чем отличны они друг от друга. Прежде всего, конечно, бросалось в глаза внешнее различие — в самой манере держаться, манере говорить. Плеханов говорил с достоинством, ровно и степенно, формулировки его даже в обыденной обстановке отличались элегантной законченностью; вернее даже было бы сказать, он не просто говорил, а и з л а г а л свои соображения и взгляды, не допуская, похоже, и мысли, что кто-то может не согласиться с ним, и оттого ничуть не заботясь о том, убедил он собеседника или нет. Был у Георгия Валентиновича и такой, с точки зрения Баумана, «грешок»: стремление, быть может, неосознанное, поразить своими познаниями, ошарашить эрудицией — своего рода игра, призванная подавить слушателя. Бауман принадлежал к числу тех, кто видел в этом лишь одну из простительных человеческих слабостей, не больше того; но это не мешало ему понимать и то, что такая вот манера полемизировать, при которой дозволено высказываться ему, Плеханову, одному, а собеседнику уготована роль слушателя, статиста, как раз и вызывает у многих протест, инстинктивное сопротивление.

Ульянов же (если, конечно, судить по первому ощущению, сделал поправочку Бауман) отнюдь не стремится «произвести впечатление»; в то же время он равно далек и от беспристрастного «информирования». Ульянов говорил о том, что переполняет его и о чем поэтому он не мог не говорить. Но и этого, кажется, ему было мало — высказать свои мысли; не

менее важно для него было, чтобы то, в чем он сам убежден, разделили и другие. Убедить — вот, пожалуй, главное, к чему он стремился. И не отсюда ли, спрашивал себя Бауман, не от этого ли желания высказать как можно больше доводов в обоснование своей точки зрения идет стремительный, как бы атакующий напор его речи? Даже и легкая картавинка словно бы ускоряла темп, временами казалось, что и картавит-то он, собственно, для того только, чтобы не задерживаться на очень уж тщательном выговаривании строптивой буквы.

— А где, вам кажется, лучше издавать «Искру»? Здесь, в Швейцарии, или же в Германии? В Мюнхене, скажем? — спросил вдруг Ульянов.

— В Швейцарии? — переспросил Бауман.— Ну нет, в Швейцарии нельзя.

— Отчего же?

Бауман сказал, что слишком уж здесь много русских, всех направлений. Не исключено, что среди них есть и агенты охранки. Так что должную конспирацию тут не обеспечишь, нет.

— Вот именно! — подхватил Ульянов.— Именно так. И еще вот какое немаловажное, по-моему, обстоятельство: Мюнхен ближе к границе — значит, и тираж легче будет переправлять в Россию, так ведь? — И тут же добавил, что в Мюнхене уже удалось наладить кой-какие связи с типографиями, а главное, немецкие товарищи, социал-демократы, в том числе Клара Цеткин, поддержали идею издавать «Искру» и обещали всяческое содействие.— Словом, дел невпроворот,— сказал он.— Скорей бы только закончить переговоры, скорей бы!

Он имел в виду переговоры с Плехановым, цель которых — создать редакцию «Искры», окончательно договориться о направленности газеты. Без Плеха-

нова, бесспорно крупнейшего теоретика, Ульянов не мыслил работы «Искры». На предварительных совещаниях в России было решено непременно пригласить в редакцию трех представителей группы «Освобождение труда»: самого, конечно, Плеханова, Засулич и Аксельрода; российскую «литературную группу» должны были представлять Юлий Мартов, Потресов и он, Ульянов, причем всю кропотливую организационную работу возьмет на себя именно литературная группа.

— Это единственный способ делать газету быстро, оперативно,— делясь своими соображениями, пояснил он.— Главное — начать!

Переговоры непредвиденно задерживались: то одно мешало, то другое. К тому же, Плеханов считал невозможным (и это справедливо, сказал Ульянов, нельзя не согласиться) вести их без Аксельрода, а тот только сегодня приедет в Женеву.

Ульянов и сам был заинтересован в его присутствии. Он почти не сомневался в том, что Аксельрод поддержит его. По дороге в Женеву Ульянов заезжал на два дня в Цюрих. Павел Борисович встретил его так радушно и так дружески, дни эти прошли в таких сердечных разговорах, что, не прояви Ульянов настойчивости, еще и доныне не выбраться бы ему из Цюриха... О чем говорили? О! Обо всем и о многом прочем, без порядка. Нет, вопросов деловых, практических почти вовсе, к сожалению, не касались, за исключением одного разве... Это когда тишайший Аксельрод с совершенно несвойственной ему горячностью принялся вдруг настаивать на устройстве типографии в Женеве, и только в Женеве. Обосновывал он это предложение весьма беспомощно и неуклюже, но одна его оговорка «Так хочет Жорж!» сразу все прояснила.

Однако, сказал Ульянов, это был лишь частный эпизод в их беседах, он не склонен придавать ему слишком большого значения.

Аксельрод, к примеру, говорил, что для Жоржа и его друзей все связано с новым предприятием, что это для них прямо-таки возрождение. И под конец, стесненно улыбаясь и выбирая слова, сказал нечто, по мнению Ульянова, в высшей степени примечательное: что «мы», дескать, получим теперь возможность и против крайностей Жоржа бороться... Это последнее замечание Ульянов особенно запомнил — главным образом (объяснял он сейчас Бауману) потому, что еще пять лет назад, а именно тогда Ульянов познакомился с основателями «Освобождения труда», даже и такое — пусть и не прямое, осторожное — недовольство Плехановым было невозможно. Что, спросил Ульянов у Баумана, неужели деспотизм Георгия Валентиновича и в самом деле стал чрезмерным?

Бауман помедлил с ответом. Нет, он не собирался отмалчиваться. Хотелось только тщательно взвесить все, что знал, чтобы отсечь несущественное. Несколько мешало ему то, что у него-то у самого отношения с Плехановым сложились как нельзя лучше. Бауман, правда, не обольщался этим, догадываясь, что доброе к нему отношение Плеханова во многом объясняется тем, что тот (говоря грубо) не видит в нем «конкурента». Баумана это ничуть не обижало: он и Георгий Валентинович — одно даже сопоставление такое выглядело смешно. Но — что было, то было: Плеханов стремился всеми силами и любым способом подчинить себе всякого, в ком видел если и не ровню (ровню себе, положим, он ни в ком не видел!), то хотя бы человека, способного на равных вести теоретический спор; тут он и правда был деспоти-

чен и властен... Поделившись этими своими соображениями с Ульяновым, Бауман сказал в завершение, что, по искреннему его убеждению, в данном случае ничего подобного не произойдет. Плеханов так ждал его, Ульянова, приезда, столько надежд возлагает на издание для России предназначенной газеты, что вряд ли есть основания сомневаться в благоприятном исходе переговоров.

— Я тоже надеюсь на это,— сказал Ульянов, уступая место на веслах.— Крепко надеюсь. Правда, Потресов в панике. Первое, чем он огорошил меня,— что с «Жоржем» надо быть очень осторожным, что он, дескать, страшно возбужден расколом с «экономистами» и оттого подозрителен. Но встречи наши с Георгием Валентиновичем показали, что многое здесь преувеличено.

Плеханов всячески выказывал свое расположение к «гостю из России». Без некоторых трений тоже, положим, не обошлось. При всем том, специально оговорил Ульянов, что он изо всех сил старался соблюдать осторожность, обходя «больные» пункты.

Первые «трения» возникли в связи с высказанным Ульяновым предложением привлечь к сотрудничеству в газете пусть и ошибающихся, но все же до некоторой степени союзников, Струве в частности,— при условии, разумеется, что внутри издания будет идти полемика, призванная установить истину. Плеханов, возражая, говорил, что он не понимает и никогда не поймет полемики в одном издании между сотрудниками, но — добро б он только возражал! Он проявил такую нетерпимость, такое нежелание вникать в чужие аргументы, такую, доходившую до неприличия ненависть к «союзникам» (вплоть до обвинений их в шпионстве, гешефтмахерстве и прохвостничестве) и при этом считал себя так донельзя пра-

вым, что ссоры — вдвойне обидной из-за того, что повод-то, в сущности, был второстепенный,— не миновать бы, если бы сам Плеханов не понял, что хватил через край. Он оборвал себя, дружески положил Ульянову руку на плечо, примирительно сказал вдруг: «Владимир Ильич, не сердитесь. Я ведь не ставлю никаких условий — видит бог, не ставлю. Мы все это обсудим потом, на съезде, обсудим сообща и вместе все решим...» Ульянов был тронут. В этой попытке Плеханова найти общий язык он увидел добрый знак, вселявший надежду на успех предприятия.

И действительно: новая встреча (все еще без Аксельрода) прошла как будто спокойно. Ульянов завел речь о проекте редакционного заявления об издании газеты и журнала. Плеханов, познакомившись с черновиком, написанным Ульяновым еще в России, ничего не возразил по существу, выразил только пожелание исправить слог, несколько приподнять его, оставив в неприкосновенности весь ход рассуждений. Ульянов попросил его внести все необходимые изменения. Георгий Валентинович отговорился, сказав, что это можно и потом, это недолго, сейчас не стоит; тогда Ульянов, считая, что замечания во многом справедливы, переделал сам и передал ему уже исправленный проект. То, что Плеханов в принципе принимал проект заявления, радовало особенно, ведь в заявлении были сформулированы основные направления будущей работы...

Словом, настроен был Ульянов вполне оптимистично, и мысли его шли сейчас дальше переговоров: он рассказывал Бауману уже о трудностях с устройством типографии, о том, как сложно здесь, за границей, раздобыть русский шрифт; пока что не удалось также отыскать в Германии наборщика,

мало-мальски знающего русский язык... Впереди, сказал Ульянов, что называется, непочатый край работы, а медлить нельзя, никак нельзя,— и вот можно ли в связи с этим рассчитывать на то, что Бауман примет участие в такой практической работе?

Бауман сказал, что он с радостью возьмется за дело. О такой работе он мечтал все эти долгие свои женевские месяцы, так что готов хоть сейчас выехать куда нужно, готов немедленно связаться с полезными людьми. Но Ульянов несколько поохладил его пыл, сказал, улыбаясь, что — увы и ах! — придется все-таки потерпеть немного: сначала надо успешно завершить переговоры — ведь как-никак именно от них зависит, быть или не быть «Искре».

Плыли к берегу. На веслах сидел теперь Ульянов, он греб сильно, размашисто: боялся опоздать в Корсье, где вечером, если приедет Аксельрод, могут начаться переговоры. Прощаясь, Ульянов попросил Баумана «не пропадать»,— было бы вовсе прекрасно, сказал он, если Бауман сможет приезжать к нему и Потресову в Везену, только пусть не забудет, что в гостинице он сам записался Петровым, а Потресов — Арсеньевым.

— Проклятая конспирация, но что поделаешь, русских шпиков, по слухам, и здесь хватает.— Он рассмеялся.— Так я вас жду! Со своей же стороны обязуюсь запомнить все подробности переговоров. Дай-то бог, чтоб этих «подробностей» было как можно меньше, дай-то бог.

Ульянов ушел скорым своим шагом, чуть наклонив вперед голову. Бауман решил остаться до темноты в Бельриве, побродить в одиночестве. Дневной зной спал, пляж опустел, и Бауман, спустившись с набережной, устроился у самой воды. Гладь озера была неподвижной, ничто не отвлекало от мыслей.

Он думал о том, что Ульянов, вероятно, как раз тот человек, который сможет вести переговоры с Плехановым. Он, кажется, обладает необходимой для этого трезвостью взгляда на людей и обстоятельства. И, насколько можно судить, не подвержен мелкому тщеславию. Это представлялось особенно важным, учитывая болезненное подчас стремление Плеханова первенствовать везде и во всем.

Думая об Ульянове, Бауман пожалел, что рядом не было Нади. Она, как и многие женщины, более точно судит о людях. Надя («Надюш» — окрестил он ее) уехала в Россию проведать тяжело болевшую мать; должна была вернуться через неделю, ну, через две, а не было ее уже больше месяца — совсем худо, значит, с матерью. Собственно, Надя — это кличка, на самом деле имя ее было Капитолина Поликарповна, сразу и не выговоришь. Происходила она из богатого купеческого рода, и жить бы ей, не горюючи, в отцовском собственном, на Краснохолмской набережной, доме в Москве,— так нет (донимал ее Бауман), ушла, дурочка, в революцию... Бауману и сейчас, спустя столько времени после знакомства (познакомились, конечно, у Ландольта — где же еще в Женеве знакомиться русским!), даже и теперь ему странно было подумать, что все могло быть подругому, что если бы не случай, если бы не влияние подруги, Надюш, возможно, так и осталась бы навек «добропорядочной» купецкой дочкой, а значит, и не было бы, никак не могло быть их встречи здесь, в Женеве... Между ними было решено, что, как только она вернется из России, они поженятся. Он представил ее такой, как она запомнилась ему при первой их встрече: высокая, стройная («боже, до чего беден и затаскан человечий язык!»), светлые, отливающие рыжеватиной короткие волосы, неожиданно

черные брови и — глаза: нет, не голубые, как показалось ему в первое мгновение,— синие, той незамутненной, неразбавленной, той первозданной сини, какую увидишь разве что на детских неумелых рисунках; и голос — негромкий, грудной; и этот смех — какой-то очень женский: словно бы и застенчивый, но вместе с тем сознающий и неотразимость свою, и власть.

Бауман вдруг подумал: а что Ульянов, интересно, женат? И если женат, то какая она у него, жена? Глупости, сказал он себе. Взбредет же такое на ум, других забот будто нет... А впрочем, зря я так, подумал он. Что бы там ни твердили о необходимости самоотречения и жертвенности иные шибко горячие головы, нет, совсем это нелишне для революционера — чувствовать себя счастливым и в личной жизни, как счастлив, оттого что любит, сам он сейчас.

Солнце тем временем зашло, от воды сразу потянуло сырым холодом. Он поспешил к пристани, была еще надежда попасть на этот, вот-вот готовый отойти пароходик. Успел. Пассажиров было мало, да и те, что были, ушли на корму, под брезентовый навес. Он остался на палубе. Смотрел на огни города (с каждой минутой они становились все ближе и было их все больше) и думал о том, приехал ли Аксельрод и начались ли наконец переговоры.

3

На другой день, к вечеру, он отправился в Везену. Но ни Ульянова, ни Потресова в гостинице не застал. Пожилой человек в пенсне, сидевший за конторкой (то ли портье, то ли сам владелец отеля — по

виду трудно было определить), сообщил, что «господ русских» нет с самого утра. Может, им следует что-либо передать? Какие пустяки, он с удовольствием выполнит любое поручение! Бауман сказал — нет, спасибо, передавать ничего не нужно, так как завтра он вновь посетит своих друзей. Портье, говоривший по-немецки с заметным французским акцентом, услышав из уст Баумана чистейший немецкий, осведомился, не немец ли «молодой друг русских господ». Начисто забыв в ту минуту, что он и действительно немец, Бауман подтвердил: да, немец — следуя исключительно правилам конспирации. Поймав себя на этом и невольно улыбнувшись (портье, вероятно, отнес эту улыбку за счет его общительности и тоже улыбнулся в ответ), Бауман подумал, что надо бы потом, когда приедет Надюш, рассказать ей о таком вот занятном парадоксе нелегального жития.

Прошло еще три дня. Каждый вечер Бауман наведывался в Везену, но дождаться их не мог — так поздно они возвращались. Он успокаивал себя, что ничего страшного, просто-напросто там, в Корсье, многое надо детально обсудить, чтобы ничто потом не тормозило дело.

В конце концов он не выдержал и, не видя другого способа повидаться с Ульяновым, сам переселился в Везену — в ту же гостиницу. Портье он объяснил, что очарован Везеной и хотел бы именно здесь провести несколько случайно выдавшихся ему свободных дней — да, да, с русскими друзьями, вы совершенно правы.

И надо же было так случиться, что как раз в этот день Ульянов и Потресов приехали рано, сразу после обеда. Бауман увидел их, когда они шли по дороге. Потресов был угрюм, заросшее бородой насупленное лицо его было обращено к Ульянову, кото-

рый, напротив, настроен был, кажется, весело и что-то оживленно говорил, отчаянно жестикулируя.

— Наконец-то,— сказал Бауман, пожимая им руки.— Я уж не чаял увидеть вас.

— Сейчас расскажем, потерпите, сейчас мы вам такое расскажем!..— прищурившись, сказал Ульянов. И повернул голову к Потресову: — Сначала давайте вы, Александр Николаевич, а? У вас это должно получиться особенно красочно... при вашей, гм, гм, впечатлительности.

— Вы уж сами, Владимир Ильич,— угрюмо сказал Потресов.— Я что-то неважно себя чувствую, пойду в номер.

— Помилуйте, с головной болью гулять надо, гулять! — воскликнул Ульянов.— Сознайтесь, что вы попросту кисейная барышня, которая пуще всего боится печальных воспоминаний. Ну, ну, не обижайтесь, я шучу. Вы и в самом деле плохо выглядите.

Потресов ушел, свернув к гостинице. Ульянов взял Баумана под руку.

— Вы не представляете,— сказал он,— в каком нервном напряжении мы прожили эти дни. Столько всякого переговорено было — право, даже не знаю, с чего начать. Сколько дней мы не виделись? Четыре? Пять? За это время я постиг то, чего в обычных условиях не узнал бы и за годы. Тяжелый урок... Но и полезный,— тут же добавил он.— Да! Полезный и поучительный — несмотря ни на что. Сядемте? Вот здесь, на скамейке?

Вообще-то, начал Ульянов, обо всем этом можно было бы сказать в двух словах: дескать, после дебатов и споров пришли к такому-то итогу. Ведь в конечном счете только это и важно — каков результат, не так ли? Вероятно, так бы он, Ульянов, и поступил, даже наверняка ограничился бы сейчас лишь

сугубо деловой информацией, но есть вещи, о которых нельзя умолчать. Так что пусть Бауман вооружится терпением: придется, увы, говорить и о частностях, обидных мелочах даже: это необходимо, чтобы извлечь из урока все выводы. При этом он, Ульянов, вполне отдает себе отчет в том, что будет скорее всего пристрастен — слишком рядом все это, не остыло еще; тут уж Бауману самому придется вышелушивать истину.

Устроившись на скамейке поудобнее, вполоборота к Бауману, Ульянов сказал, что начать, верно, следует с того вечера в Бельриве, когда они расстались. Павел Борисович, оказалось, приехал еще утром, так что задержка теперь была за ним, за Ульяновым. Первое, что сделали, собравшись все вместе,— прочли вслух «Заявление», то самое, «от редакции», проект которого Ульянов составил еще в России, а здесь, по совету Плеханова, несколько подправил. Высказались все: Аксельрод, Засулич, Потресов; проект не вызвал у них возражений. Ждали, что скажет Плеханов. Тем более что Георгий Валентинович с самого начала, буквально с первых же минут, повел себя как-то странно: был подчеркнуто безучастен, сидел с каменным лицом, скрестив руки на груди,— и молчал. Ни одного замечания, ни одного возражения. Создавалось даже впечатление, что он будто отстранялся, именно так — отстранялся, попросту не желал участвовать в обсуждении. И лишь тогда, выражаясь высоким штилем (Ульянов усмехнулся), когда взоры всех присутствующих обратились к нему и отмалчиваться больше было невозможно, он, снисходительно эдак улыбнувшись, бросил — вскользь, мимоходом, но в то же время достаточно определенно,— замечание, что он-то, конечно, не такое бы заявление написал; судя по его тону,

прибавил Ульянов, он хотел сказать — не так робко, не так скромно, не так оппортунистически!..

Бауман насторожился. Ему не понравилось, как произнес Ульянов последнюю эту свою фразу: очень уж «лично», с каким-то раздражением. При всем том, что Бауман отлично знал, сколько сарказма умеет вкладывать Плеханов даже в безобидные, казалось бы, слова, был он сейчас все-таки не на стороне Ульянова.

Ульянов, похоже, догадался о его мыслях. Потому что, едва взглянув на него, он тут же сказал — нет, нет, да не подумает Бауман, будто само по себе замечание Плеханова, хотя и было оно зело ядовитое, очень уязвило его; это не так, да и не в том вовсе дело: он, Ульянов, можете верить, готов выслушать любую критику, даже и несправедливую, но при одном всенепременнейшем условии — чтобы критика была доказательная, чтобы у противника были хоть какие-нибудь аргументы. Но в том-то и дело, что в данном случае критики не было, все свелось лишь к этому вот брошенному вскользь замечанию, без малейшей попытки обосновать свою точку зрения,— вот что особенно неприятно его, Ульянова, поразило. Нет, в самом деле, стоит только представить себе: идет совещание соредакторов, и вот один из них, которого, кстати, уже просили внести в проект свои исправления, этот соредактор не предлагает ровно никаких изменений — только иронизирует... Ну разве, хочется спросить, разве это нормальные отношения между товарищами?

— Я понимаю,— сказал Ульянов, повернув голову к Бауману,— вы хотите сказать: стоило ли обращать на это внимание? Нужно-де было уступить. Мы с Потресовым так и сделали: уступили. Я не стал акцентировать внимание на саркастической

реплике Плеханова, не стал допытываться, что же конкретно не устраивает его. Я всерьез думал тогда, что это случайный эпизод, не больше того, что просто Плеханов нынче не в духе. Уступили мы и еще раз: когда решался вопрос о сотрудничестве со Струве и Туган-Барановским. Натолкнувшись на нежелание Плеханова приглашать их (объявил он нам об этом очень холодно и сухо, не снисходя до объяснения своих мотивов), мы сняли свое предложение. Плеханов встретил наши слова молчанием — точно это и само собою подразумевалось, что мы не можем не уступить...

По мере своего рассказа Ульянов горячился все больше. Понимает ли Бауман, в состоянии ли представить себе, какая сложная, какая тяжелая, какая невозможная сложилась обстановка? Ведь дело теперь, после этого случая, уже, безусловно, принимало такой вид, что Плеханов недвусмысленно ставит ультиматум: или он — или... Было ясно, что эта атмосфера ультиматумов неспроста: желание Плеханова властвовать, притом неограниченно, проявлялось совершенно очевидно. Уже и тогда, хотя и смутно, Ульянов догадывался, что их уступки — большая их с Потресовым ошибка, но ему и в голову тогда не приходило, к каким последствиям это может привести.

Главные события, помрачнев, сказал Ульянов, разыгрались на следующий день. Только собрались — Плеханов с какой-то непонятной торжественностью объявляет вдруг, что он отказывается от соредакторства, лучше он будет сотрудником, простым сотрудником, ибо иначе будут только трения, потому что он смотрит на дело, видимо, иначе, чем некоторые товарищи; потом он еще сказал, что понимает и — даже! — уважает иную точку зрения, но

согласиться с ней не может, а коль так — пусть редакторами будут все остальные, а он — сотрудником, на большее он не претендует. Естественно, все стали возражать. Тогда он спросил: ну, если все вместе, сколько же это голосов получится? Шесть? Нет, шесть — неудобно, а вдруг разделятся голоса? Тут же вступила Вера Ивановна: пускай уж у Георгия Валентиновича будет два голоса, а то, прибавила она, он всегда один будет. На том и порешили. И тотчас...

— Нет,— прервал себя Ульянов,— об этом надо подробнее. Очень существенный момент. Значит, так: едва услышав, что все согласны отдать ему два голоса, он тотчас, буквально в ту же секунду, весьма энергично берет в свои руки бразды правления и начинает, с видом хозяина, распределять отделы и статьи, отдавая эти отделы то одному, то другому,— и все это, разумеется, тоном, не допускающим возражений. Мы сидим все — Аксельрод и Вера Ивановна в том числе,— как в воду опущенные, не в состоянии еще переварить происшедшее.

Мало-помалу становилось все яснее, что «новая система» фактически равняется полному его господству и что он, отлично понимая это, отнюдь не склонен церемониться с нами. И как всегда бывает, когда оказываешься в дураках, возражения и замечания наши становятся все более тусклыми и робкими, и Плеханов без особых усилий отодвигает их (не опровергает, а именно отодвигает) все легче и все небрежнее...

Они уже и тогда, говорил Ульянов, понимали, что разбиты наголову, но до конца в тот миг все же еще не осмыслили свое положение. Зато потом, как только сошли они с парохода и пришли к себе, в Везену,— о, как прорвало их сразу, каким прямо-таки

потоком негодования разразились они с Потресовым! Они ходили до позднего вечера по Везене, из конца в конец, а ночь, как в дурной мелодраме, была темная, кругом шумели грозы и блистали молнии; ходили и возмущались. Потресов, помнится, говорил, что личные отношения с Плехановым он считает теперь раз и навсегда порванными и никогда не возобновит их; обращение его с нами, говорил он, оскорбительно. И — самое горькое — в этом ведь не было преувеличения; он, Ульянов, очень понимал Потресова, очень. Его влюбленность в Плеханова тоже как рукой сняло. Никогда (он просит Баумана поверить в это), никогда в своей жизни он ни к одному человеку не относился с таким искренним уважением и почтением, ни перед кем не держал себя с таким «смирением» — и никогда ни от кого не получал такого грубого пинка. А на деле ведь получилось именно так, что они с Потресовым получили пинок: их припугнули, как детей, припугнули тем, что взрослые их покинут и оставят одних. Яснее ясного стало, что отказ Плеханова от соредакторства был просто ловушкой, рассчитанным шахматным ходом, западней. И действительно, ведь если бы он искренне отказывался от соредакторства, боясь, как он говорил, затормозить дело или породить лишние трения,— разве б мог он сразу же, минуту спустя, обнаружить, и так грубо обнаружить, что его СОредакторство совершенно равносильно ЕДИНОредакторству? Словом, возмущение их, как видит Бауман, было предельно велико: самым резким обвинениям не было конца. Так нельзя! — решили они. Они не хотят и не будут — *не могут* — работать вместе при таких условиях!

Ульянов неожиданно остановился. Он постарается, как это ни трудно, быть справедливым, сказал он.

Сегодня, спустя несколько дней, он понимает, что внезапность случившегося вызвала, естественно, немало и преувеличений, это бесспорно,— но тем не менее он и сейчас убежден, что в основе своей эти горькие слова были верны. Разошлись спать, твердо решив завтра же высказать Плеханову свое возмущение, отказаться от журнала и уехать, оставив одну газету, а журнальный материал издавать брошюрами; дело от этого, мол, не пострадает, зато они избавятся от близких отношений с «этим человеком».

Ульянов говорил почти без пауз, горячо и быстро, как бы торопя слова, но в то же время и обстоятельно, явно стараясь не упустить ничего существенного. Слушая его с нетерпеливым вниманием, Бауман все время следил за его лицом; оно было странно переменчиво. Бауман не сразу понял, что странность эта состоит главным образом в неуловимости переходов от одного состояния к другому, вернее в той молниеносности, с какой эти перемены происходили. Но и при этом, о чем бы ни говорил Ульянов в тот или иной момент и каким бы ни было в это время его лицо, все равно в глазах у него сохранялось, то больше, то меньше, выражение какого-то по-детски беспомощного удивления, точно он то и дело спрашивал себя: да полно, могло ли такое быть, мыслимо ли такое?

Как ни хотел Бауман поскорее узнать, чем же все-таки закончились переговоры, он слушал не перебивая. Ему было важно понять, как проходили переговоры, и в глубине души он был благодарен Ульянову за то, что тот не ограничился просто сообщением о происшедшем, а счел возможным посвятить его даже в личные свои раздумья; такая откровенность тем более была удивительна, что в конце-то концов они видят друг друга всего второй раз. Было

это, понимал Бауман, знаком немалого доверия: так, с такими личными подробностями можно рассказывать только человеку, которому доверяешь; такой разговор возможен только с единомышленником, перед которым не боишься выглядеть жалким или смешным. Ульянов же, часто к невыгоде для себя, ничего не скрывал — ни своей обиды на Плеханова, ни глубокой душевной боли. Бауману пришло вдруг в голову: может быть, такая вот, без утаек, откровенность как раз и заставляет его, Баумана, быть не просто слушателем; он чувствовал себя человеком, лично сопричастным тому, о чем рассказывал Ульянов. Временами даже он ловил себя на том, что с отчетливой реальностью, до яви почти представляет себе, что и как было там, в Корсье.

Ульянов рассказывал уже о том, что происходило на другой день. Сначала они сообщили о своем решении Аксельроду и Засулич,— с Верой Ивановной был особенно тяжелый разговор; она была страшно угнетена и упрашивала, молила почти — нельзя ли все-таки попробовать, может быть, на деле не так страшно будет, за работой, она уверена, наладятся отношения, не так видны будут черты его характера...

Это было, помолчав, сказал Ульянов, до такой степени тяжело — слушать просьбы человека, слабого пред Плехановым, но человека, безусловно, искреннего и страстно преданного делу...

В назначенный час, после обеда, встретились все вместе. Плеханов завел какой-то сторонний разговор: явно уже знает все. Начинает говорить Потресов — сдержанно, сухо и кратко; говорит (также и от имени Ульянова), что оба они отчаялись в возможности вести дело при таких отношениях, какие определились вчера, и поэтому решили уехать в Россию —

посоветоваться с тамошними товарищами; что же до журнала, то, в силу помянутых обстоятельств, от него приходится пока отказаться.

Плеханов выслушал все это с легкой улыбкой. Он очень спокоен, сдержан,— о, это великолепное спокойствие, знакомо ли оно Бауману? Затем, вполне и безусловно владея собой, он вежливо и очень осторожно (как врач безнадежного больного!) спрашивает — в чем же, собственно, дело? Он явно чего-то не понимает. Ульянов (признавался он сейчас) пришел в ярость. Такой прием — прикидываться непонимающим, едва речь заходит о неприятных вещах,— уже хорошо был знаком Ульянову. Это походило на насмешку. Пришлось объяснить ему — по возможности спокойно: мы находимся в атмосфере ультиматумов, так больше продолжаться не может — лучше уж нам уехать. Плеханов, вероятно, не ожидал такого поворота, такой прямоты обвинения: проходит минута полного, невозможного молчания. А затем спустя эту минуту он отважно кидается ва-банк: «Ну, решили ехать, так что ж тут толковать. Мне тут нечего сказать. Мое положение, согласитесь, очень странное: у вас все впечатления да впечатления, больше ничего; получилось у вас такое впечатление, что я дурной человек,— ну что же я могу с этим поделать?» Поняв, к чему он клонит, Ульянов в ответ сказал, что если их с Потресовым вина в чем и есть, так это, может быть, в том, что они чересчур размахнулись, не разведав брода. «Нет,— тут же парирует Плеханов,— уж если говорить откровенно, то ваша вина в том, что вы (вероятно, в этом сказалась и повышенная нервность Потресова), вы придали чрезмерное значение таким впечатлениям, которым придавать значение вовсе не следовало». И добавляет — дословно! — следующее: «А если вы уезжае-

те, то, учтите, я ведь тоже сидеть сложа руки не стану и могу вступить в иное предприятие...»

— Да-с! — Ульянов придвинулся к Бауману.— Такие вот веселые вещи... Признáюсь: ничто, даже все то, что было раньше, так не уронило Плеханова в моих глазах, как эти его слова. Это была такая грубая угроза, что она могла только «доконать» его, обнаружив «политику» по отношению к нам: достаточно-де будет хорошенько их припугнуть... Но ничего у него не вышло! Мы были уже ученые! И вот, увидев, что угроза не действует, он пробует другой маневр. Как же не назвать это маневром, когда он буквально через несколько минут стал говорить о том (нет, вы только послушайте!), что разрыв с нами равносилен для него полному отказу от политической деятельности, что он и откажется от нее, уйдет в научную, чисто научную литературу, ибо если-де он с нами не может работать, то, значит, ни с кем не сможет... Все ясно: не действуют запугивания, так, может быть, поможет лесть!.. Одного он, однако, не учел: после запугивания это могло произвести только отталкивающее впечатление.

Погрузившись в свои мысли, Ульянов умолк. Пауза была длинная, Бауман тоже молчал. Сложные чувства владели им. Точно проклятье какое-то, думал он с болью и горечью; только стало все налаживаться, вот-вот, казалось, завертится «машина» — и конец, все рухнуло. И из-за чего! Добро бы еще в основе разногласий действительно лежали принципиальные расхождения!.. Но вместе с тем Бауман отчетливо понимал и то, что нельзя начинать газету, когда в редакции вместо товарищеского сотрудничества диктат одного человека, даже если этот человек — Плеханов. Нет, по совести, ни в чем Бауман не мог упрекнуть Потресова и Ульянова. Они правы в

главном: при таких взаимоотношениях вести дело невозможно, бессмысленно,— оно, дело, неминуемо и очень скоро развалится.

Остаток вечера, продолжал свой рассказ Ульянов, прошел пусто, тяжело. А наутро — то есть сегодня — решили в последний раз переговорить с Плехановым, может, удастся хоть как-то наладить дело, чтобы из-за порчи личных отношений не дать погибнуть серьезному *партийному* предприятию.

Живехонько собрались, поехали в Женеву. Плеханов, вопреки ожиданию, встретил их приветливо, с самого начала взял такой тон, будто вышло лишь печальное недоразумение. Ульянов сообщил ему, что они с Потресовым взвесили все «за» и «против» и считают, что возможны только три комбинации в работе редакции: первая — они редакторы, он сотрудник; вторая — все они равноправные соредакторы; третья — он редактор, остальные — сотрудники. В России, куда они намерены немедленно выехать, они обсудят все эти комбинации, выработают там проект и с этим проектом вернутся сюда. Плеханов, ни минуты не раздумывая, сказал, что, видимо, не стоит ехать в Россию: он решительно отказывается от третьей комбинации, больше того — он категорически настаивает на совершенном исключении ее; на любую же из первых двух соглашается безоговорочно.

Решили, что пока соредакторами будут все шестеро...

Тут Ульянов улыбнулся — впервые за время своего рассказа.

— Собственно,— сказал он,— на этом можно и закончить. Как видите, главного мы все-таки добились: не дали потухнуть «Искре». Все же остальное — в назидание, так сказать, чтобы быть начеку:

я вовсе не поручусь, что через какое-то время Георгий Валентинович не захочет вновь диктовать условия. Конечно, это ужасно, что порвалась какая-то струна и вместо прекрасных личных отношений наступили деловые, сухие, с постоянным расчетом по формуле: хочешь мира — готовься к войне, но тут уж ничего не поделаешь. Ну, а теперь за дело, Николай Эрнестович.

4

Все эти месяцы в Женеве Бауман постоянно думал о своей будущей работе, которая — стоит лишь приехать Ульянову — начнется. Свою же жизнь в эти месяцы, даже и понимая, что не очень справедлив, он воспринимал как безделье. Да, подумал он, конечно, я был несправедлив. Разве счесть все диспуты, в которых принимал участие? А сближение с Плехановым, работа в группе «Освобождение труда» — разве это сбросишь со счетов? Нет, нет, не так уж бездарно, не так уж бессмысленно провел он время в Женеве, особенно если ко всему прочему прибавить кучу книг — Маркс, Плеханов, Бернштейн, Струве,— которые не просто прочитал — изучил. Так что насчет «безделья» — это он явно перегибал тогда. Да, перегибал, думал он, сидя в купе поезда.

Последний месяц его не покидало ощущение такой полной занятости, что, право же, нечасто выпадала хоть минута для таких вот мыслей. А сейчас он едет в Лейпциг — из Мюнхена, где разместилась редакция «Искры»; путь неблизкий — с юга на север, через пол-Германии почти,— и, пока поезд медленно ползет, есть время подумать. Он понимал теперь, что пребывание его в Женеве было хоть и несколько затянувшейся, но совершенно необходимой

подготовкой к завтрашним делам. Понимал он также и то, что, окажись на его месте человек иного, чем он, склада, вполне возможно, что такой человек с самого начала нашел бы применение своим силам. Но Бауман не замечал в себе особого литературного, скажем, дара, не был он склонен и к теоретическим изысканиям; прежде всего он был человеком действия, его стихией была практическая, организаторская работа. Потому-то и ждал он с таким нетерпением приезда Ульянова: надеялся, что в том деле, которое затевалось, непременно найдется и ему, Бауману, занятие.

Так и вышло. После того как закончились переговоры в Корсье, он и Ульянов уехали сначала в Нюрнберг, затем в Мюнхен. Ульянов познакомил его с видными социал-демократами, которые брались оказать «Искре» организационно-техническую помощь; в дальнейшем Бауману уже самому предстояло поддерживать с ними связь.

Случилось так, что на первых порах делами газеты практически занимались лишь они с Ульяновым. Потресова замучили болезни, он уехал лечиться. Мартов, третий член «литературной группы», талантливый, по уверениям Ульянова, человек и опытный журналист, был еще в России. А Плеханов, Аксельрод и Засулич не изъявляли пока что желания покидать Швейцарию; да это и к лучшему: мало было надежды, что эти милые, но очень уж непрактичные люди способны продвинуть дело.

Ульянов должен был, не медля ни дня, заняться подготовкой литературных материалов. Он поселился в Мюнхене. И, надо признать, лучший город для центра редакции трудно было найти. Главное — совершенное отсутствие русских эмигрантов, среди

которых вполне могли оказаться царские шпики. Но тем не менее, чтобы и вовсе сбить охранку со следа, Ульянов поселился в Мюнхене вначале под фамилией Мейера, без паспорта, а некоторое время спустя, когда болгарские социалисты раздобыли для него «настоящий» паспорт, стал Иордановым. Из этих же, конспиративных соображений всю свою обширную переписку с Россией он вел через чешского социал-демократа Модрачека, жившего в Праге.

Поселился Ульянов в маленькой, почти без мебели комнатке на окраине, питался кое-как, зачастую довольствуясь чаем и куском хлеба: жалко было тратить время на дорогу до ближайшего ресторанчика. Дел у него и правда было столько, что даже при дьявольской его работоспособности суток явно не хватало. День уходил на переписку с авторами и сотрудниками газеты, на редактирование присланных корреспонденций, и лишь ночью он получал возможность сосредоточиться на самом, может быть, главном: писал ведущие статьи для первых номеров, те статьи, которые, собственно, и должны были определить лицо газеты.

На плечи Баумана и немецких социал-демократов легли заботы, связанные с подысканием типографии. Дело это оказалось даже более хлопотное, чем можно было предположить. Мало было найти владельца типографии, который решился бы печатать нелегальную газету,— в конце концов немецким товарищам все-таки удалось заручиться согласием некоего Германа Рау, социал-демократа, хозяина маленькой типографии в Пробстхейде под Лейпцигом. Но ни сам Рау, ни его единственный подручный не знали русского языка. Пришлось позаботиться о том, чтобы поиски наборщика, которые довольно давно

вел Рау, непременно увенчались успехом и чтобы этот наборщик умел набирать русский текст. Желательно также было, чтобы наборщик (учитывая сугубую законспирированность нового предприятия) не оказался случайным человеком.

Выбор пал на Иосифа Блюменфельда. Последние годы Блюменфельд жил в Женеве, работая в типографии, где выпускались главным образом труды Плеханова и его сподвижников. Теперь ему суждено было стать «искровцем». И вот однажды он предложил свои услуги Герману Рау. Задав два-три вопроса, тот сразу понял, что имеет дело с первоклассным специалистом.

Тут-то и приехал в Лейпциг Бауман. О да, с удовольствием; он, Герман Рау, польщен, что товарищи из Мюнхена посоветовали обратиться именно к нему, ведь его типография не самая лучшая в Германии, нет, не самая лучшая. Он всегда готов оказать содействие партийному делу, пусть даже и в ущерб себе... О, ущерба не будет? Тем лучше, тем лучше! Он вовсе не бессребреник, типография ведь требует расходов! Газета? Прекрасно. Нелегальная? Что ж, можно и нелегальную, у него есть в этом отношении некоторый опыт. Газета — русская?.. Ой-ля-ля, в таком случае вы попали как раз туда, куда нужно! Нет, сам я не владею русским, но... Вам повезло! Всего несколько дней назад я нанял нового работника, и он — представьте, такая удача! — отлично знает русский. Клянусь честью, во всей Германии вы не найдете другой типографии, которая могла бы выполнить подобный заказ!

Пока добирались до Пробстхейды, Герман Рау рассказал, что его типография специализируется на спортивных изданиях, в том числе напечатал он и собственную брошюру «Развитие гимнастики в Гер-

мании» — не читали? О, эта брошюра очень популярна, очень. Но вот и Пробстхейда, Руссенштрассе, 48. «Какое совпадение,— восклицал по этому поводу Рау.— Не правда ли, какое знаменательное совпадение? На Руссенштрассе будет печататься русская газета! Кто бы мог подумать!..»

Типография размещалась в неприметном домике. Одна комната — вот, собственно, и вся типография.

В тот же день Бауман выехал за русским шрифтом. И вот сегодня, неделю спустя, он уже возвращается назад, в Лейпциг, и не только с тяжеленным чемоданом, но и с окончательно отредактированным текстом «Заявления редакции «Искры»».

Медленно тащится поезд. Медленно, черт возьми. В окне пожелтевшие поля — уже октябрь, осень. Впрочем, нет, подумал он, почему — уже? Еще октябрь, еще только октябрь. Все, что сделано, сделано всего за один месяц — даже самому не верится. Бауман ни на минуту не упускал из виду чемодан. Хотя и сомнительно, что кто-нибудь покусится на такую тяжесть, но зато и не было у него в жизни более драгоценного груза, чем этот.

Приехал он в Лейпциг вечером. Блюменфельд тотчас приступил к набору и проработал почти всю ночь, а утром были готовы чуть влажные оттиски гранок «Заявления редакции «Искры»». Пусть это еще не сама газета, а лишь «От редакции», но все равно — с крупно набранным заголовком «Искра». Читая статью, Бауман не мог не думать о том, какое впечатление она произведет в России. Особенно живо он почему-то представлял себе, какой вой поднимут «экономисты», когда прочтут, что цель газеты — создать революционную рабочую партию, способную возглавить борьбу с ненавистным режимом. Что ж, пусть бесятся. Главное — рабочие. А они-то примут

газету, не могут не принять, поскорей бы только начала она выходить...

И этот день настал. В скромной типографии, оборудованной едва ли многим лучше, чем во времена Гутенберга, при свете керосиновой лампы происходило событие, не просто, чувствовал Бауман, венчавшее многомесячный труд нескольких человек,— нет, в то хмурое декабрьское утро в деревушке Пробстхейде свершилось нечто гораздо большее, чем даже выход «Искры»: начиналась борьба за партию. И что с того, с невольной торжественностью думал Бауман, что пока еще очень мало людей знает об этом; пройдет время, сейчас трудно угадать сколько — месяцы или годы, но раньше или позже люди — даже враги — поймут: этот декабрьский день 1900 года был вехой, точкой отсчета нового этапа российской революции.

Бауман нарезáл бумагу, тончайшую, но не папиросную, а прочную; газету, отпечатанную на ней, легче будет переправлять через границу. Работа эта — нарезка бумаги — была кропотливой, требовала предельного внимания, но все равно Бауман не мог удержаться, то и дело поглядывал на Ульянова, читавшего последнюю корректуру, на его сосредоточенное лицо. Ульянов приехал сюда из Мюнхена десять дней назад. Словно бы оправдываясь, объяснял он этот свой приезд необходимостью окончательно отредактировать материал: «Знаете, при верстке всегда приходится что-то выкидывать, что-то добавлять. Да и разные мелочи рассовать нужно...» Да, так. Конечно, так, думал Бауман. В последние дни неизбежно возникает масса непредвиденной работы. И все-таки Ульянов явно хитрил, пытаясь объяснить свой приезд одними только деловыми соображениями. Бауман отлично понимал, что и не будь

никаких дел, Ульянов все равно бы приехал. То, что он так по-детски хитрил, как-то особо сближало с ним.

Закончив правку, Ульянов отдал испещренную значками полосу Блюменфельду для внесения исправлений в набор. Отдал и, возбужденный, явно не знал, чем занять себя. То нетерпеливо подходил к Блюменфельду, склонившемуся над талером в поисках нужной литеры, то обращался с каким-нибудь незначащим вопросом к Бауману, то пытался шутить с Германом Рау (что-то насчет своего варварского произношения).

Блюменфельд не торопился. А когда он с той словно бы замедленностью в движениях, которая выдавала истинного мастера, перебрал наконец поправленные строки и, положив лист бумаги на валик, принялся крутить ручку, Бауман с трудом преодолел искушение тоже что-нибудь сделать — ну, ту же хотя бы ручку покрутить...

И вот тонкий газетный лист появился на лотке. Первым взял его Герман Рау. Наверное, так и полагалось. Хозяин типографии первый смотрит свою продукцию. Но, должно быть, и сам Рау почувствовал, что в данном случае как раз это-то и не имеет существенного значения; он почувствовал это и, кажется, даже не взглянув на оттиск, протянул его Ульянову.

— Поздравляю, друзья, поздравляю,— негромко и буднично произнес он при этом.

Ульянов не ответил. В этот момент он уже пробегал глазами полосу. В левом верхнем углу стояли слова: «Российская социал-демократическая рабочая партия», в правом — «Из искры возгорится пламя!»., а между этими строками, в центре и очень крупно, было набрано: **«ИСКРА»**. Стоя рядом с

Ульяновым, Бауман вместе с ним просматривал полосы. Первый номер, при всем том, что был он невелик по размеру, оказался очень насыщенным. Но, бесспорно, главной статьей была та, которая открывала его,— «Насущные задачи нашего движения». В ней изложена, по сути, программа деятельности всей русской социал-демократии. Взгляд Баумана задержался на завершавших статью строках (они были перед глазами, и Ульянов, вероятно, перечитывал сейчас эти строки).

«Перед нами стоит во всей своей силе неприятельская крепость, из которой осыпают нас тучи ядер и пуль, уносящие лучших борцов. Мы должны взять эту крепость, и мы возьмем ее, если все силы пробуждающегося пролетариата соединим со всеми силами русских революционеров в одну партию, к которой потянется все, что есть в России живого и честного. И только тогда исполнится великое пророчество русского рабочего-революционера Петра Алексеева: «подымется мускулистая рука миллионов рабочего люда, и ярмо деспотизма, огражденное солдатскими штыками, разлетится в прах!»»

Бауману вдруг захотелось, чтобы Ульянов оторвался от газеты: хотелось сказать ему все, что думал о нем, сказать какие-то особенные, добрые слова. Ульянов оторвался от газеты и, обернувшись, посмотрел на него, но Бауман так ничего и не сказал. Он почувствовал, что любые слова, тем более «самые-самые», попросту неуместны в эту минуту.

Бауман подумал, что, сколько бы он ни прожил и какие события ни заполнили бы его жизнь, все равно он навсегда и, вероятно, до мельчайших подробностей запомнит все, что связано с рождением «Искры»; так уж водится, что люди никогда не забывают счастливые свои минуты.

5

В пять часов (еще и не стемнело толком) Герман Рау сказал, что на сегодня хватит, «генуг», пришло время закрывать типографию. Почему? Да хотя бы потому, что он никогда, какой бы срочный и выгодный ни был заказ, не работает после пяти. О да, он, конечно, понимает, что теперешний случай особый, можно сказать исключительный, и, понимая это, он охотно отошел бы от этого своего правила, но... да простят меня великодушно герр Иорданов (кивок в сторону Ульянова) и герр Полетаев (кивок в сторону Баумана), но, именно ввиду этой исключительности, я полагаю, что вряд ли стоит возбуждать излишние подозрения... У кого? О, мало ли! У шуцмана, у соседей, у прохожих! Знаете, эти вопросы, расспросы, недоверчивые взгляды...

Рау был прав, пришлось с ним согласиться.

Уже стемнело, когда вышли на улицу. Шли пешком, подняв от ветра воротники пальто. Странная стояла зима, неприятная — без снега. В сущности, и зимы никакой нет, а так, дрянненькая какая-то осень, мокреть, вполне можно бы без зимнего пальто обойтись, если бы не этот дурацкий продирающий насквозь ветер. Коротая дорогу, говорили о русском ядреном морозце, о том, как славно было б сейчас прокатиться на санях и как все-таки не хватает им всего этого здесь, в Германии.

Когда показались огни Лейпцига, Ульянов сказал:

— Николай Эрнестович, давайте-ка попируем сегодня, а? Хорошо бы, конечно, в ресторацию какую-никакую закатиться, только разве там поговоришь!

Решили купить по пути бутылку вина, кой-чего из еды — и в отель. В номере — собрались у Баумана,

здесь было просторней — быстренько разожгли камин, вскоре стало тепло и домовито. Впереди был свободный вечер, трудно поверить — целый вечер и ровно никаких дел. Поезд в Мюнхен, куда должен вернуться Ульянов, уходит часа через четыре. Бауману же и вовсе нужно ждать, пока Блюменфельд отпечатает весь тираж; на это уйдет дня два, не меньше: как-никак восемь тысяч экземпляров.

Подумав об этом, Бауман решил, что часть тиража, тысячи три, в первую очередь нужно будет отвезти в Цюрих — для последующей передачи в Пруссию студентам-латышам Скубику и Ролау; этим парням удавалось уже переправлять в Ригу (при помощи контрабандистов, разумеется) транспорты с подпольной литературой. Познакомил Баумана с ними Павел Борисович Аксельрод, и они тотчас, едва узнали, что от них требуется, согласились доставить «Искру» в Россию — через курляндскую границу.

Весь в мыслях о них, Бауман принялся рассказывать об этих ребятах — Ульянов лично не был с ними знаком. Замечательные парни, собранные, деловые. Ну, а поскольку к тому же, сказал он, так вышло, что это — единственный транспорт, который можно организовать уже сегодня, то, по справедливости, следует признать, что «Искре» повезло, она явно родилась под счастливой звездой.

— Вы правы,— сказал Ульянов,— пока что нам действительно везет. Я бы даже сказал — неправдоподобно везет. Шутка ли, за такой срок поставить газету, да так, чтобы ни одна ищейка не пронюхала. Надеюсь, что это так — не пронюхала... Но — Николай Эрнестович, дружок, не обижайтесь,— пуще всего на свете я боюсь шапкозакидательства. Все должно быть хорошо, все будет хорошо, я тоже крепко на это надеюсь, и все-таки — не из одних же

дураков состоит охранка и ее доблестное воинство, а? Сейчас, когда столь многое зависит от перевозки, мы должны, нет, обязаны особо держать ухо востро. Один-два провала, и нам придется начинать с нуля — роскошь, которую, согласитесь, мы никак не можем себе позволить.— Неожиданно он умолк, настороженно — не обидел ли невзначай — взглянул на Баумана, потом так же неожиданно улыбнулся.— Только, прошу вас, ради бога, не подумайте, что это я специально для вас говорю, поучаю, так сказать. Я и себе не устаю твердить это. Где-то вычитал: нужно, чтобы человеку хоть однажды повезло, и чем раньше, тем лучше,— остального же он должен добиваться сам. Не глупо, а? Так что рассчитывать на сплошное везение — занятие негожее для серьезных людей. Одним из непременных наших правил должно стать: надейся на лучшее, но будь готов к худшему...

Потом он заговорил о своей удачливости, каковая, по его словам, заключалась в том, что в Женеве, где так много доморощенных цицеронов и так мало людей дела, посчастливилось ему встретить именно Баумана, человека, без практической хватки которого будто бы «Искра» долго не встала бы на ноги... С чувством неловкости слушал его Бауман. Он считал, что заслуги его Ульянов — не иначе как по доброте душевной — явно преувеличил. Так он и сказал Ульянову — от неловкости и смущения, может быть, более горячо и более жестко, чем того требовали обстоятельства. Ульянов в ответ только рукой махнул, обезоруживающе рассмеявшись.

И тут же, по обыкновению нимало не заботясь о плавности перехода, повел речь совсем о другом. Он говорил о том времени, когда задача, стоящая первой в очереди,— насытить Россию «Искрой», сделать ее достоянием тысяч и тысяч рабочих, будет уже

решена. Но можем ли мы этим ограничиться? — спросил он. Нет. Если мы будем пописывать, а читатель почитывать, и только — грош цена всему нашему делу. Главная, коренная задача состоит в том, чтобы, не ограничиваясь лишь выпуском газеты, создать на ее основе искровскую организацию. Газета распространяет идеи, повседневно занимается политическим воспитанием масс — все это важно, архиважно, но — недостаточно; наряду с этим, газета должна выступить также как коллективный организатор.

Развивая эту свою мысль и поминутно оговариваясь, что все это лишь самые предварительные наметки, сугубо черновые, не больше, и Бауман первый, с кем он рискует поделиться ими,— Ульянов говорил о том, что при помощи «Искры» — неизбежно, неотвратимо! — будет складываться постоянная организация, приучающая своих членов вырабатывать целесообразные способы воздействия на политические события со стороны революционной партии. Да, партии, повторил он. Потому что одна уже техническая задача — обеспечить правильное снабжение газеты материалами и правильное распространение ее,— одна эта задача заставляет создать сеть местных агентов «Искры», которые и составят остов, нет, лучше — ядро партии.

Ульянов говорил, вышагивая от двери до камина, резким взмахом руки, сжатой в кулак, как бы подчеркивая выводы. В комнате было уже жарковато, он снял пиджак, повесил его на спинку стула — по всей вероятности, проделав все это автоматически, машинально, потому что без паузы закончил фразу. Внезапно он остановился и, исподлобья глянув на Баумана, начал задавать свои, как всегда напористые — не отвертишься — вопросы:

— Вы внимательно следили за ходом моих рассуждений? Нет ли в них ошибки? Перехлеста? Согласны ли вы со мной? Если нет, то по каким пунктам? И еще вот что: как, по вашему мнению, отнесутся к этому товарищи? Плеханов, Потресов, Аксельрод? И — противники? «Экономисты», к примеру?

Бауман сказал, что многое показалось ему неожиданным. Нет, не потому, что все это кажется ему несбыточным — трижды нет. Просто в горячке сегодняшних дел и забот ему не приходило в голову заглядывать так далеко. Сам же план, сказал он, представляется ему реальным. В самом деле, ведь люди, занятые распространением «Искры» и уже по одному этому постоянно переезжающие с места на место, так или иначе, иной раз даже независимо от личных качеств, выступят в роли профессиональных партийных организаторов,— все дело, стало быть, в том, чтобы эти люди чувствовали себя не просто курьерами по доставке газеты, не просто техническими, так сказать, исполнителями, а — если он верно понял — полномочными политическими деятелями. Вот почему ему кажется, что этот план необходимо, и как можно быстрее, обнародовать, ибо самое важное (и, вероятно, самое трудное) — правильно начать дело или хотя бы знать, с чего его начать. Что же до возможных мнений и толков, то они, как водится, будут разноречивыми, а со стороны некоторых, заранее можно предугадать, даже враждебными. Нужно быть готовым и к тому, что на первых порах даже близкие нам люди будут говорить, что Ульянова занесло, что он-де не в меру размечтался, потому как нельзя прыгнуть выше головы и, не сказавши «а», вряд ли есть резон произносить «б»...

Ульянов рассмеялся, сказал, что — точно, так, поди, и будут говорить. Но это не страшно, это легко пережить. Нашему движению как раз не хватает мечтаний, обгоняющих естественный ход событий. Помнит ли Бауман, как сказано об этом у Писарева? Смутно? О, тогда я с удовольствием напомню это место — кажется, из «Промахов незрелой мысли», да, оттуда — надо бы разыскать эту статью, сделать выписку, пригодится... Так вот, Писарев говорит, что если бы человек был совершенно лишен способности мечтать, если бы он не мог, пусть изредка, забегать вперед и созерцать воображением своим то самое творение, которое только-только начинает складываться под его руками, тогда совершенно было бы непонятно, что заставляет его предпринимать и доводить до конца обширные и подчас утомительные работы в любой области — искусства, науки, политики или практической жизни... Отлично сказано, не правда ли? Следовательно: надо, надо, надо мечтать! Ибо вопрос (он вновь принялся ходить) стоит так: либо плестись в хвосте событий, либо опережать их, направлять. Третьего не дано. И — скажите на милость — разве мечта о том, чтобы газета стала частичкой громадного кузнечного меха, раздувающего каждую искру классовой борьбы и народного возмущения в общий пожар, разве мечта такого рода беспочвенна? Или чрезмерна? Как не понять, что вокруг этого дела будет подбираться и, если нужно, обучаться постоянная армия испытанных борцов? И нет надобности быть особым пророком, чтобы предвидеть: скоро поднимутся и выдвинутся из революционеров наши социал-демократические Желябовы, наши рабочие, русские Бебели — они и станут во главе мобилизованной армии рабочих, они-то и поднимут весь народ на борьбу.

Ульянов горячился и оттого картавил больше обычного. Слушая его, Бауман вспомнил слова Плеханова, те строки из его давнишнего письма к Струве, где говорилось, что ни с кем из российских практиков не связывает он столько надежд, как с Ульяновым. Можно только подивиться, подумал Бауман, как верно угадал Плеханов. Но даже и Плеханов не предполагал того, в чем Бауман ни на минуту не сомневался,— что сейчас, на этом этапе, когда настало время переходить от чистой теории к действиям, пожалуй, только Ульянов способен возглавить практическую борьбу за партию. Сегодня это знают лишь немногие — завтра поймут все.

Поздно вечером Ульянов уехал в Мюнхен.

6

Полковник Зубатов, начальник Московского охранного отделения, сидел в своем служебном кабинете и сочинял доклад в департамент полиции. Занятие это было привычным и необременительным. Сводка задержанных и подозреваемых была перед глазами, оставалось только прибавить сведения о наиболее характерных делах, находившихся в производстве,— работа на час, от силы на два. Между тем Зубатов составлял свой доклад третий день. В этом, впрочем, не было ничего исключительного. Бывали случаи, когда он и по неделе корпел над докладом: он дорожил репутацией человека, чьи доклады неизменно ставят в пример. Ему трудно было понять своих коллег, начальников других губернских отделений, даже самого умного из них, Пирамидова, которые относились к докладам формально и казенно, как к ненужной обузе,— для него, для

Зубатова, сочинение доклада было актом истинного творчества. Не ограничиваясь перечнем данных по Москве, он обычно позволял себе высказывать более общие соображения, касающиеся состояния розыскного дела во всей империи. Такая широта взгляда — он знал это — была по душе директору департамента Зволянскому; знал он и то, что зачастую Зволянский не гнушался переписывать наиболее свежие зубатовские мысли в свой доклад — для министра уже. А свежие, смелые мысли, как известно, появляются не вдруг и не сразу, они требуют неспешных и вдумчивых размышлений.

На этот, однако, раз Зубатов принужден был поторопиться: подгонял календарь. Сегодня 27 декабря, до Нового года всего четыре дня, нужно сделать так, чтобы доклад поспел в департамент хотя бы за день до праздника.

Новый год — 1901-й — будет одновременно и началом нового, двадцатого века. Зубатов с усмешкой подумал о всей этой газетной своре, которая последнее время только тем и занята, что трубит об этом — о пошлость и мелкоумие! — «эпохальном», «историческом» и каком-то там еще событии. Газеты и журналы напичканы глупейшими прогнозами, в том числе и политическими. Человечество, словно бы утратив благоразумие, с суеверным страхом ждет, что принесет с собой новый век — новые войны, революции, нашествие марсиан?

Зубатов не разделял этого всеобщего помешательства. Можно подумать, будто от того, что время перешагнет какую-то условную, самими же людьми для удобства придуманную черту, и впрямь могут произойти какие-нибудь изменения. Чушь и вздор. Зубатов знал, что иные пружины управляют событиями, и от того, что они, пружины эти, большей

частью скрыты от глаз, они отнюдь не становятся менее всесильными. Должно быть, именно принадлежность Зубатова к числу тех, немногих, кто был посвящен в тайное тайных империи, лишала в его глазах наступающий век ореола значительности. А если говорить о возможной революции, подумал он, то сегодня она еще менее реальна, чем полсотни лет назад, когда на арену истории вступил со своими разрушительными идеями Карл Маркс. Дело ныне дошло ведь до того, что один из сподвижников помянутого Маркса — Эдуард Бернштейн — подверг столь коренному пересмотру фантасмагории своего учителя, что выбросил из них учение о так называемой классовой борьбе и диктатуре пролетариата. Как ни крути, а получается, что сегодня Бернштейн, как и его вольные или невольные последователи в России, «экономисты»,— наши прямые союзники.

Правда, чрезмерным иллюзиям предаваться тут тоже не следует. За последнее время, как слышно, развернул бурную деятельность некто Владимир Ульянов, пытается не то в Швейцарии, не то в Германии издавать нелегальную газету «Искру»; поговаривают также, что ему, Ульянову то бишь, удалось переломить самого даже Плеханова,— в это, положим, верилось с трудом. Тем не менее факт остается фактом: явно затевает что-то этот Ульянов. Тот самый Ульянов, который, как совсем недавно выяснилось, полгода назад был в Питере заарестован Пирамидовым и (после этакой промашки Пирамидову впору пулю себе в лоб пустить) через десять дней наиблагополучнейшим образом выпущен был на свободу... Нужно, решил Зубатов, помянуть про Ульянова в докладе, обязательно! Для того хотя бы, чтоб лишний раз досадить Пирамидову. Счеты с ним были старые. Начальник столичной охранки весьма

кичился тем, что был жандармским полковником, в отличие от Зубатова, тоже полковника, но армейского,— случай и в самом деле выходящий из ряда вон. Но ничего, ничего, это обстоятельство, надо полагать, не помешает именно ему, Зубатову, занять в недалеком будущем должность заведующего Особым отделом департамента полиции,— то место, о котором денно и нощно мечтает также и Пирамидов. Нет, снисходительно усмехнулся Зубатов, никто не спорит: кое-какие заслуги есть и у Пирамидова, но не с Зубатовым же тягаться ему! Зубатов знал, что в свои 36 лет он — даром что не жандарм, а армеец! — популярен сегодня, как, пожалуй, никто в министерстве. Причина того — сперва «летучие», подвижные отряды филеров, созданные по его предложению, а теперь — «рабочие» общества, которые он замыслил организовать под крылышком у полиции. Немаловажно тут, конечно, и то, что, в отличие от коллег, он знает психологию и нравы революционной братии, что называется, из первых рук: сам чуть не с младых ногтей участвовал в «тайных обществах» и рабочих кружках (на родине своей, в Шуе), а потом, уже в Москве, был грех, основал даже нелегальную библиотеку...

Зубатов дописал в почти готовый уже доклад — не казенным, как принято, стертым языком, а так, как пишут дружеские письма: «Я думаю, что поскольку роль Ульянова вполне выяснена, то срезать эту голову с революционного тела было бы желательно поскорее. Ведь крупнее Ульянова сейчас в революции нет никого...» И представив себе, какая физиономия будет у Пирамидова, когда Зволянский ткнет его носом в это место, он еще и подчеркнул последнюю фразу двумя жирными линиями; затем расписался и поставил дату: 27 декабря 1900 года.

Но и этой пилюли, заготовленной им для Пирамидова, показалось ему мало. Через неделю, 3 января 1901 уже года, в связи с новыми слухами об «Искре», он опять вернулся к личности Ульянова: «...ходит проспект «Искры» № 1, который якобы вышел со статьей Плеханова о своевременности приступа к политической борьбе. Ожидают возвращения Владимира Ульянова, имеющего эту теоретическую формулу воплотить в кровь и плоть. Вот бы хлопнуть сего господина!»

7

Ульянов ждал приезда жены. Срок ее ссылки в Уфе заканчивался 11 марта, сейчас середина апреля — куда ж она запропастилась? С документами все в порядке, недаром он сам специально ездил в Прагу и Вену, чтобы исхлопотать для нее заграничный паспорт. В чем же дело? Неужели ей продлили ссылку? Нет, вряд ли. Она бы тотчас дала знать.

Чуть не ко всем поездам ходил он встречать ее на мюнхенский вокзал. Ее все не было. Ульянов нервничал, и чем дальше, тем больше. Его состояние передалось не только Засулич, вообще до крайности отзывчивой на чужую боль, но и вечному пересмешнику Юлию Мартову (оба они вместе с Ульяновым заканчивали корректуру третьего номера «Искры» и редактировали материалы для четвертого).

И вот Надя, Наденька, Надежда Константиновна — приехала!

В первую минуту, когда она нежданно-негаданно, и почему-то в шубе (в Мюнхене было уже тепло, все ходили в одних платьях), появилась на пороге со словами: «Фу, черт, что ж ты не написал, где тебя найти!» — в эту первую минуту Ульянов так расте-

рялся, что начал вдруг оправдываться: «Как не написал? Я тебя по три раза на день ходил встречать. Откуда ты?» И только потом, после смешных этих оправданий бросился к ней, обнял, помог снять несуразную шубу.

А приключилась с Надеждой Константиновной пресмешная, как выяснилось, история.

— По-пошехонски ехала,— под общий хохот и сама смеясь, рассказывала она.— Поскольку письма Владимиру Ильичу шли на Прагу, на имя Модрачека,— направилась в Прагу. Дала телеграмму. Приехала. Что за оказия — никто не встречает! Подождала, подождала. Ничего не поделаешь, наняла извозчика — в цилиндре! — нагрузила на него свои корзины, поехали. Въезжаем в узкий переулок, останавливаемся: громадный дом, из окон во множестве торчат проветривающиеся перины. Лечу на четвертый этаж. Дверь открывает чешка — беленькая такая, чистенькая. Я твержу: «Модрачек, герр Модрачек». Выходит мужчина, по виду рабочий, говорит: «Я — Модрачек!» Ошеломленная, мямлю: «Нет, Модрачек — это мой муж». Наконец он догадывается, должно быть: «Ах, вы, вероятно, жена герра Ритмейера! Так он живет в Мюнхене, а через меня только письма пересылал...» Что делать — еду в Мюнхен. Только теперь я ученая, не стала возиться с корзинами, сдала их на хранение на вокзале, а сама на трамвай — разыскивать Ритмейера. Отыскала дом. Опять, думаю, что-то не так: квартира № 1 оказалась почему-то пивной. Терять, однако, нечего, подхожу к стойке, спрашиваю господина Ритмейера. Трактирщик отвечает: «Это я». И мило так улыбается. Совершенно убитая, лепечу: «Нет, нет, это мой муж!» И стоим дураками друг против друга. Выручила жена Ритмейера: «Ах, это, верно, жена герра

Мейера, он ведь ждет жену из Сибири! Пойдемте, я провожу!» Открываю дверь, а муженек родной, представьте, нет чтобы обрадоваться или хотя бы сделать вид такой — жалкие какие-то оправдания лепечет... Стоило ехать к нему!

Тоненьким смехом заливался Мартов:

— Вот до чего ведь конспирация доводит! Нет, революционеру никак нельзя жениться, никак!

— Особенно,— в тон ему, но все же как-то виновато говорил Ульянов,— особенно, если земец, на имя которого посылаешь книгу с адресом, зачитывает эту книжку...

— Нет, друже,— допекал Мартов.— Никакие резоны теперь тебе не помогут. Так ведь, Наденька?

— Так, так! Я ему век этого не забуду! — смеялась Надежда Константиновна, рада-радехонька, что все-таки добралась и что Володя здоров (хотя и осунулся, пожалуй), и что она опять со своими.

На нее набросились с расспросами: что там в России, как? Но она даже и в малой степени не сумела утолить их интереса. В своей уфимской глуши, да под гласным надзором, она знала, к сожалению, не так уж много. Главные же новости оказались здесь, в Мюнхене. Столько, оказывается, событий произошло за те месяцы, что они были в разлуке! Она ведь ничего не знает! Ни того, что происходило в Корсье и Бельриве, ни того, где и как печатается «Искра», ни того тем более, как был захвачен на границе первый транспорт с газетой.

Об этом «завале» Владимир Ильич рассказал ей особенно подробно. И потому, что боль этой утраты не прошла до сих пор (даже и теперь, спустя четыре месяца, он не мог скрыть острой своей досады). И, главное, потому, что именно подробности неудачи должна была знать Надежда Константиновна, по

должности, так сказать: она будет секретарем «Искры».

«Завал» произошел с «латышами-цюрихчанами» — Эдуардом Скубиком и Эрнстом Ролау. Как только тираж был отпечатан, Бауман («я тебе еще расскажу о нем, потерпи!») отвез им три тысячи экземпляров. Упаковав пачки с газетами в тюки, студенты отправились в Курляндию, на прусскую границу. Там их уже поджидали контрабандисты — народ все тертый, не раз и не два оказывавший услуги революционерам, за немалые деньги, конечно. Ночь была темная и вьюжная — все, казалось, благоприятствовало переходу границы. И действительно, границу контрабандисты перешли без затруднений. Возвратившись к исходу ночи назад, они сообщили студентам, что весь груз передан связанному с ними хозяину приграничной усадьбы. Они не врали, так оно и было. Но они не знали того, что за этой усадьбой давно уже ведется слежка. «Искра», таким образом, попала в руки полиции не потому, что охота велась именно на «Искру», а скорей всего по роковому стечению обстоятельств... отчего потеря эта, заметил Владимир Ильич, не становится, разумеется, менее огорчительной. А мораль сей басни (заключил он) такова: мы продумываем, детально разрабатываем главные, магистральные вопросы и упускаем из виду технические мелочи, на них-то и обжигаемся. Следовательно? Следовательно, мелочей не должно быть; все, что касается «Искры» и ее распространения, все — главное, все — первостепенное. И это Надежде Константиновне надлежит запомнить особенно, так как именно ей — в качестве секретаря редакции — придется вплотную и непосредственно заниматься всей организационной работой, конспиративной перепиской в том числе.

Он начал с мрачного, но нет, пусть Надя не подумает, что только из неудач, только из промахов состоит жизнь «Искры» — вовсе нет. Если взять да посчитать, если бросить на незримые какие-нибудь весы все потери и успехи, то, при самых скромных оценках, радостей было за это время все же больше, просто несравнимо больше.

Прежде всего, «Искра» (главным образом в чемоданах с двойным дном, в переплетах книг, пересылаемых в Россию по надежным адресам) пошла за кордон, во множество российских городов. Даже и десятитысячного тиража, который кое-кому поначалу казался чрезмерным, теперь не хватает. Налаживается, вот-вот начнется перепечатка «Искры» в Кишиневе и Баку. И везде, решительно всюду «Искра» находит отклик у рабочих.

— Нет, Надя, ты только послушай, что пишут нам рабочие, причем пишут не только для печати, а и так, для обмена мыслями.

Владимир Ильич непрестанно расхаживал взад и вперед. Неистребимая, должно быть, привычка. Надежда Константиновна не представляла себе, чтобы он говорил о том, что его волнует, чинно сидя за столом или стоя неподвижно. Казалось, мыслям, распиравшим его, была противопоказана неподвижность. Взяв с письменного стола несколько листков и вновь зашагав, он сказал:

— Вот, например, из Орехово-Зуева, послушай: ««Искра» у нас читается нарасхват, и сколько доставлено, все находится в ходу. Благодаря ей чувствуется сильный подъем у рабочих». Из Иваново-Вознесенска: «Газета «Искра» пишет про наше дело, она учит много понимать. Газета «Искра» нравится рабочим, почему наша касса решила четверть своих доходов отдавать на «Искру»». Из Нижнего: «Здешние

рабочие относятся к «Искре» очень сочувственно. Она читается рабочими с огромным интересом, многие просят выписывать (слышишь, Надя, выписывать!) ее в их полную собственность и предлагают на это деньги, даже собирают специально на «Искру»».

Вводя Надежду Константиновну в редакционные дела, больше всего он говорил ей о людях. О тех, на ком держалась «Искра»,— об агентах ее, «искряках». Кое-кого она давно и отлично знала — по Шуше, по Питеру. Но были и незнакомые ей имена. В ряду других — обрати, Надюша, особое внимание! — Бауман. Николай Эрнестович Бауман, клички — Грач, Полетаев, Евграфыч, Макс, Григорьев.

Она улыбнулась: помилуй бог, столько кличек разом? Зачем? В этих вопросах ее, как и в улыбке, право, не было ничего такого, что могло бы хоть как-то принизить незнакомого ей человека, но Владимир Ильич, к удивлению ее, вдруг загорячился: нет, нет, она не права, вовсе не от игры в конспиративность, не от щегольства такое обилие кличек у Баумана! Без них не обойтись человеку, который только в этом году не раз переходил границу и в качестве агента «Искры» исколесил всю Россию, умудряясь еще при этом не только доставлять туда газету, но и налаживать, под самым носом у полиции, деятельность местных организаций. Словом — находчивый, неутомимый, до дерзости смелый человек! Кстати: это он — первый — повез «Искру» в Россию в чемоданах с двойным дном. К тому же (что уж вовсе редкость для нашей братии) — великий практик. Умение его наладить любое дело, практически организовать его — просто фантастично. Сейчас он в России, но скоро, возможно, приедет, и она сама познакомится с ним, сама убедится, какой это яркий, какой это талантливый, какой, наконец, обая-

тельный это человек. Кстати, он недавно женился, его жену тоже зовут Надя — милая, сердечная и чудо какая красивая!

Надежда Константиновна знала за мужем эту слабость — увлекаться людьми.

Через день, едва успев угнездиться на новом месте, она приступила к работе. На нее была возложена корреспондентская часть — переписка с агентами, находящимися в России. Писем, на которые предстояло отвечать, было в общем-то не так и много, за день средним счетом около десяти, но каждое из них требовало адской работы. Прежде всего нужно было написать что-нибудь нейтральное, дабы в случае почти неизбежной перлюстрации ничто не вызывало подозрений, — о здоровье родных, скажем, или о заключении какой-либо торговой сделки. Затем — уже между строками этого письма — следовало «химией» вписать истинный текст, предварительно зашифровав, разумеется, наиболее «опасные» места. Все это забирало уйму времени, ведь для каждого «искряка» существовал свой шифр. К тому же надо было запомнить, у кого какая в данный момент кличка, какое конспиративное название у каждого города. Так, Самара называлась Соней, Псков — Пашей, Полтава — Паулиной, Тверь — Терентием. Сама же редакция «Искры» была наречена Феклой.

В первые дни у Надежды Константиновны голова кругом шла, но ничего — освоилась, приноровилась.

Глава третья

Господин первостепенной важности

1

Внешне письмо было как письмо: короткое, деловое, с обычными канцелярскими изъявлениями уважения. Но что-то в нем все же царапнуло глаз, даже при первом беглом чтении. Зубатов заставил себя вновь перечитать письмо, внимательно, придирчиво.

«Его высокоблагородию С. В. Зубатову
20 ноября 1901 г. № 3885

Милостивый государь
Сергей Васильевич.

Поспешаю уведомить Ваше высокоблагородие, что 13 ноября сего года некто из Нюрнберга сообщает шифром в Одессу к Конкордии Захаровой нижеследующее: «Грач меняет адрес для явки. Новый адрес: Мещанская, Старо-Екатерининская больница, спросить фельдшерицу Рукину, сказать ей: я от Зои. Впрочем, если воспользовались старым, беды особенной нет. Послали ли в Торжок?»

Сообщая об изложенном, имею честь покорнейше просить Ваше высокоблагородие принять меры к выяснению «Грача», который, очевидно, является пред-

ставителем организации «Искры» для Москвы, причем при установлении его личности не мешает иметь в виду приметы московского представителя «Искры» по описанию «Приятеля». Судя по всему, это господин первостепенной важности.

Примите, милостивый государь, и прочее...

Л. Ратаев,

заведующий особым отделом департамента полиции чиновник особых поручений V класса»

Мда, сказал себе Зубатов. Уважительное письмо, ничего не скажешь. Даже чрезмерно уважительное: «поспешаю уведомить», «имею честь покорнейше просить» — с перебором, так сказать. В этом-то, сверх всяких правил официального письмоводительства, переборе все и дело, собственно. Зубатов легко угадывал игру Ратаева. Своей подчеркнутой любезностью (с примесью напускного самоуничижения даже) он как бы говорил, что помнит и не собирается забывать происшедшее между ними, и в то же время давал понять, что вовсе не против покончить дело миром. В противном случае, прикидывал Зубатов, письмо было бы сухим, сугубо официальным.

Не прост любезнейший Леонид Александрович, ой не прост! Вот уж поистине — словечка в простоте не молвит, все со значеньицем, с двойным смыслом. Как ловко, к примеру, ввернул он это небрежное «не мешает иметь в виду»; дескать, вот: как малому дитяти приходится все подсказывать, сам-то он, Зубатов, хотя и в фаворе у начальства, вряд ли способен до такого додуматься... А чего стоит невинная на первый взгляд фразочка насчет того, что Грач, очевидно, является московским представителем «Искры»! *Московским*, а не питерским, не тамбовским или

каким там еще,— следственно, всё его, Зубатова, мол, недогляд. Ладно, стерпим, многоуважаемый Леонид Александрович, стерпим-с...

По-человечески-то и Ратаева, конечно, понять можно. Каково ему было, да еще и при народе, получать по холеным своим мордасам. Об этом случае — из-за него как раз разгорелся весь сыр-бор — думать сейчас Зубатову было особенно приятно. Он как бы въяве видел лицо Ратаева, видел, как оно сначала (когда Зубатов сказал то, что сказал) вспыхнуло, покрылось каким-то невиданным, синюшным багрянцем, а потом (это уже когда Зволянский выразил одобрение словам Зубатова), потом стало вдруг белеть, точно это было уже не живое человеческое лицо, а маска, с ее гипсовой потусторонней безликостью. Произошло это на секретном совещании по поводу «Искры», на которое Зволянский, директор департамента полиции, собрал начальников жандармских управлений и охранных отделений с доброй половины российских губерний. (О, если б Ратаев знал, что идею провести такое совещание подал Зубатов!)

Зволянский поставил перед собравшимися два вопроса: действительно ли «Искра» представляет собой серьезную опасность для страны и престола, и если да, то какие меры по наибыстрейшему искоренению ее влияния надлежит предпринять? Он позволит себе,— предваряя обсуждение, сказал далее Зволянский,— зачитать одно в высшей степени симптоматичное, если не назвать его зловещим, заявление. Он имеет в виду то место из статьи «С чего начать?», опубликованной в 4-м номере «Искры», который вышел, мм... (взгляд в сторону Ратаева) в мае? («В мае!» — тотчас подтвердил Ратаев, еще не ведая, что ждет его дальше.) ...То место, продолжил Зволянский, где говорится об агентах газеты, как об

основе единой революционной организации. Цитатка эта (к слову, воспользоваться ею на совещании Зволянского надоумил Зубатов) была такова:

«Эта сеть агентов будет остовом именно такой организации, которая нам нужна: достаточно крупной, чтобы охватить всю страну; достаточно широкой и разносторонней, чтобы провести строгое и детальное разделение труда; достаточно выдержанной, чтобы уметь при всяких обстоятельствах, при всяких «поворотах» и неожиданностях вести неуклонно *свою* работу; достаточно гибкой, чтобы уметь, с одной стороны, уклониться от сражения в открытом поле с подавляющим своею силою неприятелем..., а с другой стороны, чтобы уметь пользоваться неповоротливостью этого неприятеля и нападать на него там и тогда, где всего менее ожидают нападения...»

Первым Зволянский попросил высказаться Ратаева: поскольку «Искра» издается, так сказать, в епархии Леонида Александровича — за границей. Ратаев поднялся и, поблагодарив за оказанную ему честь, начал лепить свои округлые, по всем правилам риторики сработанные фразы. Смысл довольно многословного его выступления сводился к тому, что, хотя факт существования «Искры», разумеется, весьма и весьма прискорбен, тем не менее вряд ли есть основания переоценивать меру влияния этой газеты на рабочих. Разве мало, с тонкой улыбкой вопрошал он, знаем мы газет и газетенок, журналов и журнальчиков, кои, при всей их кажущейся революционности, издаются скорее для удовлетворения честолюбивых замыслов их создателей, нежели для воздействия на массы? Нечего нам всерьез опасаться и «Искры». Во-первых, попадает она в Россию в крайне незначительном количестве, а во-вторых, если, предположим, и прочитает эту газетку россий-

ский рабочий, все равно он никогда не клюнет на удочку интеллигентской болтовни, как существо, по природе своей здравомыслящее. Не журавль в заоблачной выси нужен рабочему, а вполне реальная синичка в руках, то бишь стремление, пусть всего на пятак, улучшить свою жизнь. Не этим ли, в частности, следует объяснять популярность, какой пользуются — Зубатов не даст соврать — созданные в Москве при охранном отделении «рабочие общества»? Итак, заключил Ратаев, мы можем смело утверждать, что рабочие и интеллигенция — суть сосуды несообщающиеся, и, таким образом, вопли жалкой кучки злобствующих недоучек, мнящих себя интеллигентами, не более чем глас вопиющего в пустыне... С тем и сел Ратаев, явно довольный своей речью.

Зубатов отлично понимал, что Ратаев, умаляя роль «Искры», пытался хоть как-то замазать огрехи в работе своего отдела. Ведь за год «кипучей» деятельности зарубежным агентам Ратаева, всей этой банде дармоедов, удалось установить лишь то, что во главе «Искры» стоит «крестник» Пирамидова — Ульянов; а вот где печатается «Искра», где помещается ее редакция — этого и по сей день никто не знает.

Следующему после Ратаева полагалось бы выступить Пирамидову — столица как-никак. Однако Пирамидов — умный, бестия! — хоть и не мог не понимать, что Ратаев говорит вздор, все же смолчал: зачем наживать врагов?

Слово взял тогда Зубатов.

— Я с удовольствием слушал Леонида Александровича,— сказал он.— Я полностью согласен с его замечанием, что нам не следует особо страшиться рабочих — даже если они, добавлю от себя, организуют стачки и забастовки. В конце концов, им всегда мож-

но кинуть лишний ломоть хлеба, они еще и благодарны будут. Точно так же не таит в себе серьезной угрозы интеллигентская, как метко выразился Леонид Александрович, болтовня — даже если она, вновь позволю себе добавить, содержит призывы к свержению самодержавия.

Но...— в этом месте Зубатов подзадержал паузу, взглянул на Ратаева: даже и сейчас тот не подозревал, бедняга, какие тучи сгущаются над его головой.— Но представим себе на одну хотя бы минуту, что произойдет, если те же самые рабочие начнут усваивать идеи злополучной «Искры», если то, к чему «Искра» стремится — слияние рабочих и интеллигенции,— свершится, станет реальностью. Достаточно лишь поставить этот вопрос, чтобы стало ясно, где таится истинная опасность.

— Этого не произойдет,— бросил реплику Ратаев.

— Увы, уже происходит,— сказал Зубатов.

— Такие вещи следует доказывать фактами! — зло крикнул Ратаев.

— Факты? — улыбнулся Зубатов.— Извольте.— И достал из кармана сложенный вчетверо газетный лист.— Это газета «Искра», номер 7.

— Седьмой номер еще не вышел,— сказал на свою беду Ратаев.

— Седьмой номер, глубокоуважаемый Леонид Александрович, еще позавчера попал в Москву. Итак, вот заметочка, совсем крошечная. Письмо рабочего-ткача.— И в гробовой тишине Зубатов прочитал: — «Я многим товарищам показывал «Искру», и весь померок истрепался, а он дорог. Тут про наше дело, про все русское дело, которое копейками не оценишь и часами не определишь. Когда ее читаешь, тогда понятно, почему жандармы и полиция боятся нас, рабочих, и тех интеллигентов, за которыми мы идем.

Конечно, я простой рабочий и совсем не такой уж развитой, но я очень чувствую, где правда, знаю, что нужно рабочим. Рабочий народ теперь легко может загореться, уже все тлеет внизу, нужна только искра, и будет пожар. Ах, как это верно сказано, что из искры возгорится пламень!.. Я прошлое воскресенье собрал одиннадцать человек и читал «С чего начать?», так мы до ночи не расходились. Как все верно сказано, как до всего дойдено... В этот раз я прочитал то, что еще нигде не было написано. Теперь просто учи, как в бой идти, как в бою воевать».

Тут-то, после этой заметочки, столь красноречивой, что и комментировать ее не было нужды, тут и вспыхнул, покрылся диковинным своим румянцем Ратаев.

Но Зубатов еще не закончил. Разозленный тем, что Ратаев себе на потребу использовал его, кровное, зубатовское, детище — «рабочие общества», он решил здесь тоже взять реванш.

— Что же касается московских «рабочих обществ»,— сказал он,— обществ, о которых Леонид Александрович изволил столь поощрительно отозваться и в которых он видит чуть ли не панацею от всех бед, то тут, право же, обольщаться не приходится. Я не спорю, эти общества в Москве служат нам верную службу. Но, видит бог и мой друг,— тут он отчеканил каждое слово,— мой друг, отдельного корпуса жандармов полковник Пирамидов, не везде такая обстановка. Даже в столице нашей, в самом Петербурге, до такой степени не удается приручить рабочих, что возникают форменные восстания, вроде того, какое было на Обуховском заводе...

Ну не мог, не мог он отказать себе в удовольствии покуражиться маленько над Пирамидовым — очень

уж на нем сиял новехонький, с иголочки, жандармский мундир!

Зволянский по всем пунктам поддержал Зубатова.

Сегодняшнее письмо Ратаева, в особенности упоминание, что Грач скорее всего является московским представителем «Искры», следовало воспринимать как попытку нанести ответный удар. Ан дудки! Не то что удара — шлепка и то не получается! Может, это у вас там, в особом отделе, действительно понятия не имеют, кто таков Грач,— нам-то личность эта хорошо известна. Притом известно нам не только то, что имеет касательство к московской его деятельности; мы знаем также чуть ли не каждый шаг его за границей... а это, господин Ратаев, согласитесь, уже по вашему ведомству, это вам и без Зубатова полагалось бы знать... Сочиняя свой ответ, Зубатов постарался, чтобы он, наподобие бумеранга, сработал против самого Ратаева. Прикинув, выгодно ли — учитывая, что Грач покамест не обезврежен еще,— выгодно ли писать о нем всю правду, Зубатов решил, что ничего не теряет: не сегодня, так завтра Грач (если только он действительно в Москве) все равно будет схвачен. Москва — не Питер, здесь нелегалы долго не удерживаются, нет.

Уж отвел душу Зубатов, ничего не упустил в своем письме! Ни того, к примеру, что члены организации «Искры» в шифрованной переписке обставляют деятельность Грача (сиречь Баумана) особой конспирацией. Ни того, что, будучи за границей, он, как один из самых серьезных деятелей, и притом очень практический человек, руководил водворением искровских изданий в пределы империи. Ни даже того, что по возвращении в Россию он и здесь сохранил за собой роль руководителя партии, изъездил чуть не все города, поддерживая и оживляя связи,

всячески стремясь к проведению искровской программы...

Перед тем как отдать перебелить письмо, Зубатов просмотрел его. Остался доволен. И... решил не отправлять в таком виде; до поры до времени по крайней мере. Вот схватим Баумана — тогда другое дело. А то Ратаев — ловкач, поискать таких! — нам же еще и в вину поставит, что при такой осведомленности до сего дня церемонимся со столь опасной персоной... Наскоро Зубатов набросал другой ответ: благодарим, мол, за ценное сообщение, примем все зависящие меры к выяснению личности Грача...

Тут же решив, что этот Грач, право же, стоит того, чтобы вплотную заняться им, Зубатов вызвал Меньшикова, ведавшего агентурой, и Евстратия Медникова, ведавшего филерами, и приказал им начать персональную охоту за Бауманом, сообщив, что располагает надежными сведениями о его пребывании в Москве. Прежде чем отпустить их, он еще спросил, известно ли им что-либо о явке в Старо-Екатерининской больнице и, в частности, о фельдшерице этой больницы Рукиной. К огорчению его (потому что рвалась единственная достоверная ниточка, ведшая к Бауману), выяснилось, что явка эта больше не существует, а сама Рукина арестована — вскоре после ареста членов московского комитета социал-демократов, с которыми она была, несомненно, связана.

В другой раз Зубатов, пожалуй, похвалил бы их за рвение, но теперь воспользовался этим поводом, чтобы вполголоса (тихого гнева его, он знал, они особенно боялись) отчитать их за усердие не по разуму. При этом он понимал: они, как и он сам, знают, что разнос его не очень справедлив; ведь месяц назад арест Рукиной (вспомнилось вдруг ему) был произведен по его личному распоряжению. Но это обстоя-

тельство отнюдь не останавливало его: ничего, быстрее бегать будут! Он не сомневался, что, взнузданные им, они в течение суток перевернут всю Москву, и, если Бауман не только в воображении Ратаева, а и на самом деле объявился здесь, тогда ему не миновать расставленных силков.

2

Вывеска была заметной. Черная лакированная доска, выпуклые, из жаркой меди буквы. Сама бросается в глаза.

ВРАЧ ВАСИЛЕВСКИЙ Н. Н.
Внутренние болезни
3-й этаж

Василевский жил на Сретенке, угол Лукова переулка, и судя по тому, что медные буквы сияли на зимнем солнце так, словно их начищали каждый божий день, с ним, этим неведомым Бауману Василевским, ничего худого не произошло. Идя сюда, Бауман больше всего боялся, что и эта явка — последняя, какая имелась у него,— окажется проваленной.

Шли вторые сутки, как он появился в Москве, где не был уже два месяца. Оставив нехитрые свои пожитки (чемодан и дорожный кофр) на вокзале, он первым делом отправился на явку, которую считал наиболее надежной: собственный дом в Сокольниках вдовы генерала от инфантерии Мержанова; сын ее, Вениамин, студент-юрист, однажды уже прятал его у себя, представив мамаше как коллегу из Петербурга, с которым познакомился в библиотеке Румянцевского музея.

Мать Вениамина, оказалось, помнит Баумана. Поняв по его поведению, что он ничего не знает, она

начала плакать: такая вот несправедливость, ее мальчика, ее Веню, по какому-то навету или недоразумению однажды ночью пришли и забрали с собой жандармы!.. Вот пусть хоть он,— Иван Петрович, да? — он ведь хорошо знает Веню, пусть он скажет: разве Веня способен на что-нибудь злоумышленное? Такой тихий, такой вежливый мальчик!.. Этот «тихий» мальчик вел занятия в рабочем кружке и распространял «Искру» в университете; Бауман, однако, подтвердил, что, конечно, это нелепое недоразумение и он не сомневается, что в самом скором времени Веня конечно же будет дома...

Не смог он воспользоваться и следующей явкой: заметил, что за домом ведется слежка. Так было и в других местах: либо слежка, либо арест хозяина квартиры. Ночевать на вокзале он не решался — там весь на виду, любой околоточный может опознать. На бульваре? Холодно, декабрь в Москве не шутка. Провел ночь в извозчичьих трактирах на заставах — по полтора — два часа в каждом, чтобы не вызывать к себе, вернее к своему неуместно изысканному наряду, излишнего интереса. Бауман представлял себе, как непросто после сентябрьских арестов будет ему закрепиться в Москве, но кто же мог подумать, что даже переночевать ему негде будет? Утром, сидя в кресле у парикмахера, он едва не заснул...

Еще издали заметив вывеску врача, он подумал о том, что вряд ли кому-нибудь пришло бы в голову так ослепительно начищать буквы, если бы врач был арестован. Тем не менее поостерегся сразу заходить в подъезд, решил сначала хорошенько осмотреться, благо через дорогу от дома, где жил Василевский, чуть наискосок, помещалась кофейня.

Кофе был скверный, пирожное — бог знает какой давности, зато через окно (Бауман сел лицом к

нему) отлично просматривалась улица перед большим серым домом с медными буквами на вывеске. Усмехнувшись про себя, Бауман вдруг подумал, что, будь он филером и задайся целью осуществлять «наружное» (так это, кажется, у них в охранке называется) наблюдение за Василевским, лучше места не найти.

Фамилия врача ему ничего не говорила. Вероятно, второстепенное лицо, подумал он. За время своих многочисленных наездов в Москву в качестве агента «Искры» он хорошо узнал и сторонников своих и противников,— о Василевском даже не слыхал. Явку к нему он получил от Аксельрода, когда в первый раз, ровно год назад, отправился за границу, везя чемоданы с двойным дном. Он не помнил, что говорил о Василевском Павел Борисович, и говорил ли вообще,— запомнил только адрес и пароль. Такое запоминал намертво.

Он смотрел на улицу. Пока ничего подозрительного. Ровным счетом ничего. Обычная для Сретенки сутолока.

В кофейню зашел кто-то. Бауман оглянулся. Низкорослый мужичонка в мерлушковой черной шапке.

— Не хотите ль кофейку, Сан Саныч? — обрадованно поздоровавшись, спросил у него бритоголовый хозяин заведения.— Из Турции.

— Н-нет,— после некоторого колебания последовал ответ.— Не одобряю! Сердцебиение и звон в голове.

— Тогда, может, коньячку? С морозца?

— Что ты, что ты! — Бауман смотрел в окно, но, и не видя человека в шапке, очень ясно представил себе, как тот покрутил головой из стороны в сторону.— Пивком и то после баньки балуюсь только.— И с подкупающей откровенностью признался: — Все

экономлю. Потому как пропорцию соблюдать надо, раз уж дело такое затеял.

Бауман машинально прислушивался к тому, что говорили за спиной.

— Куда ж, ежели не секрет, решили капиталы свои направить? — спросил хозяин.

— Все думаю,— сказал человек в шапке. И повздыхал: — Кабы знать, где верное дело...

— Слыхал, к цветочной лавке приглядываетесь — не поверил.

— Не советуешь? Во, во! Все не советуют. А ты как — свое заведение не раздумал продавать?

— Что раздумывать? Дело решенное. Может, купите все ж?

— Может, куплю.

— Так... по рукам?

— А может, не куплю.

— А! — произнес хозяин кофейни, от досады даже голос возвысил.

— А ты не акай! Ты вот лучше скажи — отчего заведение свое продаешь?

— Вот вы какой,— обиженно засопел хозяин.— Сказано — уезжать надумал. В Тверь!

— Скрываешь,— отметил человек в шапке. И рассмеялся рассыпчато: — А чего скрывать-то? Все равно кофейню твою покупать я не буду: раздумал.

— Не будешь? — огорчился хозяин.

— Не буду. Нет! Так что — выгода, что ль, мала?

Наступила пауза. Потом, поверив, должно быть, что покупатель и впрямь сорвался с крючка, и мужественно пережив эту потерю, хозяин обреченно крякнул и, жалеючи себя, начал изливать громким голосом душу:

— А, какая там выгода! Слезы! Себе в убыток, можно сказать, торгую. Пирожная — она вещь недолговечная! Сохнет! Пропадает! А сливки? Киснут, воняют! Брр! А налог — кому какое дело? — плати! Есть с чего, нет с чего — плати!

Смешок в ответ:

— О-ох, и до чего ж вы, торговцы, прибедняться все любите!

Тут Бауман отвлекся, не до разговора стало. Он увидел, как, постояв с минуту у вывески, прошествовала в подъезд, где жил врач, какая-то старушенция в допотопном салопе. Если слежка — тотчас из соседней подворотни должна вынырнуть некая быстроглазая физиономия... Нет, Сретенка осталась равнодушной к этому событию.

Бауман поднялся. Пока шел к стойке — расплачиваться, человек в шапке все допытывался у хозяина:

— А как ты к рекламе относишься? Помогает? Или главное — чтоб клиентура постоянная была?

Бауман взглянул на него — лицо как лицо, ничего приметного. Тот в свою очередь с любопытством ощупал своими светлыми линялыми глазками его новенький, явно не нашенского покроя реглан.

А когда Бауман ушел и тугая пружина плотно захлопнула дверь, человек в шапке прицокнул языком, сказал не то с удивлением, не то с завистью:

— Видал, каков матерьялец на пальто? Век сносу не будет.— И полюбопытствовал: — Знакомая личность?

— Кто? Этот? Да нет, первый раз вроде. А что — думаете, по вашей линии?

Человек в шапке не ответил. Он подскочил вдруг к окну, чуть не носом прилип к стеклу. Бауман в это время неторопливо переходил улицу. Перешел...

Разглядывает вывеску... Вошел в подъезд, что рядом с вывеской...

— Сан Саныч, да куда вы? — окликнул хозяин. Но человек в шапке не слышал уже, в этот как раз момент гулко захлопнулась за ним дверь. Хозяин кофейни усмехался вдогонку: ишь, как резво скакнул, ровно б молодой; знать, по следу пошел Сан Саныч... занятие его всей округе ведь известное: филер, сыщик по-простому сказать.

Сан Саныч (Тимохин была его фамилия) тем временем стоял около подъезда в нерешительности и, не зная, что предпринять, даже того не зная, тот ли это вообще случай, когда нужно что-либо предпринимать, маялся покамест. В особенности одной вещи никак не мог он себе простить. Надо же, какого дурака свалял: пальтецо разглядел, крой хоть сейчас нарисует, а вот физиономию, самое первое то есть, не запомнил, только разок и глянул всего. А ведь мог, дьявол его бери, мог и раньше, когда еще спиной он сидел и пил свой кофей, усечь его, должно ж было сердце подсказать! Ан нет — лялякал насчет покупки чертовой этой кофейни! Как будто — ха! — и правда собирается покупать ее!

В эту минуту диковинной для него растерянности, кляня себя за оплошность, Тимохин готов был заодно уж плохо подумать и о той своей тактике, к которой, вопреки инструкции, с неизменным успехом прибегал последнее время. В инструкции по организации наружного наблюдения, не так давно появившейся и, по приказанию Евстратия Медникова, всеми филерами вызубренной, говорилось среди прочего и о том, что так как филер полезен для службы лишь тогда, когда его мало знают в лицо и не знают его профессии, то он, значит, должен держать себя конспиративно, а именно — избегать знакомств, дабы никто

не знал, что он служит в охранном отделении. Инструкция эта, может, и не дурная, а для желторотых, которые вчера иль сегодня на службу пришли, может быть, очень и полезная, но только все равно Тимохин чихать на нее хотел. Тимохин тоже не лыком шит, старый воробей,— почище любой, в кабинетике сочиненной инструкции знает что почем. Это ведь только в бумажке написать можно, чтоб никто тебя в лицо не знал,— бумажка все стерпит; а когда, как Тимохин, полтора без малого десятка лет прослужишь, любая шелудивая, можно сказать, собака, хошь не хошь, за версту признает тебя; люди — тем более, для того им природой и мозги дадены... Вот и крутится Тимохин, лучший филер Евстратки Медникова; про то, что службу бросить собирается, сказочки сочиняет, то к одному, то к другому торговцу приценяется, потому как они, торговцы эти — народ ушлый, всех своих клиентов до споднего знают, с ними филеру дружить и дружить только.

От этих своих мыслей Тимохин поуспокоился немного. Что сегодня сплошал: заболтался и врага империи не углядел — так это раз на раз не приходится: жизнь. А свое Тимохин так и так возьмет, бульдожья хватка Тимохина не только Евстратию Медникову — самому господину Зубатову известна.

Постояв еще сколько-то у подъезда, Тимохин уже точно знал, что и как надлежит ему делать.

3

На звонок дверь открыла величественная дама в строгом платье. Предложив повесить пальто здесь, в передней, она провела Баумана в приемную.

— Вам придется немного подождать,— сказала она.— Николай Николаевич сейчас занят.

— У меня есть время,— сказал Бауман.

В приемной сидела, кутаясь в пуховую, оренбургского начеса шаль, знакомая уже старушенция.

— Вот время-то какое,— поизучав Баумана, изрекла она.— Молодые и те болеют.

Бауман не поддержал разговора, натужно, одними губами улыбнулся только, но все равно ему не удалось уберечься от обстоятельного рассказа старушки о бесчисленных ее недугах.

Врач был высок ростом, худощав. У него было тонкое умное лицо, аккуратная бородка обрамляла насмешливый рот, из-под стекляшек пенсне иронически посверкивали темные многознающие глаза.

— Если не ошибаюсь, не имел чести лечить вас.— Тщательно, щеточкой моя руки, вполоборота смотрел он на Баумана.— На что жалуетесь, милейший?

— В общем-то, ничего серьезного, я надеюсь,— виновато, как бы заранее извиняясь, что пришел с такими пустяками, улыбнулся Бауман.— Какие-то,— нарочно замялся он,— какие-то *колики под ложечкой*.

Это был пароль, первая ступенька его. Теперь все зависело от ответа. И когда врач, рассмеявшись, сказал: «Вы очень мнительны, молодой человек!», Бауман с упавшим сердцем подумал, что одно из двух: либо он перепутал пароль, либо же пароль этот давно устарел. Только это, впрочем, и успел подумать, потому что уже через секунду Василевский сказал именно то, что требовалось по паролю:

— Смею вас уверить, *под ложечкой не бывает коликов*.— Сказал так натурально, точно бы это вовсе и не пароль был.

— Тогда — возможно — у меня *аппендицит*?— Бауман тоже постарался: в его голосе звучало нешуточное беспокойство.


ИСКРА

— Все возможно, все возможно,— раздумчиво, как и положено врачу в затруднительном случае, сказал Василевский, вытирая руки полотенцем.— Но прежде — надобно проверить.— Обернулся.— Раздевайтесь.

С секунду они смотрели молча друг на друга, потом оба разом улыбнулись, и Василевский быстрыми шагами подошел к Бауману, пожал ему руку.

— Здравствуйте, здравствуйте. Ну, садитесь, рассказывайте!

Он придвинул кресло; подождав, когда сядет Бауман, сам тоже сел напротив, и Бауман, ощутив во всем — в приветливом прищуре глаз, в дружеских интонациях, в быстрых, каких-то радостных движениях — самую искреннюю сердечность, почувствовал себя легко и покойно.

Но тут Василевский несколько огорошил его.

— Я-то вас, собственно, сразу узнал! — непринужденно, даже весело сказал он.

— Мы, кажется, незнакомы,— сказал Бауман и подумал: нет, определенно, я вижу его впервые.

— Вы правы. Мы никогда не встречались. Но не далее как нынче утром ко мне пожаловал некий деятель охранного отделения и оставил вот этот снимок.

На фотографии, которая тотчас появилась у него в руках, был Бауман; фотография давняя, тюремная, времен Петропавловской крепости.

— Правда, здесь,— продолжал в веселом тоне Василевский, — вы, несмотря на бородку, несколько моложе, но — узнать можно. Между прочим, опознав вас, я немедленно должен сообщить об этом в охранку...— И, поймав растерянный взгляд Баумана, рассмеялся: — Каково?

— Признаться, я не очень понимаю,— сказал Бауман.

Василевский с юмором смотрел на него:

— Что именно?

— Почему они прибегли к вашей помощи.

— О, меня это только радует! Значит, у них нет ни малейших подозрений на мой счет.

— Но не странно ли,— все же недоумевал Бауман,— не странно ли само предположение, что некий государственный преступник, приехав в Москву, первым делом явится на прием к врачу?

Василевский был обескураживающе спокоен.

— Полагаю, что уже пол-Москвы имеет вашу фотографию. В этом смысле они, как я понимаю, весьма... добросовестны. Впрочем, пустое все это. Главное, вы здесь! Это замечательно, ну просто великолепно, что вы приехали. Меня зовут Николай Николаевич.— Василевский вопросительно смотрел на Баумана, явно рассчитывая, что тот не только в свою очередь представится, но и расскажет о своих намерениях.

Бауман, однако, не торопился. Представился только, да и то не сразу:

— Петров. Николай Васильевич Петров.

И умолк. Так что Василевскому ничего не оставалось, как самому продолжить разговор.

— Вы, вероятно, из Швейцарии? — ненавязчиво предположил он.— И каковы, простите, цели вашего приезда? Если это не секрет, конечно...

В этом вопросе, прикрытом отчасти смешком, можно было все-таки заподозрить некую ревнивую настороженность, если бы Василевский тотчас не пригасил ее ободряющим окончанием своей фразы:

— Знали б вы, как нам нужны люди! Особенно теперь. Я имею в виду — после ареста членов МК.

— Кстати, что-нибудь известно об обстоятельствах ареста? — спросил Бауман.

Вопрос его преследовал двоякую цель. Узнать, каким образом в одночасье был арестован весь состав комитета,— это само собой. Но не менее важным было сейчас для него и другое: как расскажет об этом Василевский, какую степень осведомленности обнаружит при этом?

— Обстоятельства ареста? — в раздумчивости повторил Василевский.— Нет. К сожалению, не знаю.— Он помолчал.— Но если начистоту... Нам вместе работать, нужна откровенность, не так ли? Так вот, если начистоту: провал этот закономерен.

Чего угодно ожидал Бауман — только не этого.

— Вот как? — по возможности нейтрально сказал он.

— Именно, именно так. Независимо от того, что, возможно, сами по себе они прекрасные товарищи. Кое-кого я хорошо знаю. Но их беда в том, что они совершенно не желали считаться с обстановкой, с настроениями в рабочей среде. Вместо того чтобы организовать рабочих в общества взаимопомощи и стачечные комитеты, они толкали массу к «политике». Прекраснодушие! Прекраснодушие и наивность...

Василевский остановился, что-то, кажется, мешало ему. Может быть, то, что Бауман просто слушал его, внимательно, сосредоточенно, но без признаков хоть какого-то отношения к сказанному. Василевскому же явно не хватало контакта. Прервав себя на высокой ноте, он снял пенсне, начал протирать стекла. Этого времени ему, видимо, было достаточно, чтобы понять, в какой тональности вести разговор дальше. Водрузив очки на переносье, Василевский доброжелательно улыбнулся.

— Я всякое видывал на своем веку,— сказал он.— Поверьте мне: русский рабочий еще не дорос до

столь высоких идеалов, его надо воспитывать и воспитывать, исподволь и постепенно, используя все дозволенные властями легальные способы,— на это, я уверен, уйдут годы и годы. А «Искра», вопреки здравому смыслу, стремится форсировать события. Ульянову и его друзьям нелишне напомнить, что истинный марксизм не в том, чтобы звать к немедленному ниспровержению самодержавия. Это бессмысленно. Да попросту и невыгодно! Ни одна власть не может мириться с крайними элементами — отсюда провалы, аресты. Вы улыбаетесь?

Бауман мог поклясться, что и тени улыбки не было на его лице. И не могло быть: слушая Василевского, думал он об очень невеселых вещах. Этот Василевский оказался самым заурядным «экономистом»; к тому же, сдается, все эти словеса нужны ему для одного лишь — чтобы прикрыть трусость. Бауман почувствовал, как вновь навалилась на него смертельная усталость. Возражать Василевскому, вразумлять его не хотелось. Да, наверное, и нерасчетливо было ввязываться сейчас в спор: других явок в Москве у него не осталось.

— Я сказал что-нибудь смешное? — все не унимался Василевский.

Они смотрели друг на друга. Бауман опять отметил, что у врача хорошее, умное лицо. Вероятно, и вообще человек он был хороший, только — о боги! — какого, скажите на милость, черта вообразил он себя революционером? Для полного душевного комфорта, не иначе: дескать, не филистер, не обыватель, думающий лишь о себе,— нет, радетель за народ, во как! Зацепи сейчас эту темку — наверняка услышишь разглагольствования насчет особой совестливости русских интеллигентов, у которых кусок хлеба поперек глотки встает, едва подумают о муках и страда-

ниях сирых и обиженных братьев своих... У Василевского, подумал он зло, совесть, поди, вполне уже утихомирена: как же, ведь он не просто сочувствует, он — революционер!

— Почему вы молчите? — Василевский начинал нервничать.

— Я думаю.

— Не секрет — о чем?

— Я думаю,— медленно начал Бауман,— я думаю, что у вас очень... очень удобный марксизм.

— Это в каком смысле, простите?

— Безопасный. Словом,— разрешите уж и мне начистоту,— я не разделяю ваших идей.

— Я так и подумал,— после паузы, откашлявшись, сказал с горечью Василевский. И неожиданно спросил: — Сколько вам лет?

— Двадцать восемь.

— Мне пятьдесят один. Я вот к чему: не хотите ли вы сказать — смена поколений? — И, не дожидаясь ответа, вдруг взвился, заговорил зло и слишком громко.— Ничего у вас не выйдет, ни-че-го! Мы, революционеры, остаемся в строю до конца! — Это звучало, как клятва.

— А я не понимаю, что это такое — революционер,— тоже ощутив злость, сказал Бауман.— «Революционер» вообще! Эдак, если быть логичным, легко договориться до того, что крупнейшим деятелем нашего движения является не кто иной, как полковник Зубатов... поскольку именно он основал те общества взаимопомощи рабочих, за которые вы так ратуете.

Обиделся Василевский, сказал сухо:

— Благодарю за откровенность.

Потом, протирая пенсне и близоруко щурясь, добавил:

— Я только хотел бы вас предостеречь: подобная, чисто якобинская нетерпимость не приведет вас к добру. Я имею в виду вас, молодых. Тех, кто идет за вами, и тех, за кем вы идете. Вы обречены.— Он надел очки.— Очень жаль, очень. Я, признаться, большие надежды возлагал на вас. Ведь нас так мало! Но, похоже, нам придется не столько сотрудничать, сколько бороться друг с другом.

Продолжать разговор не имело смысла. Но прежде чем подняться и уйти, Бауман все же предпринял попытку заполучить связи.

— Хотелось бы надеяться,— сказал он,— это не помешает вам, учитывая, что в Москве я человек новый, связать меня с рабочими группами?

— О, нет! — улыбаясь, сказал Василевский.— Тут я вам не помощник, нет. Вам придется создавать свои рабочие кружки. Свои.

— Тогда не затруднит ли вас снабдить меня хоть сколько-нибудь надежными явками? Попросту говоря, мне негде ночевать.

Василевский задумался, потом сказал:

— Ночуйте у меня. Это самое надежное.

Бауман подумал, что не такой уж он и трус, этот Василевский. Тем не менее сказал:

— Я вам очень признателен, но все же предпочел бы...

— Не опасаетесь ли вы провала? — Василевский улыбался, кажется, и не стараясь скрыть, что иронически относится к опасениям Баумана.

— А вы не допускаете такой возможности?

— Совершенно исключено. За день меня посещает столько пациентов, что трудно что-нибудь заподозрить.

Бауман оставил этот довод без внимания.

— Итак, явки,— повторил он.

Василевский пристально смотрел на него:

— Похоже, вы просто не доверяете мне? Это обидно. Несмотря на различие во взглядах, мы все же соратники по общей борьбе.

— Я не доверяю охранке,— сказал Бауман.— И не столь безоблачно отношусь к этой вот фотографии. Боюсь, что, помимо прочего, это еще и проверка вашей лояльности.

— Все это отговорки. Просто-напросто вы избегаете контактов со мной.

Бауман поднялся:

— Что ж. Мне тогда...

Досказать он не успел: кто-то нетерпеливо крутил вертушку дверного звонка. Василевский крикнул:

— Машенька, открой, пожалуйста. Нет, постой!— И сам выбежал из кабинета, тотчас вернулся с пальто и шапкой Баумана.— На всякий случай,— объяснил он.

Слышно было, как, открыв дверь, жена Василевского переговаривалась с кем-то в передней. Немного погодя она вошла в кабинет, сказала встревоженно:

— Коля, это тот, в шапке... тот, что приходил...

Бауман понял, кого она имела в виду. Василевский сказал:

— Машенька, надо задержать его, придумай что-нибудь.— И едва она вышла, кивнул Бауману: — Спрячьтесь в спальне. Пойдемте!

Бауман спросил:

— У вас есть черный ход?

— Хорошо, пойдемте. Так даже лучше.

Василевский провел Баумана через две смежные комнаты на кухню и, с трудом сняв неверными руками заржавелый крюк, открыл дверь на черную лестницу. В последний момент, когда Бауман уже

шагнул вниз, Василевский, задержав его, неожиданно дал ему две явки: одну на Волхонке, 17, другую на Спасской, 31,— оговорившись, что надо быть осторожным, потому что он не знает, надежны ли эти явки, давно не проверял. Бауман машинально отметил, что, поскольку и здесь и там пароль одинаковый: «У вас сдается комната?» — «Только одинокому»,— явки были второстепенные. Должно быть, угадав, о чем думает Бауман, Василевский начал почему-то оправдываться:

— Других нет. Поверьте.

Бауман крепко пожал ему руку.

— Спасибо! Я вам верю. Идите! — И побежал вниз.

Василевский — через комнаты — прошел в приемную. Там был Тимохин, в пальто и шапке.

— Чем могу служить? — сказал Василевский.— Машенька, что же ты здесь держишь человека? Пожалуйте в кабинет! — Он вполне овладел собой, сумел даже пошутить: — Уж не болезнь ли привела вас ко мне? (Шутка, однако ж, понимал, вышла корявая.)

В кабинете он спросил — с удивлением, решив, что именно удивление (памятуя вторичный за сегодняшнее утро визит филера) будет наиболее уместно сейчас:

— Вы опять? Чему обязан?

— Виноват-с: к вам тут приходили? — Тимохин, не таясь, оглядывал кабинет.

— Разумеется.

— Кто?

— Пациенты, кто же. Вам нужны фамилии? У меня записано. Вот, извольте. Последней была Ферапонтова, Ксения Андреевна.

— А потом? Сейчас?

— Сейчас? Одну минутку. Машенька! — Вошла жена.— Машенька, скажи, к нам кто-нибудь заходил? Сейчас!

— Нет, Коля, нет... Странно, почему ты спрашиваешь.

— Спасибо, Машенька. Я на всякий случай.— Когда жена вышла, Василевский сказал: — Вот так, уважаемый. А чем, собственно, вызван ваш вопрос?

— Кто-то прошел в дом,— хмурясь сказал Тимохин.— Молодой, без бороды.

— Вполне возможно, что это и так, но почему вы решили, что этот человек направлялся ко мне? Может быть, этажом выше? Или ниже? Это вам не приходило в голову?

— Виноват-с,— сказал Тимохин, но уходить не собирался — стоял, переминался с ноги на ногу.— Значит, никого?

— Я ведь сказал. Но чтобы вы были совершенно спокойны — не угодно ли посмотреть в других комнатах? В спальне, в столовой?

Вероятно, он чересчур охотно предоставлял филеру эту, лишь при обыске допустимую, возможность,— чем в глазах Тимохина и выдал себя,— и, уже не сомневаясь, что птичка упорхнула, Тимохин отказался осматривать комнаты.

— Черный ход, как — имеется? — усмехнувшись, спросил он.

— Все-таки подозреваете? — тоже постарался усмехнуться Василевский.— Хотите взглянуть?

Тимохин мотнул головой.

— Да нет, чего уж тут. Теперь-то... Пойду! Ежли что — извините.

— Бога ради.

Когда Тимохин ушел, жена прошептала — одними губами, испуганно:

— Это опасно?

Василевский хотел успокоить ее, заставил себя улыбнуться, собирался сказать легко и беззаботно: «Ну что ты, Машенька, пустяки»,— но не смог соврать ей:

— Это очень опасно, Машенька, очень...

А улыбку не успел согнать с лица, забыл о ней, и жена заплакала.

4

Делать этого, наверное, не следовало. Такая лихость ему самому была не очень по душе, но другого выхода у него не было.

Первая из явок, указанных Василевским,— на Волхонке,— едва не оказалась ловушкой. Бауман уже поднимался по тускло освещенной, с шаткими перилами лестнице, не без труда разбирая номера квартир (ему нужен был восьмой номер), и даже приблизился к нужной ему двери, как вдруг услышал за нею громкие голоса. На всякий случай он поднялся выше. Он успел подняться на один только марш — дверь квартиры № 8 распахнулась, и оттуда в сопровождении двух жандармов вышла худощавая сутулая женщина. Бауман приостановился на мгновение, оглянулся. Снизу последовал окрик:

— Не останавливаться!

Только случай, таким образом, спас его.

Оставался последний шанс — явка на Спасской. Последний. Поэтому, шагнув в подворотню дома № 31 и заметив там затаившуюся в тени фигурку, Бауман и сделал то, чего не должен был делать. Даже и секунды не было у него на раздумье, сработал инстинкт,— Бауман шагнул к фигурке. Человек в

подворотне скособочился, привалился к стене, загорланил песню.

— Давно здесь? — отрывисто сказал Бауман.

Пьяный едва на ногах держался.

— Мм... Ч-чаво-с?

— Как фамилия? — рявкнул Бауман.

Стрункой вытянулся «пьяный»:

— Волков!

— Чего торчишь? Явка?

— Так точно-с! Явка!

— Кто-нибудь есть?

— Ага! Летучий!

— Так чего не берешь?! — вновь повысил голос Бауман.

— Один ведь я, один...

— Тогда вот что: мчи в отделение — я постою. Да чтоб живо!

— Как об вас доложить?

— Дубье! Агентов тебе не положено знать! Скажешь — «Соловей» прислал!

— Слушаюсь! — Волков метнулся на улицу из подворотни.

Во дворе был флигель. Одноэтажный, в два окна. Бауман постучал в дверь тамбура, услышал:

— Кто там? — Мужской голос.

— Здесь сдается комната?

Дверь открылась.

— Только одинокому.— Человек, отворивший дверь, вдруг воскликнул: — Грач?!

Это был Кудряшов, «Федотыч» — рабочий с Гужона. Обнялись.

— У тебя есть надежное пристанище? — спросил Бауман, рассказав о филере, которого спровадил за «подмогой».

— Найдется.

Проходными дворами вышли через Скорняжный переулок на Домниковку, а отсюда уже, смешавшись с толпой на Каланчевке, отправились в Калошино, на самую что ни есть окраину. За всю дорогу и двумя словами не обменялись: не до того было, подстраховывали друг друга, нет ли слежки. Обошлось. Когда попали наконец в хибару с низким потолком (здесь жил полуслепой старик, тесть Федотыча), чуть не до утра проговорили. Слушая Федотыча, Бауман мрачнел с каждой минутой. Новости были невеселые.

Прежде всего — аресты. Московская охранка затеяла генеральную чистку и, надо было признать, провела ее не без успеха. Были дни, когда в руки охранки попадало до 50 человек. Осведомленность жандармов была поразительной. Они знали не только почти все явки, но и то, кого и когда следовало ждать на этих явках.

Все началось с ареста МК. Пожалуй, это и было сигналом к началу операции.

После мартовского ареста Марии Ульяновой, Елизарова, Платона и Софьи Луначарских (а схвачены они были, как теперь стало известно, по доносу Серебряковой, она оказалась платной провокаторшей, числившейся по ведомству Зубатова, как «Мамочка» и «Дама-туз»), после их ареста Бауман всю весну и все лето провел в поисках остатков комитета. Только в августе ему удалось связаться с одним из активных деятелей организации — Львом Никифоровым. Договорились с ним о создании нового комитета, о кооптации в его состав недавно проявивших себя, но вполне надежных работников. Среди них были Вергилий Шанцер, Иван Скворцов-Степанов, Иосиф Давыдов, Куняев. Дела «Искры» вынудили Баумана срочно выехать из Москвы, так что первое заседание

нового комитета прошло уже без него. Это первое заседание было и последним.

— Как это случилось? — нетерпеливо спрашивал Бауман.— Неужели опять провокатор?

— Неизвестно,— сказал Федотыч.— Это установить еще не удалось. А из писем, которые чудом передали на волю Скворцов и Шанцер, вырисовывается такая примерно картина. Собрались в тот день на квартире Никифорова — из-за того, что адвокат, у которого предполагалось провести заседание, в последний момент струсил, отказал. Сразу принялись за редактирование двух прокламаций: «Зубатовская тактика» и «Что такое демонстрация и для чего она нужна». А часа через полтора раздался сильнейший стук в дверь и в квартиру ворвались жандармы. Пока Никифоров открывал дверь, Шанцер и Давыдов попрятали в карманы рукописи прокламаций — единственную серьезную улику. Личный осмотр задержанных начали с Никифорова и Скворцова. Шанцер тем временем подошел к открытому окну, уставленному цветами, и, улучив момент, выбросил скомканную бумагу во двор. Его примеру последовал и Давыдов, но сделал это неловко. Полицейский, вероятно, заметил что-то; спустившись во двор, он вернулся с прокламациями. Арестованных увезли в Пречистенский полицейский дом.

И дальше, продолжал Федотыч свой невеселый рассказ, что ни день — новые аресты. Месяц провел в заключении и сам Федотыч. Даже с Зубатовым сподобился беседовать... после чего тотчас был выпущен на свободу.

— Каким же это образом?

— Не я один. Считай, все рабочие тогда были освобождены. В тюрьме остались только интеллигенты.

— Это что-то новое,— сказал Бауман.

— Новое — бог бы с ним,— сказал Федотыч.— Страшно другое.

И принялся рассказывать о своей предшествовавшей освобождению беседе с Зубатовым. Сперва Зубатов признался, что он давно уже сторонник рабочего движения и как был до службы в охранке социал-демократом, так и остался им, и не только в душе, но и на деле, с тем, однако, различием, что не принимает, потому что считает пагубными, революционных, то есть грубых, крайних методов борьбы. Рабочие, говорил он еще, хотят жить лучше, зажиточнее, и они должны так жить,— вот на это и следует направить все усилия. А интеллигенты хотят использовать рабочих для своих, чисто интеллигентских целей... Пожимая на прощание руку, он просил Федотыча почаще заходить к нему, так, попросту, чайку попить, о теории поговорить. И напоследок протянул Федотычу деньги, 50 рублей. Федотыч удивился: с какой стати? Зубатов ответил: да как же, помилуйте, вы целый месяц не работали, потеряли заработок! Когда же Федотыч спросил, нужна ли расписка в получении этих денег, Зубатов сказал: что вы, что вы, какие могут быть расписки!

Все это и в самом деле было страшно. Ведь таким же точно образом получали деньги многие. Часть рабочих, естественно, скрывала от товарищей полученную подачку, а если и выдавала себя чем, так это кутежами — а откуда после тюрьмы было взяться деньгам, если не из охранки? И пусть не все из них стали провокаторами — взаимные подозрения в шпионстве, недоверие друг к другу тоже приносят непоправимый вред. Вот уж поистине, подумал Бауман, полицейский разврат страшнее полицейского насилия! И надо ли удивляться, что в этих условиях, как никогда раньше, процветают и благоденствуют «эко-

номисты»? Ведь на собраниях зубатовских «рабочих обществ» проповедуется точь-в-точь то самое, за что горой стоят последователи мадам Кусковой...

Бауман спросил о Василевском — знает ли его Федотыч?

— Впервые слышу.

— Откуда же у него твоя явка?

— У него? Моя явка?..— Федотыч даже привстал.

Синело за окном. Бауман не мог больше совладать с усталостью.

— Ладно, утро вечера мудренее. Давай-ка спать!

Однако не сумел заснуть. И что обиднее всего, не давала покоя мысль столь простенькая и элементарная, что на нее жаль было воровать время у сна. Он думал о том, что все, решительно все надо теперь начинать с нуля. Даже не так, хуже. Добро б только с нуля,— нет, придется (учитывая последствия зубатовского разврата) иметь дело с некоей минусовой величиной... Мысль эта, едва доводил он ее до конца, вновь и вновь, как и полагается наваждению, возвращалась. Стараясь отвлечься, он попытался представить себе, с чего — конкретно — начнет свою работу. И — не мог. Слишком много неизвестных таила в себе задачка. Ясной была лишь конечная, на этом этапе, цель: широко внедрить «Искру», наладить, для печатания листовок хотя бы, подпольную типографию, отвоевать у «экономистов» и охранки рабочие кружки. А вот как, с кем, опираясь на кого, осуществлять все это, Бауман даже и приблизительно не мог себе представить. Как не знал, впрочем, он и того, сколько времени — неделя, месяц, год? — отпущено ему быть на свободе.

5

В ту же ночь, как только стало ясно, что филер Волков, вызвав на Спасскую наряд, попался на чью-то злонамеренную удочку, Евстратий Павлович Медников, ведавший филерской службой, созвал своих «орлов» в самую большую, с низким потолком залу охранного отделения. Орлы стояли в ряд, расставив ноги и заложив руки за спину — так было заведено здесь. Стояли молча и, пока Медников прохаживался вдоль шеренги, поворачивали навстречу ему головы, по всей, так сказать, форме «ели начальство глазами».

Медников был мрачен, филеры пошевельнуться боялись: неровен час, попадешь под горячую руку, а рука у «Евстратки», даром что за пятьдесят перевалило, тяжелая, опустит — долго помнить будешь, бывало уже. Это тем даже не по себе, кто ничем не провинился нынче, а Волкову-то каково?.. Тимохину пусть и вчуже, а и то жалко его стало, зелененького.

Медников же не просто так сейчас прохаживался вдоль шеренги, не только для того, чтоб страху побольше нагнать,— он думал. Немного и его самого вина была в том, что случилось. Хоть Волков и прошел все надлежащие испытания, все равно, выходит, рано он доверил ему в одиночку работать, надо бы еще месячишко погонять его в паре с кем-нибудь из бывалых — мало ли их у Медникова, хоть кого возьми.

Оттого, что сознавал свою оплошность, Медников особенно люто настроен был.

Он остановился около Волкова, рыкнул:

— Обвели! Как младенца, вокруг пальца обвели!

Молчал Волков, голову в плечи вобрал, глазами хлопает, дурошлеп. Вдарить бы разок — да что тол-

ку: и так дрожит, как сопля на ветру. Ладно, не будет сейчас Медников рук марать.

— Ты хоть,— спросил,— запомнил его, «Соловья» этого?

— Так точно! — с готовностью выкрикнул Волков.— В пальто! Шапке!

Медников поулыбался знаменитой своей — землистые губы враскос — улыбкой:

— Невидаль — зимой да в пальто! А приметы?

— Темно было.

— А рост?!

— Как я! — выпалил Волков, но тут же, боясь быть подловленным на враке, поправился: — Нет, чуток повыше... Молодой.

Медников сунул ему под нос фотоснимок.

— Уж не этот, не Грач ли?

— Ну, нет,— убежденно сказал Волков.— Тот без бороды! И усов нету. Вот только... глаза...— И осекся.

— Что — глаза? — Медников сделал шаг к нему, приблизился вплотную.

— С-смахивают!

— Он?! — нажал на басы Медников.

— Так без бородки ведь,— беспомощно трепыхался Волков.

Хихикнули злорадно в шеренге. Медников недовольно оглядел строй, потом вновь повернулся к Волкову:

— А бородку — сбрить трудно?

Мнется Волков, хлопает растерянно глазами.

— И не ври! Виноват мерзавец, так и говори, что виноват, говори прямо, не ври! Молод ты, чтоб мне врать! Понял, мо-лод ты! — чеканил Медников.— Дуррак! Пятерка штрафа! А на следующий раз — вон! Прямо вон: не ври! В нашем деле невозможно

врать. Проморгал — винись, кайся, а не ври! — И, набрав полные легкие воздуха, выдохнул выжидающе: — Ну?!

— Он, в-ваше благородие...

Тут уж Медников дал себе полную волю:

— Болван! Тупица! Дерьмо у тебя вместо мозгов!

— Так я, того... я не знал...

Медников в упор разглядывал его. Долго, целую вечность.

А потом, против всякого ожидания, тихо, с леденящей вкрадчивостью спросил вдруг:

— Ты кто? Ты филер?

Волков — ни жив, ни мертв:

— Ф-филер.

— Ха! Он филер! Нет, полюбуйтесь: он — филер!..

— Ф-ф-филер...— в беспамятстве повторял Волков.

— Помнишь, значит! Может, и инструкцию не забыл? Параграф второй! Живо!

Выпучив глаза от усердия, Волков забубнил — монотонно, без запятых, как «Отче наш»:

— Филер должен быть политически и нравственно благонадежным, твердым в своих убеждениях, честным, трезвым, смелым, ловким, развитым, сообразительным...

— Сообразительный! — назидательно подчеркнул Медников и поощрительно кивнул: дальше, мол!

— ...Сообразительный, выносливый, терпеливый, настойчивый, осторожный, дисциплинированный, выдержанный, уживчивый, серьезно и сознательно относящийся к делу...

— Серьезно и сознательно! — вновь перебил Медников.

 — ...С хорошим зрением, слухом и памятью, креп-

кого здоровья, в особенности крепкими ногами, а так же...

Медников махнул рукой:

— Хватит! Знаешь.— И уже ко всем: — Крепкими ногами! Марш! С бородой или без бороды — чтоб из-под земли достали! Все поняли?

Молчание — по пословице, должно быть,— означало согласие.

Разошлись быстро. Тимохин был среди первых, кто ушел. В душе он ликовал: ведь надоумься он рассказать о своих подозрениях насчет Василевского (попервоначалу было у него такое желание) — Медников и его не пощадил бы, как и Волкова, пустил бы в распыл. Вот и радовался Тимохин своей осмотрительности. Тем паче, что одна промашка (да и вопрос еще, была ли то промашка?) ни о чем не говорит. А что до этого Грача, то если кому и суждено проследить его, так это только ему, Тимохину: такого филера, ищи-обыщись, не то что в Москве, а и в самом Питере, поди, не сыщешь...

6

Путь был неблизкий: из Богородского на Калужскую заставу. К тому же приходилось идти кружным путем, петлять по окольным улочкам: здесь, по причине малолюдья, легче было обнаружить «хвост». Бауман прикидывал, сколько это верст нужно ему будет сегодня протопать — десять, пятнадцать? Не так и много, сказал он себе, бывали крюки побольше. Кого это там ноги кормят? Волка что ли? Враки: подпольщика! От раннего утра и до ночи Бауман был на ногах, в беготне. Но если и испытывал усталость, то не от этого и не от того, что не было и двух

дней кряду, чтобы пришлось ночевать в одном месте. Слежка — вот что больше всего изнуряло его. Иногда он замечал ее, чаще явных признаков не было, но все равно — звериное чутье, да и только! — в какой-то момент (и, удивительно, именно в тот самый, когда нужно) словно чья-то рука больно сдавливала сердце. Это служило как бы сигналом: что-то рядом неладно. Так оно и оказывалось: слежка! Уходить потом от преследования было уже легче, проще; главное — обнаружить его. Необходимость же вечно, бодрствуешь или спишь, быть настороже — это-то и выматывало вконец.

Нужно бы отдохнуть от всего этого, сказал он себе. Денек, а то и два — полного (вот бы!), наиабсолютного покоя. Не обязательно спать даже — достаточно просто знать, что ничто не угрожает тебе. И тогда можно вот так же, как сейчас, шагать через всю Москву, но уже ни на что не обращать внимания, просто шагать и шагать, пусть десять верст, пусть пятнадцать, и слушать, как хрустко ломается под валенками снежок, и вдыхать этот дивный колющий январский воздух.

Но — стоп, сказал он себе. Стоп. Не ко времени размечтался, кажется. Кто-то пристроился сзади: хруст, хруст. Оглядываться нельзя. Он остановился, попытался прикурить папиросу. Само собой, ни шиша не вышло: ветерок. Вот теперь, подумал он, можно и повернуться, заслонить собою от ветра спичку... Ничего серьезного: высокий старик в добротной шубе прогуливает овчарку. Поравнявшись с Бауманом, он взял чуть в сторону. Должно быть, вид Баумана,— а был он в поношенной куртке из солдатского шинельного сукна и мохнатом надвинутом на глаза заячьем треухе,— не внушал старику доверия. Бауман с улыбкой подумал: кем только не приходилось

ему бывать в этот месяц! Рабочий, мастеровой — это чаще всего. Приказчик, студент, чиновник почтового ведомства, офицер — нет, не хватит пальцев на руке... Соответственно — прическа, манеры, выражение лица. Маскарад этот, хоть к нему и можно б уже привыкнуть, всякий раз тем не менее забавлял его. Должно быть, подумал он, в каждом человеке до седых волос сидит озорной, проказливый мальчишка, которому доставляет удовольствие дурачить окружающих.

Он шел уже по Мясницкой. Сретенка с ее Луковым переулком — рядом. Завернуть сейчас туда — то-то удивился бы Василевский, великий делатель революции в белых перчатках и смокинге, предстань перед ним в этом своем сегодняшнем, под мастерового, виде Бауман. Ничего не поделаешь, Николай Николаевич, приходится. Да-с. А результаты? — может спросить почтенный доктор. Стоит ли овчинка выделки? А? Тут вы в точку попали, уважаемый, в самую точку. Это-то как раз и меня беспокоит — что результаты несоразмерны усилиям. Нет, кое-что, конечно, сделано. Это, господин Василевский, вы и по себе, положим, должны знать — сколько рабочих кружков ушло из-под вашего влияния! Да что там кружки — целые районы уже не только читают «Искру», но и исповедуют ее взгляды: Лефортово, Сокольники, Замоскворечье, Пресня. Каждый номер, смею вам доложить, зачитывается буквально до дыр. Пришлось даже просить у редакции увеличить присылку газеты и других изданий уже не для Москвы только, а и для Нижнего, к примеру, Казани, Самары, Саратова, Астрахани, Вятки, Тамбова, Ярославля, Костромы: с этими городами, представьте, тоже установлена надежная и хорошо налаженная связь. Типография, пусть и маленькая, при Измайловской

больнице,— тоже, в общем, не кот начихал: листовки, отпечатанные в ней, нарасхват идут.

Кое-что сделано, да, но — мало, ничтожно мало по сравнению с тем, что следует сделать! Правда, и условия для работы далеко не идеальные. «Невыносимые условия»,— как со свойственной ей категоричностью заявила недавно «Димка» — Инна Гермогеновна Смидович.

Она по поручению редакции «Искры» привезла в Россию последние номера газеты, побывала уже в Киеве, Ялте, Севастополе, Харькове. Приехав в Москву и ознакомившись здесь с состоянием дела, она пришла вдруг в неописуемый восторг. В таких «невыносимых», дескать, условиях — и столько сделано! Попеняла дружески: отчего же он отмалчивается, почему не сообщает подробности «Искре»? Владимир Ильич велел сделать ему строжайшее внушение. И он прав. Даже если им, Бауманом, ничего не сделано, он обязан писать. Тем более — есть же о чем писать, даже похвастать есть чем!..

Прелестнейший человек Инка, умница, красавица, до чертиков храбра и бесстрашна, но — и восторженна без меры. Не умаляя того, что сделано, он просил ее также и не переоценивать сделанного. Предприняты лишь первые шаги, и до цели ой как далеко. Можно судить об этом хотя бы по тому, что до сих пор так ведь и не удалось создать надежный и деятельный комитет партии. В общем, сказал он ей напоследок, восторгов ее он не разделяет, нет.

Где она сейчас, Инка? — подумал он. Из Москвы она укатила в Питер. Что-то вестей нет, не схватили ли? Она, между прочим, привезла ему письмо от Надюш, крошечное письмецо: скучает, считает дни до встречи; в Женеве ее держат пока дела «Искры», но скоро, возможно в феврале, она разделается с ни-

ми, и тогда — в Россию, к нему. Приписочка, постскриптум: только пусть он поимеет в виду, что молодая и красивая (так и написала, чертовка!) жена его — женщина капризная и требовательная; ну, не настолько, понятно, чтобы требовать цветов посреди зимы, ладно, как-нибудь она перебьется без них до лета, а вот сам он чтоб непременно дождался ее, не угодил в каталажку; и как насчет жилья? будет у них крыша над головой? Чудачка, до крыши ли тут. По-доброму, ей не следовало бы приезжать. Можно только удивляться (действительно чудо из чудес), что и он-то до сих пор не схвачен. Это один, вдвоем же скрываться будет куда сложнее. Но Надюш не просто к нему приедет (если б так, он запретил бы ей появляться в Москве); транспорт с «Искрой», который она доставит, будет как нельзя более кстати. Так что приезжай, родная, сказал он себе, поскорей приезжай. Я тоже ведь считаю дни до встречи...

На подходах к Калужской он уже ни о чем постороннем не думал: надо было в оба смотреть.

Свернул в ближайший подъезд, переждал там минут пять. Выйдя оттуда и оглядев улицу из конца в конец, успокоился. «Хвоста» не было. Проходным двором вышел к дому, который был нужен. Второй этаж, квартира адвоката Златогорова. Кажется, знаменитый адвокат. Хозяин уже предупрежден, что человек, который позвонит в дверь три раза, нуждается в ночлеге. Бауман позвонил три раза. На пороге появился полноватый, восточного типа человек.

— Милости прошу,— сказал он и провел Баумана в свой кабинет.— Располагайтесь, чувствуйте себя спокойно. Ванная налево по коридору, пижама в шкафу. Ужин на столе, под салфеткой. Прошу извинить, я вас покину: к утру надо сочинить речь. Спокойной ночи! — И ушел, так ни о чем и не спросив.

Адвокат Златогоров (Бауман знал это точно) ни с какого бока не был причастен к революционному движению. А вот поди ж ты, подумал Бауман, тоже не прочь оказать этому самому движению кой-какие, даже с риском связанные, услуги. Адвокат в этом смысле был не одинок, Бауману приходилось уже ночевать у артиста варьете, зубного врача, профессора университета, все они вели себя корректно, вот так же ненавязчиво. Бауман никогда не доискивался, почему они идут на риск, все эти обеспеченные, вполне преуспевающие люди. Главным для него было другое, что, пройдя, по тем или иным мотивам, эту первую свою ступеньку, завтра они способны будут сделать для нас чуть больше, а потом еще и еще, и уже осознанно — притом сами! — потянутся к нам. Так будет, сказал он себе. Не может не быть. «Все, что есть в России живого и честного...»

В эту ночь он отлично выспался.

7

Зубатову даже самому странно было, что такой пустяк мог вконец испортить настроение. Некая «Димка» (из письма видно, что пишет женщина) сообщала в Мюнхен герру Феклерману (а «Фекла» — это редакция «Искры», как установлено) о своих впечатлениях от поездки по ряду городов России. Письмо это, попавшее к Зубатову в результате перлюстрации и почти полностью расшифрованное, в общем-то не содержало в себе ничего такого, что так или иначе не было бы известно в охранном отделении, особенно в той части, где речь идет о работе Грача в Москве. Оно лишь подтверждало то, что и без него, без письма этого, не давало последнее вре-

мя покоя Зубатову. Грач орудовал в Москве с совершенно неприличной бесцеремонностью. Следы его пребывания здесь видны буквально на каждом шагу. Так что ликвидировать его, обезвредить — было делом не только престижа (Ратаев при каждом удобном случае запрашивает: что Бауман, не схвачен еще?). Важнее было другое: этот Грач, Бауман этот, уже ощутимо переломил обстановку в Москве. Достойно, право же, удивления, что все это сделал, и за месяц с небольшим, один человек. Что и говорить: господин первостепенной важности! Ратаев тут не ошибся. И — стыд и позор! — в Москве, где мало-мальски деятельные нелегалы долго не задерживаются, этот молодчик целый месяц преспокойно разгуливает на свободе. И это при том, что с ног сбились не только филеры, но и вся сеть секретных агентов! Бывали, правда, случаи, когда его настигали — нет, все равно каким-то образом он исчезал в последнюю минуту.

И еще эта «Димка». Вот что она написала:

«О московских делах сейчас уже нет времени писать, но несколько слов все-таки не могу не написать. Изо всех мест, где я была, по-моему, лучше всего, разумнее всего и основательнее всего дело ведется и поставлено у Грача. Гораздо более правильное понимание общих организационных задач, чем у Красавца. И действительно, все поставлено более или менее солидно, так что можно рассчитывать на будущее. То, о чем мы говорили с Вами, уже находится на мази и, так сказать, близится к концу. Мой подарочек пришелся как раз ко времени. Одним словом, все идет к тому, что мы здесь будем господами положения...»

И будут, сказал себе Зубатов. Если так дальше пойдет — вообще на голову сядут!

Не давая схлынуть гневу, Зубатов вызвал Меньшикова — на его попечении была внутренняя агентура, осведомители то бишь.

Меньшиков явился.

— Вопреки вашим заверениям,— холодно выговаривал ему Зубатов,— Грач все еще не обезврежен. Между тем не вы ли сами постоянно докладываете мне, что настроения в рабочей среде весьма полевели? Ничего удивительного: по его милости, «Искру» штудируют ныне усердней, чем «Русские ведомости». А эта подпольная типография! Где она? Чего стоит все наше отделение, если мы столько времени не в состоянии справиться с одним человеком! Ведь не иголка же он в конце концов.

Меньшиков робко, но — возразил:

— Сергей Васильевич, но и Москва слишком велика...

— Мне не нравится ваше настроение, подполковник. Очень не нравится. Ваша паства даром ест хлеб, а вы их оправдываете. Неужто у вас нет сто́ящих осведомителей?

Меньшиков стоял навытяжку.

— Есть, разумеется. И они часто наводят на след, но...—Он не закончил, махнул досадливо рукой.

— С чем вас и поздравляю! — громыхнул Зубатов.— Можете идти!

У дверей, однако, остановил его:

— Я вижу, мне самому придется взяться. Устройте-ка мне встречу с Василевским. Давно собираюсь с ним побеседовать.

— Слушаюсь, ваше превосходительство!

Следующий был Евстратий Медников. Мужик попроще, с ним можно не церемониться.

— Черт знает что! — с ходу накинулся на него

 Зубатов.— У вас под носом орудует опаснейший пре-

ступник, а вы со всеми вашими дармоедами до сих пор не можете напасть на след!

— Виноват! — прищелкнул каблуками Медников.— По пятам идем, по пятам-с!

— Рад слышать. Где же он?

— Виноват: ускользает.

И этот туда же — с оправданиями!

— В воздухе испаряется?..

Опять раздался стук каблуков.

— Никак нет,— со смирением отрапортовал Медников.

— Стыдно слушать, ротмистр, стыдно! — Зубатов помолчал, постукивая пальцами по столу.— Вот что я имею сообщить вам по секрету: если в самое ближайшее время Грач не будет схвачен, я вас отстраню от должности. Вы свободны!

Медников четко, почти по-строевому, сделал поворот. Едва прикрыв за собой дверь, он стремглав помчался в филерскую. Со своими «орлами» он не считал нужным пускаться в пространные объяснения.

— Мразь! Дармоеды! — срывал он на них злость.— Одного паршивого политика взять не можете! Поганой метлой гнать вас всех! Не спать, не есть — чтоб тут был.— Оглядел всех поочередно.— Марш!..

8

Такого, столь насыщенного событиями дня у Баумана еще не было, пожалуй,— при всем том, что хлопот, сопряженных с опасностью, и обычно хватало. Позднее (уже в поезде, ночью), перебирая в уме каждый свой шаг, он обнаружил несколько промахов, которые могли оказаться роковыми,— и своих собственных, и товарищей. Но он не торопился с обвинениями,

никого не стал виноватить, даже себя: слишком многого не знал он тогда, утром.

Скорый в Киев отправлялся вечером, в девять с минутами. Билет был в вагон первого класса, так безопасней, и Бауман, приготовившись к поездке, позаботился и о соответствующем одеянии. Он решил, что для этого случая лучше всего подойдут визитка с закругляющимися, по моде, фалдами сюртука, пальто-реглан и финская шапка с меховым околышем; завершали весь этот маскарад нафиксатуаренные, остро закрученные усики, выдававшие человека, имеющего время и вкус к заботам о своей внешности.

Визитка, в которую он облачился с утра, не очень-то, правда, гармонировала с простенькими выцветшими обоями и вообще с комнаткой, где он находился сейчас,— чистенькой, но обставленной до крайности убого. За занавеской, делившей комнату пополам, стучала ножная швейная машина, старая, гремучая. Это Алена, хозяйка комнаты, заглушает шум печатного станка, работающего в подполе.

Были на Баумане (чтоб щегольской костюм не запачкать) фартук, нарукавники,— набирал листовку.

Снизу, из подпола, постучали. Бауман с Аленой сдвинули в сторону комод: под ним была крышка. Федотыч вылез наверх.

— У нас все готово,— сказал он.— У тебя как?

— Строк пять осталось,— сказал Бауман.

Вскоре Федотыч спустился с набором вниз, там помогал ему катать оттиски молодой рабочий Василий, муж Алены. Оставшись один, Бауман стал думать о том деле, которое вынуждало его бросить здесь все и срочно ехать в Киев.

Дело это было нешуточное: съезд искровских представителей. От того, какие решения он примет,

зависит, будет ли единая, на всю страну, организация, или же она самоубийственно разобьется на ряд мелких, каждая сама по себе, местных группок. А иные «искряки», Крохмаль из Киева в том числе, жаждут не только «самостоятельности», а и издания своей собственной, «независимой» от «Искры» газеты.

Одно время — правда, это было на первых лишь порах — Бауман и сам чрезмерно увлекся местной работой в Москве. Теперь-то ясно — это была ошибка, и Крупская очень своевременно напомнила ему, что в распоряжении «Искры» пока еще слишком мало людей, чтобы она могла ставить себе задачу создавать организации; такое время наступит, но пока что задача «Искры» более скромная — снабжать как можно правильнее и как можно в большем количестве организации, уже существующие.

Не все, оказывается, до конца сознавали это. С месяц назад Виктор Крохмаль заявился вдруг в Москву. Сказал, что специально для встречи с Бауманом приехал. Посоветоваться якобы. На самом же деле не совет нужен был ему, а его, Баумана, поддержка. Крохмаль дал прочесть ему письмо из Мюнхена — отповедь по поводу проекта киевлян создать нечто вроде южной организации, в деятельность которой редакция «Искры» не должна вмешиваться; почерк Крупской, судя же по содержанию и изложению, автором был Ульянов. «Смешно было бы желать отсюда,— говорилось в том письме,— руководить всеми делами организации... Но от общего руководства организацией «Искры» Фекла, конечно, не может отказаться и никогда не откажется. Вы знаете, что цель Феклы не только издавать газету, но при помощи этой газеты создать общерусскую организацию, которая имела бы в виду не интересы того или иного района, а интересы всей русской партии; эта организация

должна связывать и объединять работающие на месте организации, служить связующим звеном. Она должна таким путем создать возможность планомерного и единодушного образа действий. Отсюда ясно, что мы относимся крайне отрицательно ко всяким попыткам создавать местные органы или особые порайонные организации...»

— Зря Старик упрямится,— сказал Крохмаль,— разве мы сами не хотим как лучше?

— Куда уж лучше,— сказал Бауман.— Залезть, как кроты, в яму и ничего, кроме собственного пупа, не видеть!..

Крохмаль — на дыбы. Общепартийный орган, тут двух мнений нет, дело хорошее, но пока солнце взойдет, роса очи выест. Своя, местная, газета надежнее, вернее. И потом, почему кто-то, заморский дядя, должен удовлетворять наши потребности? Мы что, сами не в состоянии?

Бауману так и не удалось в тот раз переубедить его. Но дело, как он понял, было вовсе не в личном, между ними двумя только, расхождении. Взгляды Крохмаля разделяли многие, и нужно было съехаться всем вместе, потолковать и приложить все усилия к тому, чтобы договориться.

Конференция назначена на 7 февраля. Телеграмму о своем приезде Бауман уже отправил. Теперь нужно было как-то прожить день — до вечера, до поезда. По уговору с Федотычем весь день он должен был пробыть здесь, в этой комнатке с выцветшими обоями, и прямо отсюда отправиться на вокзал. План был разумный, но Бауману не давала покоя мысль, что сегодня в погребке у Ираклия Гегешидзе будет ждать его в назначенный час Иван Баулин, приедет за листовками,— часть сегодняшних предназначалась для него.

Тем временем Федотыч с Василием уже отпечатали листовку. Триста экземпляров, больше бумаги не было. Бауман глядел, как они, выбравшись из подпола, укладывают пачки листовок в глубокие карманы специальных жилетов.

— А где мой жилет? — спросил вдруг Бауман.

Федотыч поднял на него глаза:

— Это еще зачем?

— Так и так мне с Баулиным встречаться, заодно уж и отдам,— как можно беззаботнее сказал Бауман, выдержав взгляд.

— Кроме тебя — больше некому?

Тут уж Бауман вынужден был отвести глаза. По строгому счету, Федотыч был прав, кругом прав. Вовсе не обязательно было Бауману идти на эту встречу, тем паче сегодня. К чему лишний риск? Все так, не возразишь. Ведь не станешь же, в самом деле, объяснять, что сегодня — перед трудным делом, где будешь один, быть может, против всех,— именно сегодня тебе неслыханно важно повидаться с Баулиным. Хотя познакомились они не так давно, минувшим летом, да и встречались от силы раз десять, и все накоротке, по делам «Искры», но как-то сразу сошлись, стали друзьями. Нет, сказал он себе, что бы там ни было, я должен повидать Баулина. К тому же (хитрил он сам с собой) и деньги надо передать ему, и — на случай моего провала — сообщить самую надежную явку...

— Так что,— хмуро переспросил Федотыч,— некому больше?

— Ну почему же,— сказал Бауман.— Ты бы мог сходить. Или Василий.

— Вот я и пойду.

— Нечего там делать вдвоем.

— О том и речь.

Чтобы настоять на своем, Бауману пришлось (впервые за все это время) прибегнуть к праву старшо́го. Федотыч подчинился.

И все-таки в конечном счете Федотыч оказался прав. Так что это свое решение — потом, сидя в поезде,— Бауман готов был задним числом счесть первой ошибкой в тот день.

Нет, спустя минуту сказал он себе. Нет. Если восстанавливать все в последовательности, то — после неожиданного прихода Василевского — выбора уже не было.

Да, Николай Николаевич Василевский, собственной персоной, явился вдруг — явился в тот самый момент, когда Бауман, поддев под реглан жилет с листовками, собрался уходить. На весьма замысловатый, считанным людям известный стук в дверь вышел Федотыч. Он не знал Василевского в лицо, но тому был известен пароль всех «трех степеней доверия» — Федотыч ввел его в комнату.

Должно быть, Бауман не сумел скрыть крайнее свое удивление.

— Не ожидали? — сказал Василевский.— До вас труднее добраться, чем до самого господа-бога.— Усмехнулся.— Эта квартира — четвертая, где я вас разыскиваю. Если учесть, что вы не изволили сообщить мне ни фамилии своей, ни хотя бы клички, то нетрудно понять...

— Надо полагать, у вас неотложное дело? — сухо сказал Бауман, прикидывая в уме, каким же это образом Василевскому стали известны явка и пароль.

— Мне нужно поговорить с вами,— сказал Василевский.— Наедине.

— Хорошо,— сказал Бауман и провел его в закуток, отгороженный ситцевой занавеской.— Слушаю вас.



Сесть было не на что, оба стояли. Василевский откашлялся.

— Прежде всего: вами усиленно интересуются «жрецы» из охранного.

— Не сомневаюсь. Но вам-то откуда это известно?

— Меня вызывали туда.

— Вас? Помилуйте, вас-то за что? Сколь я знаю, вы ведь не покушаетесь на престол.

— Меня вызывали из-за вас,— ровным голосом сказал Василевский.— Я не уверен, знают ли они, что вы были у меня, но, как я понял, им многое о вас известно. К стыду своему, я только там, у Зубатова...

— Вот как. У самого Зубатова...

— Да, только у Зубатова я осознал, что это вы, и только вы, товарищ Грач, изолировали меня от рабочих, по существу, вытолкнули из движения.

— Точнее — движение вытолкнуло вас.

Василевский помолчал.

— Пусть так,— сказал он.— У меня нет ни желания, ни времени пикироваться сейчас с вами.— Он подошел к окну, посмотрел в щелку между двумя сдвинутыми занавесками.— Обратите внимание на этого господина. За углом еще двое.

— Вы привели за собой «хвост»?

— Вернее будет сказать — «хвост» привел меня.

— Не понял.

— Им надоело охотиться за вами вслепую. Они хотят наверняка знать, где вы.

— Вы согласились оказать им эту услугу?

— Да. Другой возможности предупредить вас у меня не было. Я не знал ни одной вашей явки. В охранке — знали.

— И каким же — по их плану — образом должны развиваться события?

— Выйдя отсюда, я должен дать знать, здесь ли

вы. Если здесь — дом будет оцеплен, а затем последует ваш арест спустя некоторое время.

— Почему не сразу?

— Чтобы вы не заподозрили меня,— сказал Василевский и, криво улыбаясь, добавил с ощутимой горечью: — Берегут! Видимо, моя персона представляет для них особую ценность.

Бауман не поддержал эту тему.

— О чем вы должны говорить со мной — это тоже было предусмотрено?

— Да. Попытка наладить отношения, объединить усилия.

Помолчали.

— Что же будем делать? — сказал Бауман.— Я думаю,— Бауман кивнул в сторону окна,— они в любом случае не снимут наблюдение за домом. Поскольку знают, что здесь конспиративная квартира.

— Полагаю, что снимут,— возразил Василевский.— По крайней мере, так было на других ваших явках. Да это и логично: коль скоро существование этих квартир не секрет для них, ликвидировать их можно в любой момент, не обязательно сейчас.

— На какую следующую явку вас повезут?

— Не знаю. Об этом мне сообщают в последний момент.

— Значит?..

— Оставайтесь пока здесь,— сказал Василевский.— У них, кажется, нет оснований не верить мне. Уйдете потом. Прощайте.

Бауман задержал его.

— Николай Николаевич, я знаю, вы многим рискуете. Я хочу сказать вам...

Василевский передернул плечами.

— Вряд ли сейчас подходящее время рассыпа́ться в любезностях.

— Да, вы правы.

Обменялись рукопожатием.

Василевский не ошибся в своем предположении: наблюдение за домом сняли. Убедившись, что на улице «чисто», Бауман вскоре ушел.

Да, сказал он себе, обдумывая в поезде события дня, да, оставаться там больше нельзя было. Никак нельзя. Уходить, только уходить нужно было. Но, черт, думал он, черт меня бери, не обязательно же было идти в погребок Ираклия, на Никитскую!..

Внизу винный погребок Ираклия Гегешидзе выглядит куда пристойней, чем можно подумать, глядя на аляповатую вывеску, изображающую момент запрокидывания в рот бокала с кровавой жидкостью. Внизу, в небольшом зале, все по-другому. Несмотря на обилие посетителей, здесь довольно прибрано, даже уютно. А в углу стоит музыкальный ящик, непрестанно, хотя и со скрежетом, изрыгающий развеселые мелодии,— явный признак процветания заведения. Сам же Ираклий, немолодой усатый грузин весьма свирепого вида, возвышаясь над стойкой и окидывая хозяйским глазом свои владения, успевает одновременно перекидываться словами со старым своим знакомцем — филером Тимохиным.

— Ты вот меня сколько лет знаешь? — издалека приступал к своему Тимохин.

— Ай, нэ мешай,— по-свойски отвечал ему Ираклий.— Нэ мешай! Мне барыш делать надо. Ну пять!

— Нет, клади все десять! — говорил Тимохин.— А подводил я тебя когда? Нет, скажи — подводил? То-то. А мог!

— Чего мог, ничего не мог! Сказал — нэ мешай! — (Вообще-то Ираклий хорошо говорил по-русски, а если иногда подпускал малость акцента, то это так, для форса больше).

— Мог! — стоял на своем Тимохин.— Я, брат, все-е про тебя знаю. Так что тебе стоит по дружбе — продай!

— Чего продай? Ничего нэ продай!

— Дело свое продай. Погребок! А?

— Нэ купишь,— снисходительно уронил Ираклий.

— Куплю! Вот те крест — куплю!

— Дэньга не хватит.

Тимохин обиделся:

— А ты считал мои деньги? Хватит!

Ираклий поизучал его с полминуты.

— Ладно — продаю. От сэрдца отрываю!

— Сколько?

— Мильен.

— Несерьезный ты человек, Ираклий.

— Вай! — гортанно рассмеялся Ираклий.— Нэ хочешь — нэ надо!

— Как это не хочу? Хочу! — опять обиделся Тимохин. И, понизив голос до шепота, доверительно сообщил: — Не век же мне по улицам таскаться да в подворотнях на ветру сквозиться. Не мальчик. Семья опять же.

— Чего ж на такую службу пошел?

— Случай такой вышел.

— Как же это?

— По дурости. Посмотрел — платят хоть и не шибко, но ничего, жить можно. Да и работка вроде чистая...

— Вот и работай,— посоветовал Ираклий.

— Не хочу. Выгоды, понимаешь, мало. А тут еще...

В этот момент открылась дверь с улицы, и в погребок вошел Бауман. Тимохин взглянул на него — дара речи лишился. Лицо Тимохина Бауману тоже

показалось знакомым. Ну да, сказал он себе, это тот, из кофейни на Сретенке. Шпик, подумал он. Определенно, шпик. Повернуться, уйти? Нельзя, нет. Подозрительно будет. Он направился к стойке, устроился рядом с филером. Подумал так: если догадка его насчет филера верна, Ираклий не откликнется на пароль; пароль же этот таков, что, будь филер хоть семи пядей во лбу, нипочем не догадается — речь будет идти о продаже партии Токая.

— Налейте чего-нибудь... погорячей,— сказал он, шумно, словно запыхался, отдуваясь.

Ираклий молча придвинул рюмку, Бауман осушил ее разом.

— Еще? — предложил Ираклий.

— Нет, пока достаточно. Кстати, не вы ли господин Гегешидзе?

— Я! — осклабился Ираклий.— Разве нэ видно, ха!

— Вы-то мне и нужны,— сказал Бауман. И, покосившись в сторону Тимохина, заговорщически наклонился к Ираклию, проговорил негромко, но так, однако, чтобы навостривший уши шпик заведомо мог все слышать: — Могу предложить тридцать бочек венгерского Токая. Не нужно?

Ираклий раздумчиво потрогал пышные свои усы.

— Токай? Ммм... И — дорого?

Последнее слово было отзывом на пароль: это означало, что опасности нет. Бауман глянул на Ираклия: как же так — нет? Да ведь это филер, неужели не видишь?.. Но делать нечего, пришлось продолжить сговор о сделке. Не обрывать же его на середине.

— Сходная цена,— по паролю ответил Бауман.— Думаю, сторгуемся.

Была еще надежда, что Ираклий хоть здесь остановится.

Нет, Ираклий упорно гнул свое.

— Канэшно, сторгуемся! — изобразив бурную радость, воскликнул он.— Какой разговор!

Ах, Ираклий, Ираклий, ведаешь ли ты, что творишь?

— Подожди, Сан Саныч, я сейчас,— сказал шпику Ираклий. Потом, словно извиняясь, приложил руку к сердцу, объяснил: — Дела! — И Бауману: — Прошу, вот сюда.

Вышли через боковую дверь в коридорчик. Бауман остановился.

— Ираклий, ты с ума сошел!

Ираклий невинно глядел на него своими черными плутовскими глазами.

— А что?

— Не видишь разве — шпик!

— А! — засмеялся Ираклий.— Кто это не знает!

— Баулин здесь?

— Наверху, ждет.

— Задержи-ка этого на минутку, мы сейчас уйдем.

— На минутку? — удивился Ираклий.— Хочешь на час — на час задержу! Хочешь на два — на два задержу! Я его!..— И, подмигнув, выразительно щелкнул себя по шее.

(До яви — будто не ночная темень была перед ним за вагонным окном, а сам Ираклий со своей заразительной улыбкой — врезался Бауману в память этот жест. И так обезоруживающе уверен был в себе Ираклий, такая, по отношению к шпику, веселая снисходительность сквозила в его голосе, что Бауман доверился ему. Поистине, думал он теперь, ошибка плодит ошибку — как водится. Но эта ошибка, итожа события дня, казнил себя Бауман, вероятно, самая непростительная.)

Ираклий подмигнул, щелкнул себя по шее, а Бауман, почти успокоившись (изворотливость Ираклия была хорошо известна), поднялся наверх. Там в комнате, приспособленной под кладовку, среди головок сыра и ящиков с чаем и сладостями ждал его Баулин.

Филер же Тимохин, пока хозяин погребка о чем-то там совещался с Грачом, тоже не терял времени даром: успел шепнуть сидевшему за ближайшим столиком Волкову (его определили Тимохину в пару как помощника), чтобы тот позвонил в отделение, вызвал подмогу. А сам остался: мало ли чего!

Не успел Ираклий вновь появиться за стойкой, Тимохин тронул его за рукав, зашептал:

— Кто это? Богато одет...

Ираклий повел себя в высшей степени непочтительно — стряхнул его руку, закричал почти:

— Зачем пристал? Глаза есть? Видишь, занят! Дела — видишь? Мм, какой Токай! Пальчики облизнуть...

Ничуть не обидевшись, Тимохин с завистью спросил:

— Выгодное дело?

— Ха! У меня все дела выгодные!

— А где он?

— Кто?

— Ну этот, с Токаем.

— А! Ушел.

— Как — ушел? — не поверил Тимохин.— Я не видел.

— Чего нэ видел, чего нэ видел! — осерчал Ираклий.— Тем ходом ушел! Привезет сейчас Токай.

Тимохин достал из кармана часы, щелкнул крышкой.

— Вот черт, заболтался с тобой! Пойду.

И поднялся с высокого круглого табурета.

Ираклий попридержал его за плечо.

— Ты куда?

— Служба!

— Какая такая служба? — Ираклий был вне себя от ярости.— Ты у меня кабак торгуешь? Вот и торгуй! Выпей. А, жадный ты! Сколько ходишь — ни разу нэ пил! А, пей, угощаю!

Тимохин напружил тело.

— Пусти!

— Нэт. Нэ пущу! Торговаться буду! Пей!

Тимохин выпил. Единственно, чтоб отвязаться.

— В другой раз поговорим,— сказал он.

— Ай, нэхороший ты человек! Пить мое пьешь, а разговаривать нэ хочешь? Ай-вай-вай! Я ж тебя зарэжу сейчас! — Можно было поверить — зарежет, так свирепо вращал он, говоря это, глазами.— Садись. Сказал: садись — садись!..

Деваться некуда, сел Тимохин. Выпил, вместе с Ираклием уже, вторую рюмку. Потом еще. И еще. Но не пьянел, притворялся только.

Бауман чувствовал себя все же неспокойно. Баулин заметил это, спросил — в чем дело?

— Чертова слежка, устал,— объяснил Бауман.— Даже здесь шпик оказался. Сидит в зале, канальья.

— Сейчас?

— Вообще-то не страшно: Ираклий его упаивает.

Баулин рассмеялся:

— Представляю, чем это кончится!

Но все равно рассиживаться не стали.

— Если со мной что случится... ну там, в Киеве,— поднимаясь, сказал Бауман,— запомни: страховое, от огня, общество — напротив магазина Трынкина, знаешь? Спросить Марию Ивановну Стеллецкую. Ей ска-

зать, что тебя рекомендовали к Францу Францевичу. С самой Стеллецкой — никаких переговоров.

— Запомнил. Надеюсь, не понадобится.

— Хорошо бы.

Баулин встал, затянул ремнем жилет с листовками, застегнул на все пуговицы пальто.

— Я пойду,— сказал он.

— Постой, чуть не забыл. На, возьми. Это деньги. Немного.

— Да нет. Что ты.

— Бери, говорят.

— Тебе они нужнее.

— На что ты живешь?

— По миру не иду. В общем, я пошел.

— На себя пеняй: в Мюнхен напишу. Так, мол, и так, Баулин, мол, денег не берет, вы же знаете, какой он у нас скромник...

Баулин протянул руку.

— Давай.— Рассмеялся.— Черт ты все-таки!

Он ушел первый. Следом, через минуту,— Бауман. Двором без затруднений вышел на Никитский бульвар. И сразу увидел: навстречу ему — с Тверской, с Гнездиковского, где помещалась охранка,— во весь опор мчались пролетки с полицейскими. Остановились они у винного погребка...

Он пошел дальше, и весь остаток злополучного этого дня — и когда бродил он, не рискуя никуда заходить, по морозной Москве, и теперь вот, приглядываясь к своим соседям по купе,— все не мог забыть он это: пролетки, остановившиеся у погребка, полицейские, рассыпавшиеся цепью на тротуаре. Урок был жестокий, и никакими оправданиями — «иди, мол, знай!» — не смягчишь своей вины...

Поезд шел в Киев.

9

Тимохин места себе не находил. То, что происходило, было выше его понимания. Он привык: виноват не виноват, а если наблюдаемый упущен — все равно ты, филер, виновен, все равно тебе ответ перед начальством держать. На этот же раз, хотя упущена не мелкота какая, а Грач, сам Грач,— Медников даже не отчитал его. Больше того: на ночном разборе операции его и Волкова действиям было выказано всяческое одобрение. А в довершение всего — как высшая, что ли, степень доверия — назначен был Тимохин (вместе с Волковым опять) в «летучий» отряд, следовавший в Киев для поимки все того же Грача. Конечно, Тимохин малость и гордился этим, не без того, но вместе с тем пугающая необычность, некая даже загадочность происходившего озадачивала, лишала покоя. Он бы наказание предпочел, право!

И не знал бедняга Тимохин, да и откуда мог он знать это, что истинная причина столь необъяснимого поведения начальства была до чрезвычайности простой. В свете новых фактов, ставших известными охранке, можно было только радоваться, что операция на Никитской окончилась неудачей.

Мысль эта — насчет радости по поводу неудачи — принадлежала Зубатову, и, высказанная в конце доклада, с которым пришли к нему Меньшиков и Медников, она даже им в первый момент показалась странной. Так что Зубатову, привыкшему, что его понимают с полуслова, пришлось, чего он никогда не делал, растолковывать суть своего замысла. Но он проявил снисходительность и терпимость, вопреки обыкновению подробно все объяснил, догадываясь, что сегодняшняя их беспонятливость вызвана тем, что этот его план, круто переменивший настроение, был

для них совершенно неожиданным — так же, впрочем, как для него самого.

Да, в начале доклада он, Зубатов, был крайне зол. Когда эти, наиболее близкие сотрудники, как бы золотя пилюлю, доложили, что получены новые сведения о Баумане, он съязвил, что предпочел бы лицезреть самого Баумана.

— Теперь, вероятно, уже скоро,— заверил его Меньшиков.

— Не в первый раз слышу подобное,— отрывисто бросил Зубатов, досадуя на себя за то, что не сумел спрятаться за спасительную иронию.— Так что у вас?

— Письмо в его адрес. Из Киева.

— Вот как? Уже известен его адрес? — Зубатов остался доволен тем, как сказал это: насмешливо, с издевкой.

— Нет, нет,— поспешил поправиться Меньшиков,— письмо адресовано служащей телефонной станции некоей Уваровой, находящейся под наблюдением, но для передачи Грачу. Это копия, нам удалось расшифровать.

— Оригинал?..

— Ушел по назначению. Разумеется.

Заранее уверенный, что ничего путного протянутая ему бумага в себе не содержит, Зубатов, усмехнувшись, принялся — для пущего посрамления незадачливых своих подчиненных — читать ее вслух, соответствующим тоном окрашивая каждую фразу.

— Желательно,— скороговоркой читал он,— чтобы вы немедленно приехали. Телеграфируйте — Киев, Громову, до востребования. Если приедете сами, то «деньги высылаю», если только техник, просто «высылаю», если никто не приедет, то «продавайте». Адрес для явки...— В этом месте Зубатов ощутил потребность читать уже помедленней.— Адрес для

явки старый: Тимофеевская, шесть, шесть. Самое удобное время между 3—4 часами дня. У меня все благополучно и было и есть, к вашему посрамлению. Вообще я на вас зол страшнейшим образом и жажду вас повидать, чтобы ругнуть во всю душу. Отвечайте немедленно. Жму руку. Красавец...— Зубатов поднял глаза.— Крохмаль?

— Да. По некоторым данным, он собирает съезд агентов «Искры».

— Где уверенность, что письмо дошло до Баумана? — быстро спросил Зубатов.

— В Киев на имя Громова поступила телеграмма «деньги высылаю».

— Подпись?

— Григорьев. Один из псевдонимов Грача.

— Что вы намерены предпринять?

— Полагаем направить в Киев летучий отряд.

— Во главе?..

— Ротмистр Васильев, если вы не возражаете.

Зубатов прикинул: молод, карьерист; в данном случае это хорошо, будет стараться.

— Я согласен,— сказал он.— Надеюсь, хоть на этот раз капкан захлопнется.

Видит бог, он имел в виду Баумана, одного только Баумана, но, стоило ему сказать о капкане, как мысль заработала в другом направлении. В последнее время из-за всех этих неладиц с поимкой Баумана он стал посмешищем в департаменте; усилиями мстительного Ратаева даже и старик Зволянский заметно суше стал к нему относиться,— какая же блистательная возможность взять реванш за все за это представлялась теперь! Схватить Баумана, в первую очередь Баумана, это само собой. Но — одновременно — почему бы не сделать то, что не под силу и департаменту? Почему

 бы, спрашивается, одним махом не захватить всех,

кто приедет на съезд в Киев? Обдумывая эту свою мысль, Зубатов вдруг понял, что давешний досадный промах на Никитской оборачивается, похоже, редкостным выигрышем.

Именно это он и имел в виду, когда сказал подчиненным:

— Нам отчаянно повезло, господа, что ваш подопечный сорвался с крючка.

Было забавно наблюдать, как вытягиваются в почтительном недоумении их лица. Они явно не знали, как вести себя. Зубатов усмехался: опасаются подвоха, думают, верно, что он опять язвит... Но Зубатов был уже в превосходном настроении. С необычной для него обстоятельностью посвятив их в свой план, он потребовал список филеров, включенных в летучий отряд, и очень удивился, когда не обнаружил в списке Тимохина и Волкова,— забыли про них, что ли? Никак нет, объяснили ему, учтено, что они не сумели задержать Грача в погребке. Зубатов играючи отмел детский этот довод: за битого, во-первых, двух небитых дают; и потом — они ведь единственные, кто знает Баумана в лицо...

Так Тимохин попал в состав летучего отряда, что, по справедливости, расценивалось у филеров как знак особого признания заслуг.

10

Страха не было, нет. Скорее злость.

Выходы были перекрыты, он проверял. На той площадке и на этой — по шпику. Как волка обложили, подумал он. Как волка. Если обычно ему приходилось угадывать своих преследователей по бегающим и в то же время прицельным зрачкам, то теперь со-

мнений быть не могло: обоих шпиков он знал в лицо. Итак, площадки перекрыты. А у окна, в проходе, рядом с дверью в купе стоит ротмистр в голубоватом жандармском мундире. Даже переодеться не счел нужным, подумал Бауман. Пока что они не берут его, просто караулят. Но он знает: это не надолго — до станции, там и возьмут. Фу, черт, нелепость какая, сказал он себе. Столько петлял, выбираясь из Киева, и так бездарно, когда считал, что уже ушел от слежки, так глупо и безнадежно влипнуть.

Велик был соблазн — обвинить во всем Крохмаля. Его легкомыслие и впрямь было безгранично. Взять на себя заботы по организации конференции и, по сути, ничего ровнехонько не сделать, чтобы хоть както обезопасить ее участников!.. Начать с того, что явка на Тимофеевской оказалась просто-напросто квартирой, где он сам живет. Здесь же он собирался поселить не слишком многочисленных приезжих и проводить заседания. Можно подумать, будто человек понятия не имеет, что есть на свете такая штука, как конспирация! А когда Бауман заговорил об этом, он еще и возмутился:

— Что за манера — вечно все преувеличивать! Тебя, Коля, прямо не узнать. Не забыл: волков бояться — в лес не ходить?

Поляков, харьковский делегат, резонно возразил ему, что нас слишком мало, чтобы киснуть по тюрьмам, время терять жалко. Крохмаль опять свое:

— Мы что-то чересчур уж рассудительными стали. Нет, братцы, что ни говорите, а помаленьку исчезает в нашем деле романтика...

Надо же чушь такую спороть. Нет, сказал тогда Бауман, к черту романтику на уровне чувствительных барышень, к черту. Мы — работники, и (Поляков тут абсолютно прав) каждый из нас на счету! Бау-

ман настоял на том, чтобы никто из делегатов не оставался здесь ночевать,— лучше разойтись по гостиницам.

Наутро состоялось первое заседание. Споров еще не было, просто каждый высказал свою точку зрения. Когда расходились, Бауману показалось, что за домом ведется слежка. Но Крохмаль, когда Бауман обратил его внимание на человека с подозрительной наружностью, только рассмеялся: этак любого прохожего можно принять за шпика, смотри, мол, не накаркай. Что ж, вполне могло статься, Бауман и ошибался в тот раз. Зато не далее как на следующий день (вот же паскудное ощущение — будто в самом деле накаркал!) суждено было Бауману уже, так сказать, воочию убедиться в своей правоте.

Чувствуя, что опаздывает, он взял извозчика и вот, свернув с Епархиальной на Тимофеевскую, здесь, на углу, увидел вдруг человека в черной мерлушковой шапке, в котором без труда узнал филера из погребка Ираклия. В первый момент — так странно было увидеть в Киеве московского шпика — Бауман подумал, что обознался. Но нет, ошибки не было.

Как раз на этом углу Бауман собирался отпустить извозчика, дальше пойти пешком. Извозчик уже натягивал поводья. Бауман тронул его за локоть:

— Нет, мне немного дальше.

Рассчитывал так: остановиться около самого дома № 6, дать Крохмалю знать об опасности, затем опять на извозчика — и прочь, прочь. Но план этот был уже неосуществим. Дом оказался оцепленным, и не только полицейские и жандармы, а и шпики, ничуть не таясь, прохаживались по тротуару. Бауман отыскал глазами третье слева, на втором этаже, окно. На нем была раздернута — сигнал опасности — занавеска. Скорей всего там уже орудовали жандармы.

— Дальше! — опять приказал извозчику Бауман.

Ах, Виктор, чертов ты сын... Да, велико было желание обвинить в провале Крохмаля. Но надо быть справедливым. Как ни повинен он — дело было не только в нарушении конспиративности, вот в чем беда. Жандармская операция эта, судя хотя бы по тому, что присланы филеры аж из самой Москвы, проводилась широко и целенаправленно.

В Москву Бауман решил возвращаться не прямым поездом, а в объезд — через Харьков, Курск, Воронеж, Тулу. Билет не рискнул покупать сам, это сделала кухарка знакомых, у которых он ночевал. Эти же знакомые (пожилая супружеская чета, некогда жившая в Казани) помогли ему сменить одежду на более скромную. По пути на вокзал перекрасил волосы, сбрил усы. У окулиста (попалась на глаза вывеска, а времени до поезда было предостаточно) разжился массивными, из черепашьей кости очками; глянул в зеркало (там же, у окулиста) — впору было самого себя не узнать.

Тем не менее и на вокзале был настороже. В зал ожидания не пошел: слишком много света. Устроился в полутемном проходе, ведшем к перрону. Нахлобучив на глаза шапку и делая вид, что дремлет, он сквозь ресницы разглядывал всех, кто появлялся поблизости. Обостренное внимание фиксировало решительно все: возраст, позу, выражение лица, одежду, манеру говорить. И вдруг увидел такое, от чего испарина выступила на лбу: по проходу, со стороны перрона, жандармы вели Владимира Полякова, харьковского представителя «Искры». Поляков шел понуро, глядел себе под ноги.

Искушать судьбу у Баумана не было никакого желания. Выйдя на привокзальную площадь, он нанял извозчика и велел ему что есть духу мчать в Бо-

рисполь. Там, на первой после Киева станции, он и сел, за несколько секунд до отправления, в курский поезд.

Когда, откушав вечерний чай, все в купе стали готовиться ко сну, явились контролеры. Все бы ничего, проверка как проверка, думал Бауман, но что это там за тип заглядывает все время в дверь? Шпик? Просто любопытный?

Но вот проверка закончена, дверь закрылась. Можно спать. Нужно! Нет, не выходит из головы этот тип. Одно ухо заметно оттопырено. Так что вряд ли шпик, на эту службу подбирают незаметных. Но, черт, отчего же так неспокойно все-таки? Пойду-ка я лучше в коридор, сказал он себе. Удостовериться. Глупости, сказал он себе. Даже если этот, лопоухий, и в коридоре — что с того? Курит, может быть. Или просто в окно смотрит. Или — тоже возможная вещь — тебя, голубчика, поджидает... Нет, так нельзя. Явный психоз! Мания преследования, дожил. Хватит. Спать...

«Тип» этот все же филером оказался. В Харькове он первый, еще и поезд не остановился, соскочил на платформу, подбежал к железнодорожному жандарму, что-то сказал ему, и тот, придерживая шашку, быстрой перебежкой устремился к вагону, где был Бауман. Пришлось через тамбур пройти в соседний вагон. Как и всегда, в минуту непосредственной опасности, он обрел спокойствие, действовал обдуманно и неторопливо. К счастью, на площадке никого не было — посадка была с другой стороны. Переждать здесь? Опасно. Но и сойти нет возможности: обе двери — на платформу и на задние пути — заперты. Он вновь вышел в тамбур, соединявший два вагона, попытался раздвинуть гармошку кожуха. Щель была неширокая, но он протиснулся. Оказавшись на зад-

них путях, он нырнул под один товарный состав, под другой и вскоре, миновав мастерские депо, вышел на тихую, застроенную бараками улицу.

В Курск приехал на «местном» поезде. Ни в Курске, ни потом, в Воронеже, слежки он не замечал. Дьявольщина, каким же образом эти молодчики очутились тут, в поезде Воронеж — Тула? Значит, слежка-то все-таки была? Не может же быть, чтобы они случайно наткнулись на него. А, какая разница. Пустяки какие-то в голову лезут, сказал он себе. Хоть так, хоть эдак, а деваться мне сейчас некуда: шпики перекрыли выходы и ротмистр где-то тут, в коридоре. Круг замкнулся.

В купе кроме него было еще двое пассажиров: мужчина, подремывавший сидя, и занятая вышивкой на пяльцах молодая некрасивая женщина. Зашел в купе вагонный кондуктор. Растолкав мужчину, он громко сказал:

— Вам надлежит пройти в соседнее купе.

— Зачем? — удивился мужчина.— Разве я не на своем месте?

— Так нужно,— внушительно сказал ему кондуктор. Потом он повернулся к женщине: — Вам — тоже.

Бауману кондуктор ничего не сказал. Даже не посмотрел в его сторону.

Нетрудно было догадаться, кому и для какой цели понадобилось очистить купе. Бауман тем не менее тоже поднялся, шагнул к двери вслед за мужчиной и женщиной, вслед за кондуктором, помогавшим выносить чемоданы.

В дверях вырос ротмистр.

— Одну минуточку! — осторожно улыбаясь, сказал он Бауману.— Вы останетесь здесь. Сядьте к окну.

Бауман сидел у окна, ротмистр напротив. Оба филера тоже были здесь, примостились у двери.

— Потрудитесь объяснить,— говорил Бауман,— по какому праву вы меня задерживаете?

— Видите ли,— с высоты своего могущества отвечал ротмистр,— наше дело такое — задерживать.— Подумав, еще сказал — с игривостью даже: — Так же как ваше дело — ускользать от нас. Между прочим, у вас это ловко получается.

— Вы принимаете меня за кого-то другого.

— Ничуть.

— Вот мои документы, проверьте.

— Обязательно проверим. В надлежащее время и в надлежащем месте.

— Я повторяю,— сказал Бауман,— вы принимаете меня за кого-то другого. Это ошибка, которая, возможно, дорого вам будет стоить.— Он и сам не знал, зачем говорит все это: надежды у него уже не было никакой.

Ротмистр светски улыбался.

— У кого-то другого, осмелюсь заметить, вряд ли был бы резон трижды менять поезда. К тому же, эти господа, надеюсь, вы их тоже узнаете, имели честь сталкиваться с вами нос к носу.

— Занятно,— сказал Бауман.

— И весьма,— дружелюбно подтвердил ротмистр.

Ротмистр, кажется, неглуп. Совсем неплохо ведет свою игру. С достоинством и не без юмора.

— Это арест?

— Упаси бог. Арест будет произведен на станции. По всей, так сказать, форме.

— На станции?

— Да, на ближайшей. Грязи. Вас что-то смущает? О, я, кажется, понимаю вас! Конечно, это крайне неприятно — быть арестованным на станции с таким удручающим названием.

Остряк!

— Вы правы. Очень неприятно.

Бауман достал папиросу. Ротмистр с непостижимой быстротой поднес зажженную спичку.

— Благодарю, вы очень любезны.

— Рад стараться,— войдя во вкус игры, с шутливым наклоном головы отпарировал ротмистр.

Отлично, подумал Бауман. Теперь самое время. Сейчас или никогда. Последний шанс, сказал он себе. Последний.

— В таком случае,— усмехнувшись, медленно проговорил он,— не затруднит ли вас сопроводить меня... в одно место?

Ротмистра это явно затрудняло.

— Скоро станция,— сказал он.

— Когда?

Ротмистр взглянул на часы:

— Минут через сорок.

— О, это слишком долго! — поднимаясь, непринужденно сказал Бауман.

Ротмистр тоже поднялся, но прежде чем выйти, демонстративно переложил револьвер из кобуры в карман брюк,— глядел при этом на Баумана в упор.

— Идите впереди,— приказал он филерам; сам же пошел сзади.

Тимохин — он шел первый — зашел в уборную, недвусмысленно поджидая там Баумана.

— Ротмистр...— остановившись у порога, с укоризной произнес Бауман.

— Тимохин, сюда!

Тимохин вышел в коридор; весь вид его говорил, что ничего доброго от этих ротмистровых поблажек он не ждет.

Щелкнул изнутри запор в двери.

— Прибудем на станцию,— сказал Волкову ротмистр,— первым делом беги за жандармами. Человека

три, больше не надо. А мы в купе будем ждать.— Посмотрел на дверь.— Постучи!

Волков деликатно постучал в дверь.

— Минуточку! — послышалось из-за двери.

— Может, документики уничтожает? — подал мысль Тимохин.

Ротмистр забеспокоился, сам постучал. Ответа не было.

Уже нервничая, снова постучал, часто и громко, приблизил ухо к двери: ни звука.

Раза два нажал на ручку: молчание за дверью.

— Кондуктора! — крикнул он.— С ключом, живо!

Пока Волков бегал в другой конец вагона за кондуктором, пока кондуктор, чуя неладное, возился ватными руками с запором,— текло, утекало драгоценное время.

— Быстрей, быстрей! — подгонял ротмистр.

Распахнулась наконец дверь — с грохотом, настежь.

А за дверью — никого.

— Где же он? — вырвалось вгорячах у Тимохина; не заметил еще, что окно, в которое со свистом врывался холодный ветер, опущено доотказа.

Кондуктор испуганно перекрестился трижды — царствие, мол, небесное новопреставленному рабу божию.

11

Как ни старался — вспомнить все в последовательности не мог. Последнее, что помнил,— как висел снаружи, вцепившись окоченевшими пальцами в оконную раму, как подтягивал, сгибал в коленях ноги, собираясь оттолкнуться от стенки вагона и думая только о том, чтобы оттолкнуться посильнее и успеть пе-

ревернуться в воздухе, иначе, если упадешь навзничь, размозжишь голову. После этого был провал в сознании. Он даже не знал, сумел ли оттолкнуться.

Очнувшись, ощупал лицо, голову. Потом пришла боль. Не в голове, нет, она была цела как будто. В правом боку. Значит, летел под откос не спиной все же.

Он попытался встать, но не сразу смог, мешала тупая боль в ноге. При переломе была бы острая боль, подумал он.

Огляделся, ища шапку; черная, каракулевая, на которую сменил в Киеве свою «финку», она валялась на насыпи. Превозмогая боль, пополз за ней. Нужно поскорее выбраться отсюда, сказал он себе. Кто знает, сколько я лежу здесь.

...Идти было трудно, идти было невозможно, несколько раз он едва не терял сознание — то ли от боли, то ли от голода. Больше суток шел он уже, стремясь как можно дальше уйти от железной дороги. Вначале села обходил стороной, боялся, что городская его одежда вызовет подозрение. Теперь же, когда совсем невмоготу стало,— как назло никаких признаков жилья поблизости. Захотелось вдруг повалиться, бухнуться в снег, зарыться — и будь что будет, будь что будет...

На дорогу выбрался к вечеру. Дорога была накатана, идти стало легче. Часа через два нагнал его мужик в розвальнях.

— Подвезти, что ль?

— Подвези.

Он устроился рядом, на соломе.

— Хромаешь, гляжу,— сказал мужик.

— Подвернул ногу. Лечить вот иду.

— Это куда же — в Хлебное?

— Туда,— наугад подтвердил Бауман.

 — Доктор там знаменитый, вылечит. У меня у

самого,— на Покров, стало быть, дело было,— чирь на шее выскочил. Уж так маялся. Богу душу, думал, отдам, а он, доктор этот, Вележев фамилия, Валерьян Петрович, ножичком чик-чик... Хороший доктор.

Вележев жил на краю села. Дом был отстроен по-городскому, с застекленной террасой. Ссадив Баумана, мужик тронул дальше — ему нужно было в Лебяжье, верст пять в сторону.

Около двери висел деревянный молоточек. Бауман постучал. Открыла прислуга и, не спрашивая, кто пришел и зачем, молча провела его в кабинет. Вележев, в домашней бархатной куртке, стоя писал за высоким бюро.

— Здравствуйте,— сказал Бауман.

Вележев пошел к нему навстречу.

— Здравствуйте. Что у вас?

— Что-то с ногой. Опасаюсь осложнений.

— Снимите пальто. Проходите, садитесь. Ногу на табурет положите.— Доктор наклонился к ноге, принялся ощупывать ее умелыми легкими пальцами, говоря при этом о постороннем: — Легко же вы, батенька, одеты для зимищи этакой. Даже без шарфа.

— Так вышло,— сказал Бауман.— Смешной случай со мной приключился.

Вележев уже закончил осмотр.

— Ничего страшного, ушиб. Опухоль со временем рассосется. Так, говорите, смешной случай?

— Сущий анекдот. Представляете, выхожу я из дому, а навстречу...

Вележев поморщился.

— Не хотите — я ведь не неволю, не рассказывайте, но зачем же придумывать? Разве я не вижу, каков ваш случай?..

Бауману понравилось, как открыто вел себя врач. Стало неловко за себя — что пытался соврать.

— Вы правы,— сказал он.— В моем положении все равно ничего путного не придумаешь. Простите. А дело вот в чем. Меня должны были арестовать, я спрыгнул с поезда.

Вележев помолчал некоторое время, не столько с удивлением, сколько с интересом разглядывая своего обросшего щетиной ночного пациента.

— Как я понимаю, вы не грабитель, не убийца,— с располагающей улыбкой сказал он.

— Не грабитель, не убийца,— тоже с улыбкой подтвердил Бауман.— Я...

Но Вележев перебил:

— Знаете, лучше не надо, не говорите. Я вас понял, этого достаточно. Чем бы я мог вам помочь?

— Какая здесь ближайшая станция?

— Задонск, пятнадцать верст.

— Расскажите, пожалуйста, как туда добраться.

— Ночью? — удивился Вележев.

— Я предпочитаю идти ночью.

— Вас никто в селе не видел? — без околичностей, с вполне понятным беспокойством спросил Вележев.

— Думаю, что никто.

— А как же вы нашли меня?

— Мужик один, из Лебяжьего, подвез. По дороге меня подобрал. В Хлебном он даже не остановился, сразу на свой проселок свернул.

Бауман нарочно, чтобы успокоить врача, так подробно говорил об этом.

И Вележев, кажется, успокоился.

— Это хорошо,— сказал он.— Не тот случай, когда надо оповещать всех и каждого. Значит, вы твердо решили отправиться сейчас?

— Да.

— Мне как-то неловко отпускать вас на ночь

глядя. Но, знаете, так и впрямь лучше. И для вас, и для меня.

Эта откровенность, выдававшая человека прямого и честного, особенно подкупала в Вележеве.

— Да, конечно,— сказал Бауман.

— Одно меня беспокоит: как вы дойдете с такой ногой? Далековато все же.

— Дойду.

— Нет,— решительно сказал Вележев.— Я вот что придумал: у меня при больнице имеется лошадь с санями. Так и быстрей и безопасней.

— Был бы очень признателен.

— Пустяки. Кстати, у вас есть деньги?

— Три рубля. И сколько-то мелочью.

— Негусто! — рассмеялся Вележев.— Десять рублей на первый случай вас устроит?

— Спасибо. Я уже и сам собирался попросить у вас. Доберусь до Москвы — сразу вышлю.

— Ни в коем случае! Никаких возвратов! Не думайте, это не оттого, что я такой уж добрый. Отнюдь! Просто я ни от кого не получаю денег по почте, это может вызвать подозрения. Да и стоит ли нам затевать разговор из-за какого-то червонца?

Бауман был тронут. Этот Вележев определенно нравился ему. Не часто встретишь такую открытость, еще раз подумал он.

— Так я схожу в больницу, это недалеко.

— Я вам доставляю столько хлопот.

— Ничуть. Мне все равно нужно туда идти — роженицу проведать. Трудный случай, кесарево сечение.

Минут через двадцать пришел больничный сторож, сказал, что доктор велели передать, что конюх за дровами уехал и неизвестно, когда вернется,— так вот, стало, барину надоть пешком идти... как дойдет

по энтой дороге до развилки, пусть вправо возьмет, аккурат к «чугунке» выйдет...

До развилки Бауман так и не сумел добраться, хотя она тут вот была, совсем рядом, сразу за околицей,— поблескивал под луной в разные стороны расходящийся санный след.

Не успел добраться.

Не дали.

Вынырнули из-за плетня трое, навалились с хрипом, подмяли под себя.

— Где веревка? Вяжи!

Связали, спеленали, веревок не жалея: ни руками не шевельнуть, ни ногами. Поволокли по снегу, кулем, беспомощного, кинули в сани, подоспевшие как раз.

— Куда, сотский? — еще не остыв от борьбы, тяжело, с сапом дыша, крикнул парень, берясь за вожжи.

— В Задонск, известно. К приставу к становому!

Стеганул кобылку от души парень.

А Бауман, как кинули его в сани, так связанный и остался лежать, ничком, уткнувшись в задубеневшую на морозе мешковину, она терлась у щеки, сдирала кожу. Непрошенно выступила, выползла — от унижения, от бессильной ярости — злая едучая слеза и медленно, леденея на пути, поползла к уху. Это не погоня, сказал он себе, нет. Взяли местные. Кто-то, значит, выдал — не тот ли уж, из Лебяжьего, мужичок?

При первом опросе у пристава он назвался Петровым. Петров, Николай Васильев, мещанин города Курска, 27 лет, вероисповедания православного, женат на девице Екатерине Васильевне, под судом и следствием не состоял. В Задонском уезде ни родных, ни знакомых, которые могли бы удостоверить его

личность, не имеет; оказался здесь случайно, благодаря расстроенному душевному состоянию.

Затем — в присутствии специально вызванных для этой цели начальника Задонской тюрьмы, секретаря полицейского управления и старшего надзирателя — был произведен личный обыск. По обыску было найдено: шапка черного каракуля, пальто черное на вате и клетчатой подкладке, с круглым каракулевым воротником, пиджак черный, триковый, и таковые же брюки и жилет, шелковый платок, подтяжки с кожаными наконечниками, полотняная сорочка с отстегивающимся воротником, шелковый темный галстук, нитяные синие чулки, штиблеты черные, кожаные, на пуговицах, металлическая булавка для галстука, запонки, теплые перчатки с двумя защелками, круглое зеркальце в металлической оправе, записная книжка-календарь на 1902 год с вырванным листом, кусок карандаша, обручальное кольцо, портмоне коричневой кожи с 3 рублями 42 копейками... Все это было вот так, наиподробнейшим образом перечислено в протоколе, и лишь один предмет — вележевская десятка — почему-то не был помянут в нем. Вскорости странность эта разъяснилась, однако. Когда червонец был извлечен из нагрудного кармашка пиджака, пристав, шепотом посовещавшись о чем-то с остальными чинами, распорядился позвать сотского и — не стесняясь присутствием Баумана, напротив того, как бы даже довольный этим обстоятельством,— наказал сотскому вернуть деньги по принадлежности.

По принадлежности...

Вележев. Валерьян Петрович Вележев.

12

Из пересыльного отделения Задонской тюрьмы Баумана этапом отправили сперва в Елец, потом — в Воронеж, а оттуда — в Уфу. На полдороге к Уфе он был изъят неожиданно из этапа, отделен от всей партии. Неслыханный конвой сопровождал его: шесть рядовых и унтер. Повезли куда-то. Он понимал, что чрезвычайные эти меры неспроста. Вероятней всего, навели справки, все-таки дознались, кто он.

Так оно в действительности и было — с той только поправкой, что еще в Задонске, через день после задержания, стало известно, кто скрывается под именем Петрова.

Первоначальное решение было — препроводить его этапом в Вятскую губернию, в место прежней его ссылки. Но впоследствии, когда, в связи с киевскими арестами, ведение дознания по делу о революционной организации «Искры» было передано начальнику Киевского жандармского управления генералу Новицкому, из департамента полиции в адрес воронежского губернатора (Бауман пока что числился за ним) ушел телеграфный приказ:

«Придавая личности Баумана первостепенное значение и опасаясь побега, прошу Ваше превосходительство безотлагательно телеграфировать на соответствующий этапный пункт о приостановлении следования Баумана в Вятскую губернию и об отправлении его под надежным конвоем, с обеспечением полной невозможности побега, в распоряжение начальника Киевского губернского жандармского управления».

Глава четвертая

За семью замками

1

Генерал Новицкий был своего рода знаменитостью в жандармском мире. Шутка ли, двадцать пять лет, четверть века — беспрерывно, беспорочно — прослужить в одной должности, в одном месте! В этом смысле никто, конечно, сравниться с ним не мог. Юбилей генерала, благодаря тщаниям киевского губернатора Федора Трепова, был — с соответствующими речами, с подношением тисненного золотом адреса — отмечен недавно.

Не забыли «поздравить» его и революционеры. В канун торжества появилась в Киеве во множестве экземпляров крайне ядовитая прокламация, набранная вдобавок тем «косым», курсивным, шрифтом, за которым столько времени шла безуспешная охота. Высоко оценивая кипучую деятельность бравого генерала в качестве главного киевского жандарма, комитет РСДРП сердечно благодарил его за исключительно снисходительное отношение, вследствие какового комитет мог работать спокойно, а подпольная его типография успела даже стереть свой «косой» шрифт. И вот, меняя этот шрифт на другой, новый, комитет

считает своим долгом от души поблагодарить юбиляра... Новицкого едва удар не хватил.

Но все это в прошлом. Теперь в руках у Новицкого не только Киевский комитет РСДРП, распространявший злополучный пасквиль, но и представители «Искры» из других мест, из Москвы даже. Больше того, ему, Новицкому, доверено расследование громкого этого дела. Новицкий торжествовал: предстоящий процесс над искровскими агентами будет самым, со времени народовольцев, крупным политическим процессом. Само провидение, вопреки злословию недругов, подкинуло ему перед скорой, из-за возраста, отставкой этот нечаянный подарок!

Баумана, только что доставленного в Киев, Новицкий решил допросить сам. Вообще-то никакой нужды в этом не было — любой из его ротмистров мог справиться с допросом. Но Новицкому до крайности любопытно было самому удостовериться, так ли уж, как его малюют, страшен этот Бауман — главная фигура будущего процесса.

Баумана ввели. Высокий лоб, ясные серые глаза. Спокойный умный взгляд. Определенно хорошее лицо. Такого бы, к примеру, сына иметь...

— Садитесь.

Бауман сел.

— Курите.

Бауман закурил и, пока Новицкий перелистывал лежащие перед ним бумаги, в упор разглядывал его. Генералу было за шестьдесят; седая голова, но черные, нафабренные, вероятно, усы и брови; широкое тучное тело, ворот мундира туго перетягивал оплывшую короткую шею.

Новицкий оторвался от бумаг.

— Итак, вы — Петров, Николай Васильевич?

— Да.

— Курский мещанин?
— Курский.
— Где проживает ваша жена?
— В Костроме.
— Чем изволите заниматься?
— Бродяжничеством.
— Простите — в каком смысле?
— В прямом.
— Бродяжничество — по причине, как записано в первом протоколе допроса, «расстроенного душевного состояния»?
— Именно.
— Чем вызвано это состояние?
— Неприятностями сугубо личного характера.
— Какими же?
— На этот вопрос я не хочу отвечать.
— Это, конечно, ваше право,— сказал Новицкий.— Но в вашем положении было бы куда благоразумнее отвечать на любые вопросы, даже неприятные.

Бауман промолчал. Нечто подобное говорил и Пирамидов, с усмешкой подумал он.

— Хорошо,— почему-то вздохнув, сказал Новицкий.— Можете не говорить.

Этот-то вздох и выдал Новицкого. Бауман откровенно усмехнулся.

— Вы правы,— сказал Новицкий.— Нет смысла играть в прятки. Взгляните-ка, пожалуйста, вот на это...— Он протянул фотоснимок.— По-моему, вы должны бы знать этого господина.

Взяв снимок в руки, Бауман разглядывал себя. Снимок был все тот же, пятилетней давности, тюремный. Бауман молча вернул фотографию.

— Итак, Николай Эрнестович, все стало теперь на свои места. Долгонько же мы за вами охотились. Тем больше, впрочем, цена вам...

— Благодарю.

— О, сколько сарказма! Поверьте, я от души. Итак: нами установлено, что вы являетесь одним из главных представителей искровской организации в России и занимались...

— Я не намерен давать показаний.

— Естественно. Но весь фокус в том, что ваши показания не требуются, мы и без них все о вас знаем. Нам, так сказать, только вас недоставало. Для комплекта, так сказать.— И жестом карточного игрока Новицкий развернул веером с добрый десяток фотографий.— Полагаю, эти господа тоже вам хорошо известны. Нет, я решительно ни о чем не спрашиваю!

Бауман взглянул мельком, успел различить Полякова, Крохмаля.

— Таким образом, не только вы — остальные участники последнего вашего съезда в Киеве также у нас.

Бауман никак не отозвался на это. Новицкий вновь заговорил:

— Вы обратили внимание, что я ничего не записываю? И вообще, не правда ли, разговор, который я веду с вами, меньше всего напоминает допрос? Я даже не спрашиваю, у кого вы ночевали в Киеве. Видите ли, по существу этого дела мне от вас действительно ничего не нужно. Следствие почти закончено, остались формальности, и вся ваша искровская группа предстанет перед судом.

Бауман не понимал, к чему клонит Новицкий.

— Вы вызвали меня, чтобы проинформировать об этом?

— Вы напрасно так разговариваете со мной,— несколько даже обидевшись, сказал Новицкий.— Напрасно. Мой мундир и моя должность не мешают мне оставаться человеком. И вот в качестве такового и

независимо от моего мундира, я хотел бы задать вам один сугубо, как бы это... личный вопрос. Вероятно, вы не ответите. И все-таки рискну... Я хочу понять вас. Я, вероятно, вдвое старше вас, и жизнь, как мне кажется, знаю и понимаю — было, так сказать, время изучить ее. И вот среди множества людей, которых приходилось видеть, я не встречал ни одного, кто не стремился бы к счастью. Ну, понятно, каждый понимает это счастье по-своему, но тем не менее существуют какие-то элементарные предпосылки для него. Скажем, крыша над головой, дети, семья. А что движет вами? За спиной у вас Петропавловская крепость, ссылка, чужбина. Впереди тоже тюрьма, в лучшем случае — каторга. Не мед, а? Вы можете, я догадываюсь, возразить мне, что у вас есть дело, которое вы считаете (я не иронизирую) святым и которому, соответственно, вы решили посвятить свою жизнь. Так?

— Допустим,— сказал Бауман. Он вспомнил последний, душеспасительный, разговор с ним Пирамидова: похоже. Те же приемчики.— Допустим,— повторил он.

— Помилуйте! — воскликнул генерал.— Помилуйте, но человек шире любого дела, у него, особенно если он интеллигентен, есть же и другие интересы! Выходит — жертва? Но жертвенность, сколь я понимаю, никогда не делала человека очень уж счастливым. Я не считаю себя дураком, но ваша психология выше моего понимания.

Новицкий откинулся на спинку кресла — в знак того, что сказал все, что имел, и рад будет теперь выслушать Баумана, если тот, разумеется, пожелает говорить.

Бауман пожелал.

— Уж не собираетесь ли вы завербовать меня, генерал? — почти без улыбки спросил он.

Новицкий невольно подался вперед.

— Неужели я дал повод так думать? И в мыслях не имел.— Помолчав, он добавил, стараясь скрыть досаду.— Я только хотел сказать: зряшное дело выбрали вы себе. Трудно ль понять — без царя, без самодержца нет и не может быть России. Следственно, кто идет против монарха — идет против отечества своего. Вспомните тех же декабристов. Или народовольцев. Умнейшие люди, прекрасные, с такими задатками! А что у них вышло? Пшик. Так будет и дальше, смею уверить. Право, поразмышляли бы об этом на досуге... Благо, досуга у вас теперь предостаточно будет,— не удержался он напоследок, сказал со злорадством.

Бауман улыбался. Новицкий разозлился вконец:

— А вот причин для веселья у вас не будет, нет. Вовсе не будет... За семью-то замками!

Сказал и тотчас понял — попусту все это, вхолостую. Дал выход злости, и только. Потому что — хоть семь, хоть семьдесят семь замков,— а Лукьяновка, губернская тюрьма, некогда славившаяся строгостью своего режима, последние год-два стала как раз тем местом, где заключенные, а особенно политические, живут в такой вольготности, какая вряд ли была у них и на воле.

Тюремное начальство было тут ни при чем. Все эти льготы и послабления введены министерством юстиции, которому, в порядке уступки так называемому «общественному мнению», подчинены теперь все губернские тюрьмы.

Игра в либеральничанье стала модой, ей поддался и Трепов, губернатор. Новицкий мог еще примириться с тем, что Трепов своим недавним распоряжением узаконил возможность передавать в тюрьму все что угодно, до спиртного вплоть,— это хоть не мешает ведению следствия. Хуже другое. Камеры тюремного

за̀мка разрешено держать открытыми с утренней до вечерней поверки, заключенные, таким образом, свободно общаются друг с другом весь день, прогулки тоже совместные — все условия для любого сговора! Вот и попробуй, распалял себя Новицкий, попробуй, при таких-то обстоятельствах, сохранить тайну расследования. Не исключена также (хотя это и маловероятно, учитывая высоту наружной стены) попытка учинить побег...

Новицкий знал, что не в его власти изменить тюремные порядки, тем не менее он пользовался каждой возможностью, чтобы выразить администрации тюрьмы свое недовольство. Не то чтоб верил в полезность таких, время от времени, «взбадриваний», а просто делал это для собственного успокоения.

Начальника тюрьмы Малицкого, как и всегда, когда он нужен, в Киеве не оказалось: уехал в Бердичев, где жена его держала торговлю железом. Совершенно непонятно, как умудряется Трепов не замечать, что Малицкий больше занят жениной коммерцией, нежели тюрьмой! Пришлось рано утром вызвать для беседы капитана Сулиму, заведовавшего политическим корпусом. Лишь крайняя нужда заставляла Новицкого снизойти до разговора с этим алкоголиком, совершенно опустившимся человеком.

Руки ему, из брезгливости, Новицкий не протянул. Сесть тоже не предложил. Тот еще шел только по дорожке к столу — Новицкий уже говорил, хмурясь:

— Сегодня ночью к вам доставлен Бауман.

— Так точно, ваше высокопревосходительство! — Сулима остановился в некотором отдалении, руки по швам.— Мне уже докладывали.

— Его поместили в одиночку? — Новицкий словно бы допрашивал.

— Никак нет, ваше высокопревосходительство.

— Вам предписано — в одиночку.

Новицкий мог биться об заклад: руки Сулимы, даже и прижатые к бокам, подрагивали мелко.

— Осмелюсь доложить, тюрьма переполнена. В одиночках по двое, по трое.

— Меня это не касается. Другие — бог уж с ними, но Бауман должен быть в одиночке. И под надежнейшей охраной.

— Опасаетесь побега? — проявил неуместную догадливость Сулима.

Новицкий поморщился от такой прямолинейности, тоном выговора сказал:

— При ваших бесподобных порядках только дурак да ленивый не станет бежать. Бауман не из их числа.

— Осмелюсь доложить,— с дурацкой улыбкой говорил Сулима,— пока что бог миловал, никому не удавалось. Хотя и замышляются попытки постоянно. В настоящее время, осмелюсь доложить,— тоже. Зреет...

— Обрадовали, нечего сказать.

— Нет,— качнул головой Сулима.— Не извольте беспокоиться, ваше высокопревосходительство. Будут, в случае чего, схвачены при попытке к бегству.

— А если не будут? А если... Нет, я не разделяю вашего благодушия и требую...

— Будут-с.

— Я не намерен с вами торговаться.

— Будут-с! — с непонятным упрямством настаивал на своем Сулима.

Новицкий ждал объяснений. И Сулима приблизился, сделав шажок к столу, проговорил едва слышно:

— Потому как есть у меня свой человечек. Из ихних, политических...

Это меняло дело, существенно меняло.

— Вот как? — по инерции переспросил Новицкий.

— Точно так-с! — с готовностью подтвердил Сулима.

Новицкий не знал, как вести себя дальше. Выгадывая время, он дал Сулиме знак, что тот может сесть. А Сулима, усевшись, словоохотливо начал объяснять то, что и без него было ясно: что задержание при побеге отягощает вину и что, таким образом, как полагает он, вовсе нет надобности помещать Баумана или кого другого в одиночку. Затем он принялся было посвящать генерала в суть своей затеи, но Новицкий — рассудив, что лучше, по пословице, с умным потерять, чем с дураком найти,— поостерегся его откровенности.

— Вот что, любезнейший капитан,— вклинился он в первую же паузу.— Я не хочу вникать в детали и подробности. Потому что об этом своем плане вы мне ничего — запомните: ни-че-го! — не говорили.— Подумав, что для Сулимы сказано это чересчур тонко, пожалуй, не поймет, как надо, повторил: — Вы не говорили, а я, соответственно, ничего не слышал.

— Понимаю.

Теперь Новицкому легче стало продвигаться вперед, к своей цели. Потрогав усы, он сказал:

— Тем не менее — это тоже прошу запомнить — о каждом их шаге я должен получать исчерпывающую информацию.

— Будет исполнено.

— Вот и отлично.— Новицкий и в самом деле был рад, что покончил с неприятным.— Вот и отлично... Министр юстиции, кстати, мой давний знакомый. Я буду ходатайствовать о назначении вас начальником тюрьмы. Разумеется, если ваш план, о котором, повторяю, я ничего не знаю, будет осуществлен.

На прощание капитан Сулима удостоился немалой чести: генерал-майор Новицкий протянул ему через стол руку.

2

С той минуты, как закрылись за ним кованые ворота тюремного за̀мка, Бауман не переставал удивляться.

Прежде всего, не было здесь той запомнившейся по Петропавловской крепости унизительной, с раздеванием донага процедуры, которая как бы довершала превращение в заключенного. Это бы еще ладно: Лукьяновская тюрьма все-таки не Петропавловка. Можно также понять, почему таким поверхностным был обыск: заключенный доставлен по этапу и в свое время, следовательно, уже подвергался обыску. Но как объяснить, спрашивал себя Бауман, что тюремщики пренебрегли даже столь обычными для них мерами предосторожности — ни шнурков из штиблет не повыдергали, ни ремня не отобрали, ни подтяжек; вешайся, мол, на здоровье, коль есть охота.

Затем настал черед удивиться, когда за полночь привели его в камеру. Здесь уже был один обитатель, и им оказался — вот так да! — не кто иной, как Владимир Поляков, искровец из Харькова. Этой удаче можно было, конечно, только радоваться, и Бауман, именно на радостях, обнял Полякова, едва они остались одни, но все же... какому идиоту могло прийти в голову держать вместе будущих «однопроцессников»? Чем все это объяснить? Нерадивостью, разгильдяйством?

Вероятно, препотешный вид был у него, когда, недоумевая, задавал он эти свои вопросы. Поляков от души хохотал.

— Ты чего? — сказал Бауман.

— Еще! — со слезами на глазах, корчась от смеха, просил Поляков.— Еще...

— Что — еще?

— Валяй, еще чего-нибудь спроси!

— Что с тобой? Спятил?

— Так вот слушай, тупица,— переборов приступ смеха, сказал Поляков.— Никакой ошибки тут нет, все наши сидят попарно!

— Прогулки тоже совместные?

— Прогулки! Да тут с утра до ночи камеры настежь. Знай себе в гости ходи.

— Разыгрываешь?

— Ничуть. Поживешь — не то еще увидишь.

— Знал бы Новицкий!

— Новицкий? — Поляков опять прыснул.— Так он знает!

— В чем же дело?

— А что он, бедняга, может поделать? Не его ведомство. Тюрьмы теперь подчиняются министерству юстиции.

— И все эти льготы — от министерства?

— Думаю, что не все. Есть такая притча: если правитель, проезжая мимо яблони, сорвет хоть яблочко, можно быть уверенным, что свита вырвет дерево с корнем. От усердия, надо полагать. Кое-какие поблажки, почуяв, куда ветер дует, сделал губернатор. Тюремное начальство тоже не отстает. Тем более прямая выгода: то один из наших бутылочку поднесет, то другой.

— Вы-то где берете?

— Рука руку моет, сам знаешь. Тут, брат, с воли только птичьего молока передать нельзя!

— А чего-нибудь посущественней?

Поляков тотчас уловил смысл вопроса.

— Бежать вздумал? — с комической укоризной воскликнул он.— Ай-яй-яй! О нем, как о сыне родном, тут заботятся — и вот она, благодарность! Не-ет, нам и здесь хорошо: ни тебе слежки, ни тебе конспирации. Мы — тихони...

— Знаю я этих тихонь. Небось все готово?

Выяснилось — нет, не все. Начать да кончить, сказал Поляков. Нет паспортов, денег. И вообще толком даже план побега не продуман до конца. Если бежать через стену, нужна ведь «кошка» — а как ее передать?

— Какая кошка? — не понял вначале Бауман.

Поляков хлопнул себя по ногам:

— Темный человек, никакого соображения! Чтоб зацепиться. За стену. Стальной крюк!

Угомонились только под утро. Разбудил их грохот открываемой двери.

— Сулима идет! — оповестил надзиратель.

Бауман вопросительно посмотрел на Полякова — что за фрукт, мол? Поляков подмигнул:

— У, личность! Начальник политического отделения. С ним можно ладить, ты не ерепенься.

Появился Сулима. Прошел, глядя себе под ноги, к табурету, сел. Медленно, с головы до пят оглядел Баумана. Опять поднял глаза:

— Бауман?

— Да.

— Мне предписано поместить вас в одиночную камеру.

— Павел Никитич,— почти взмолился Поляков,— не надо бы. Он — смирный...— И глянул на Баумана: молчи, не вмешивайся.

— А пусть хоть и бешеный,— возразил Сулима.— Им-то, наверху, легко предписывать. А где я одиночку возьму? Вас тут, как селедок в бочке.

— Вот и слава богу. Ты ведь не в обиде, Коля?

— Нет.

— Видите, Павел Никитич, он очень даже доволен.

— Я к чему? Тут иной раз проверки бывают, из жандармского управления и вообще,— так чтоб меня не подводить. Насчет одиночки.

— Ну что вы, Павел Никитич, даже слушать такое обидно. Он же порядочный человек. Жаловаться не будет.

Сулима удовлетворенно кивнул.

— С «политиками» всегда столковаться можно, я знаю. Люди! Я ведь раньше уголовным корпусом заведовал — сам сюда напросился. Не люблю шпану, шуму от нее много.

Поляков резво пригнулся, достал из-под койки початую бутылку, сказал с хорошо разыгранной почтительностью:

— Павел Никитич, не побрезгуйте!

— Ишь ты,— хмыкнул Сулима.— Ну разве что в честь новоприбывшего.— Кивнул Бауману.— Ваше здоровье! — Поставил опустевшую кружку на стол и сообщил как об окончательно решенном: — Значит, вдвоем здесь будете.

— Большое спасибо вам, Павел Никитич, большое спасибо! — уже в открытую ерничал Поляков.— По гроб жизни помнить будем! Вы же нам прямо как отец родной!..

— Балаболка,— снисходительно уронил Сулима.

— Вот так и живем,— резюмировал после его ухода Поляков.

— Пьян?

— Трезвым его еще никто не видел.

— Но ведь не дурак же он.

— Считай, что нам крепко повезло: именно дурак.

Да, пожалуй, подумал Бауман. Только дурак мог не заметить, в каком издевательском тоне разговаривал с ним Поляков. От этой мысли стало как-то веселей.

— Держат же такого,— смеясь, сказал он.

— Тебе бы, определенно, Новицким быть!

— А что? Попрыгали бы у меня, голубчики! Не до побегов было бы!

Смеялись громко, в голос, ровно и не в тюрьме были.

— Пошли во двор,— сказал Поляков.— Наши там уже.

В канцелярии Сулима ворчал за что-то на надзирателя Рудинского.

Со двора доносился шум. Сулима прислушался — ничего не разобрать.

— Что там?

Надзиратель подскочил к окну, приоткрыл его.

— Новенького качают, ваше благородие.

Сулима сказал, посмеиваясь:

— Как дети малые. Ну сущие прямо дети.

Новый взрыв шума ворвался в окно. При желании теперь можно было различить отдельные слова.

— Караул! Караул! Спасите!

Сулима пожал плечами.

— Чего они?

— Так это они завсегда! — услужливо ввел его в курс дела надзиратель.— Как возиться начнут или еще что — сразу «караул» кричат. Балуются. Запретить?

— А, пускай! — подумавши, сказал Сулима.— Чем бы ни тешились...

3

Какое это все-таки блаженство — оказаться вдруг среди своих. Тогда только и оценишь по-настоящему ни с чем не сравнимую радость эту — после «этапа», где сутками один на один с каменными рожами конвоиров. И вот — родные, близкие, такие дорогие тебе люди; и ты им тоже близок и дорог, они сбегаются к тебе со всех концов двора, обнимают, целуют, потом, сумасшедшие, хватают тебя за руки, за ноги, подбрасывают зачем-то вверх, качают, при этом еще и кричат оглашенно и непонятно — «караул»; а когда, очутившись наконец внизу, на земле, ты спрашиваешь, почему же — «караул», тебе, подмигивая таинственно, отвечают, что так нужно, такая, мол, новая мода пошла, и опять жмут руки, хлопают грубовато и дружески по плечам, по спине, обнимают; потом они еще что-то тебе говорят, все разом, отрывочно, почти бессвязно, и ты тоже что-то в ответ говоришь им и тоже, кажется, бессвязно, но все равно это здорово, потому что можешь не думать о том, что говоришь, можешь не контролировать, как привык, каждое свое слово.

Родные — все. Те даже, с кем и не очень ладно складывались прежде отношения. Блюменфельд, Крохмаль, Басовский, Гальперин, Поляков — это давние знакомые. Но есть и новые «искряки», те, рядом с которыми, в свои двадцать девять, чувствуешь себя стариком: молодой, круглолицый, с запорожскими усами Максим Литвинов и совсем юный — неполных двадцать! — Осип Пятницкий. Они пришли в революцию, когда уже была «Искра», и без раздумий выбрали ее путь.

Пятницкий... Бауман слышал это имя: часть искровской литературы, поступавшей к нему в Москву, именно Пятницким переправлялась через границу —

по маршруту Кибарты — Мариамполь — Ковно. Но Бауман не подозревал, что этот дерзкий и бесстрашный человек так юн. Худющий, с цыплячьей шеей, он выглядел подростком, даже и его лет нельзя было ему дать. Схватили его в поезде, с очередным транспортом. Поместили в камеру вместе со студентами, вся революционная деятельность которых сводилась к участию в какой-то невинной демонстрации. И вот тут-то, смеясь, рассказывал Пятницкий, произошел курьез. Студенты, едва попал он к ним, потребовали прокурора. Явился прокурор: «В чем дело?» Один из студентов, показывая на Пятницкого, воскликнул с пафосом: «Вот, полюбуйтесь, сидит мальчик, который виноват лишь в том, что ехал искать заработка! Мы требуем объяснений, по какому праву вы держите здесь ребенка!» А прокурор в ответ: «Этот мальчик будет сидеть здесь дольше, чем все вы, вместе взятые. Он обвиняется в принадлежности к организации, которая именует себя «Искрой». Ему инкриминируется то-то и еще то-то...» Все так и ахнули. А насчет студентов прокурор как в воду глядел: через неделю их всех до единого выпустили...

— Ну ничего,— запальчиво говорил Осип Пятницкий, коричневыми своими глазами глядя на Баумана,— мы тоже здесь не засидимся!

Пришел Виктор Крохмаль.

— «Что делать?» читал? Сегодня диспут.

— Чернышевского?

— Нет, Ленина.— Крохмаль протянул брошюру в светло-коричневой мягкой обложке.

На обложке значилось: «Что делать? Наболевшие вопросы нашего движения». Потом фамилия автора: Н. Ленин. И здесь же, чуть ниже, эпиграф: «...Партийная борьба придает партии силу и жизненность, величайшим доказательством слабости партии

является ее расплывчатость и притупление резко обозначенных границ, партия укрепляется тем, что очищает себя...» (Из письма Лассаля к Марксу от 24 июня 1852 г.). Издана в Штутгарте в типографии Дитца. Книжка недавняя: год издания 1902-й. Значит, появилась, пока его, Баумана, таскали по этапу...

— Ленин? — переспросил он; это имя было ему неизвестно.

— Ульянов.

Да. Ульянов. С первых же строк можно было угадать: он. Его мысли. Его темперамент. И как всегда бывает, когда читаешь написанное знакомым тебе человеком, Бауман все время как бы слышал голос Ульянова, его неповторимую, с возвышениями к концу фразы, интонацию. Для этого не нужно было никаких усилий: из всех людей, каких Бауман знал, только один Ульянов обладал этой способностью писать так же выпукло, сочно и, при всей сложности фразы, так же просто, как говорил; и та же пристрастность, та же нелюбовь к витиеватой наукообразности. Вряд ли, думал Бауман, можно найти другую книгу (притом научную, теоретическую!), где бы так полно отражались не только взгляды, а и чувства автора, его характер, его симпатии — словом, вся его личность. Он не просто излагает мысли. Вот здесь, например, он сердится, а здесь — негодует, здесь — открыто и зло смеется над глупостью оппонента, а здесь — печалится, что такую заведомую очевидность приходится разжевывать.

Бауман знал, что не раз еще вернется к этой книге, но и сейчас он отчетливо понимал, сколь велико ее значение именно сегодня. Вспомнилась первая встреча с Ульяновым, первый серьезный разговор их в Бельриве, когда катались на лодке. Ульянов говорил тогда о необходимости идейно размежеваться с про-

тивниками — без этого немыслимо создание рабочей, истинно революционной партии. Эпиграф к книге — об этом же: «Партия укрепляется тем, что очищает себя». И вот теперь оппортунистическим теорийкам Бернштейна и его российских последователей нанесен сокрушительный удар. Теперь партия русских социал-демократов получила прочную идеологическую, организационную основу. Для этого понадобилось два года. Почти два года...

Закрыв последнюю страницу, Бауман вновь вернулся к началу книги. Было там одно место, которое хотелось перечитать.

«Мы идем тесной кучкой по обрывистому и трудному пути, крепко взявшись за руки. Мы окружены со всех сторон врагами, и нам приходится почти всегда идти под их огнем...»

Да, под огнем. Всегда под огнем, сказал себе Бауман. Он подумал вдруг о том, что когда-нибудь, десятилетия спустя, придет, возможно, время, когда люди — те, завтрашние,— стараясь понять нас, шедших первыми по обрывистому и подчас действительно тяжкому пути, припишут нам, как водится, какие-нибудь особые, необыкновенные качества, и все это будет если не неправдой, то преувеличением, оправдать которое можно разве только отдаленностью событий. Нет, думал Бауман, у нас тоже были (и, наверное, еще будут) минуты слабости, колебаний, сомнений, мы тоже предпочли бы жить по-человечески, а не гнить в тюрьмах. Но — и в этом все дело — у нас, в отличие от многих, лично, быть может, и более храбрых, чем мы, у нас была ясная цель. Да, в этом все дело: была цель, и мы точно знали, как идти к ней.

Ближайшая веха на этом пути — съезд. Своей книгой Ульянов расчистил теперь почву для него, остается только организационная работа по созыву. Бауман,

впрочем, хорошо представлял себе, чего стоит это «только». Понадобятся люди, много людей, имеющих опыт работы в России. И вот такие люди, добрая дюжина российских «практиков», запертых в Лукьяновке, томятся в безделье... Побег. Надо спешить с побегом. Надо спешить.

После диспута (а прошел он бурно, в отчаянной ругани с экономистами) решено было собраться до вечерней поверки. Помимо «искряков», пришел также эсер Болеслав Плесский. Бауман этому не удивился: когда Плесский выступал на диспуте (его речь, при всей ее враждебности, подкупала своей убежденностью, страстностью), Крохмаль шепнул Бауману, что этот человек тоже мечтает о побеге, вряд ли стоит отталкивать его. Бауман согласился с ним.

Двух мнений не было: побег необходим. Расходились лишь относительно сроков. На безотлагательной подготовке побега настаивал Плесский.

— Николай Эрнестович,— говорил он,— вот вы новый у нас человек, свежий. Скажите, вам не кажется удивительной эта привольность, в какой мы здесь живем? Доводилось вам слышать о чем-нибудь подобном?

— Что и говорить, странновато,— сказал Бауман, испытывая некоторую неловкость от того, что по милости Плесского становится как бы третейским судьей.

— И вот я спрашиваю,— горячась, продолжал Плесский,— и хочу в сотый раз всех вас спросить: долго ли может продолжаться эта — не знаю даже, как назвать,— глупость или халатность наших стражников? Жалованье-то они вроде не за это получают. Так не логично ли предположить, что гайки могут быть закручены в любой момент? А если так — мешкать нам никак нельзя.

Плесского поддержали Пятницкий и Литвинов.

Всем им возразил Марьян Гурский — в том смысле, что осторожность и осмотрительность никому еще и никогда не мешали.

— Эдак можно и переосторожничать! — запальчиво бросил юный Пятницкий.

— Но и очертя голову тоже не след бросаться,— сказал Гурский.— Вас, как я понял, радует наша вольница — меня она пугает. Откровенно скажу: я боюсь ловушки. Я не могу понять, почему тот же Сулима не допускает, кажется, и мысли о возможности побега. Многие считают его круглым дураком, но это не так — он хитер и изворотлив. Можете мне верить: я как староста чаще, чем вы все, сталкиваюсь с ним.

Поляков предположил, что спокойствие Сулимы, возможно, объясняется его верой в непреодолимость почти пятиметровой тюремной стены,— ведь за последние двадцать лет никому еще не удавалось перебраться через нее, хотя попытки такие и были.

— Все это очень гадательно,— заметил молчаливый Бобровский.

— Не более гадательно, чем предположение Гурского о ловушке,— сказал Плесский.

Но Бауман не был склонен так вот, с порога, отметать соображения Гурского и тех, кто согласен с ним. Он постарался сблизить противоположные точки зрения; доводы тех и других казались ему одинаково основательными. Он предложил не медля ни дня приступить к подготовке побега, но при этом не лезть на рожон, действовать предельно осмотрительно. Было бы и в самом деле глупо не считаться с возможностью провокации.

Тут же обсудили детали побега. Все сошлись на

 том, что бежать нужно через стену. Для этого при-

дется сплести из веревок и простыней лестницу. Это, собственно, и все, что они могут сделать здесь, в тюрьме. Остальное: паспорта, деньги, якорь-кошку, а также снотворное с вином, чтобы во время побега усыпить надзирателей, необходимо получить с «воли». Значит, нужно немедленно связаться с Киевским комитетом, а при возможности — подключить к организации побега и редакцию «Искры».

Зазвонил колокол — сигнал к поверке. Все должны были разойтись по камерам. Плесский задержался, ушел последний.

— Я рад, что вы появились у нас,— сказал он Бауману.

Бауман рассмеялся:

— Я предпочел бы не появляться.

— Я в другом смысле, вы понимаете. Поляков не даст соврать, я не первый день настаиваю на ускорении побега, но все, что я говорю, воспринимается не иначе, как эдакий эсеровский авантюризм. Нет, я не в претензии, я понимаю: мы принадлежим, так сказать, к разным кланам, и известное недоверие — не только ваше ко мне, но и мое к вам — вполне объяснимо.

— Пожалуй.

— Так уж случилось, что я единственный здесь эсер. Не с уголовниками же мне объединяться для побега? Это я к тому...

— Побойтесь бога, Болеслав,— дружески прервал его Поляков.— Мы одной веревочкой связаны — какое уж тут недоверие! Это у вас от мнительности.

Когда Плесский ушел, Поляков признался:

— А ведь верно, особого доверия он у нас не вызывал.

— Почему?

— Эсер как-никак.

— Это еще не резон — отталкивать,— сказал Бауман.— Сам знаешь, среди них попадаются отчаянные люди.

— Среди них попадаются и классные провокаторы.

— Ты что-нибудь подозреваешь?

— Нет, что ты.

— А как случилось, что он примкнул к вам?

— Точнее, мы к нему примкнули. Он еще до нашего ареста носился с идеей побега.

— Что ему грозит?

— Не исключена вечная каторга.

— Да, это серьезно.

4

Особенно хорошо продвинулись дела в последние две недели, когда всю организацию побега взяли в свои руки представители «Искры», специально для этой цели прибывшие в Киев. Представителями этими были Фридрих Ленгник и Надюш.

Всякий раз, когда очередная «невеста» или «жена» приходила к кому-нибудь с передачей, Бауман получал от нее записку — короткую, деловую; нипочем не догадаешься, что пишет родной человек, жена. В первых записках она еще позволяла себе порезвиться: дескать, если гора не идет к Магомету, что ж поделаешь, приходится вот Магомету идти к горе; только пусть он не очень-то радуется этому, поскольку головомойки — за то, что не встретил ее,— все равно ему не миновать, так что пусть хорошенько подумает сначала, не лучше ли ему остаться там, где он находится сейчас... Но это лишь в первых запис-

ках было так, потом для «лирических» отступлений уже не находилось места. Надюш подробнейшим образом сообщала, что делается для их освобождения и когда и кем будет передан в тюрьму очередной «подарок».

«Подарки» же были поистине царские. Одни бутылки с хлоралгидратом чего стоят! В смеси с вином хлоралгидрат должен в нужный момент мгновенно усыпить стражников. Гарантия стопроцентная: Мальцман, определяя дозу, целую неделю на себе испытывал его действие. Получены были с воли также деньги, по 100 рублей на каждого,— на тот случай, если по тем или иным причинам кому-нибудь не удастся сразу попасть на заранее приготовленные квартиры.

Полным ходом шла подготовка и в самой тюрьме. В цейхгаузе, которым заведовал Литвинов, была сплетена из полосок простыней лестница. Вечерами «политики» все дольше задерживались на прогулочном дворе, затевая шумные, с криками игры, дикие пляски и хороводы с битьем, за неимением барабана, в жестяные банки; надзиратели не реагировали на такие причуды, привыкли.

Остановка теперь была только за двумя вещами. Во-первых, паспорта. Но Надюш сообщила, что они уже приготовлены и не сегодня-завтра будут переданы. Куда сложнее было заполучить «кошку» — как передашь ее, треклятую? Первоначально возникла мысль прибегнуть к помощи уголовников. В их корпусе была мастерская для изготовления кандалов и цепей, за хорошие деньги можно сговориться. Но, по трезвому размышлению, решили не рисковать: ни за понюх табаку продать могут. Наконец придумали стальную «кошку» спрятать в букет. Да пусть розы — чтоб шипы! Риск, конечно, и при этом велик,

но, как ни верти, без «кошки» тоже не обойтись. Товарищи из комитета согласились с этим планом. Драгоценный букет, таким образом, нужно было ждать в любой момент. И тогда...

Да, дела шли совсем неплохо, и, радуясь этому, Бауман не то что вовсе не задумывался о странностях тюремных порядков, просто в новом свете, без былых чрезмерных опасений, оценивал их теперь. В самом деле, рассуждал он: у Сулимы, имей он осведомителя, уже не единожды был случай помешать побегу, а участников его — примерно наказать. Выходит, что прав был Плесский, когда с самого начала твердил о необходимости форсировать подготовку, не дожидаясь, пока Сулима вдруг «поумнеет».

Бауман был в камере один, когда пришел этот человек. Плотно прикрыв за собою дверь, он молча направился к койке, сел; обличье и повадки выдавали в нем обитателя уголовного корпуса. Посмотрев на Баумана, он негромко спросил:

— Бауман — ты?

— Я.

— Разговор есть.

Уголовник произнес это как-то очень значительно.

— А в чем дело?

Уголовник еще больше понизил голос:

— Ты с дружками бежать хочешь.

— С чего взял? — сказал Бауман, подумав, что уголовник будет сейчас просить взять его в «компанию» и что соглашаться на это никак нельзя.

Но уголовник другое, совсем другое имел в виду!..

— Нельзя,— неожиданно сказал он.

Тут же пояснил неохотно:

— На крю́чке вы все. Ты — особенно.

И умолк, глядя в сторону, нимало не интересуясь впечатлением, какое произвели его слова.

Нужно гнать его в шею, подумал Бауман. Вероятно, подослан. Ладно, подумав, сказал он себе, еще успеется.

— Загадками говоришь, не люблю. Выкладывай, что знаешь.

— Нет,— сказал уголовник.

— А почему я тебе должен верить?

— Твое дело.

Уголовник поднялся с койки, сделал было шаг к двери, но, словно решившись на что-то, остановился.

— Ладно,— сказал он и опять сел.— Штырь меня зовут. Сегодня, значит, моя очередь уборщиком быть. Убираю, значит, канцелярию, а за дверью, слышу, разговор. Не утерпел, в скважину замочную глянул, ухо приложил: Сулима и легаш этот... Из ваших! Что паспорта сегодня ждете... и еще что-то, не услыхал. И под тебя яму копает: что ты главный, значит.

— Кто? Знаешь?

— Как не знать.

— Ну?

Штырь придвинулся, шепнул на ухо и тотчас отсел подальше — с такой ненавистью глядел на него Бауман.

Бауман и действительно почти не владел собой.

— Врешь! — свистящим шепотом кричал он.— Не верю!

Штырь тоже разозлился люто.

— А ты проверь! Суку эту проверь! А если Штырь брешет — оба глаза мне вон! — Внезапно успокоившись, он добавил, оскалив зубы в улыбке: — А меня продашь — так и тебе, учти, не жить...

И пошел себе вразвалочку вон из камеры.

Бауман глядел на дверь неподвижно, но, как ни старался, все не мог собраться с мыслями. Точно оглушили его. А ведь надо же, черт возьми, что-то де-

лать! Сообщить товарищам? Дать знать на волю? Чепуха: о чем сообщать? Где доказательства?

Додумать до конца он не успел. Появились Плесский с Поляковым. У Плесского был в руках букет роз.

— Глянь-ка! — чуть не пританцовывал Поляков.— Видал, какой подарочек Болеславу поднесли?

— Тяжеловат только малость.— Плесский извлекал уже из букета «кошку» — совершеннейший, в миниатюре, якорь, только не с двумя, а с тремя гнутыми лапами, коваными, надежными.

Бауман потрогал шероховатую маслянистую поверхность.

— Хороша! — сказал он.— А как надзиратель?

— Сунулся было, да сразу на шипы нарвался. Уж натерпелся я страху!

— Представляю. Отчаянный все-таки риск.

— Как же без него?

— Кстати,— сказал Поляков, обращаясь к Бауману,— на твоем месте я бы не стоял столбом. К тебе тоже на свидание пришли, велено передать.

— Кто?

— Жена.

Бауману вдруг взбрело на ум, что это Надюш (так ни разу и не видел ее).

— Блондинка?

— Угадал. Брюнетка.

Отлегло от сердца. Надюш нельзя здесь появляться: живет под «липой».

— Маша?

— Она! А сыночка Васей зовут, не забыл? — Поляков дружески подтолкнул его к двери.— Будь осторожен.

— Да, конечно.

 Свидание, как и положено, продолжалось десять

минут. Говорили о пустяках, ничем не возбуждая подозрений надзирателя. Бауман держал мальчика, Васю, на коленях (сидели на деревянной скамье). Маша показала глазами на кармашек Васиной куртки, Бауман нащупал там плотный пакетик и, улучив момент, когда надзиратель (дежурил Рудинский, сволочной мужик) слюнявил только что скрученную цигарку, прижал мальчика к себе; секунду спустя пакет был уже у Баумана в рукаве. Рудинский вскоре объявил, что свидание окончено. Бауману не терпелось побыстрее уйти из посетительской — с надзирателевых глаз долой, но по неписаному тюремному ритуалу полагалось еще канючить, вымаливать у надзирателя хоть минутку, хоть полминутки.

— Да не может быть,— сказал Бауман.— Вы уж пожалуйста!..

— Не положено! — отрезал Рудинский.— Время истекло!

Двойственное чувство владело Бауманом. Еще час назад он, кажется, плясал бы от радости, что удалось так удачно провести надзирателя, теперь же... Нет, теперь он тоже, конечно, рад был, что все обошлось, но одновременно такая вот легкость получения тех же паспортов хотя бы (не говоря уж о «кошке») как бы подтверждала то, о чем говорил Штырь и чему верить все-таки было невозможно.

Поляков и Плесский были еще в камере.

— Подходящая жена? — встретил его шуткой Поляков.

— Золото! Вот что у мальчика в кармане было.

— Паспорта? Да на всех?!

— Погоди радоваться,— сказал Бауман.

— Почему это погоди? — удивился Поляков.—

Теперь остановка только за нами, хоть сегодня бежать можно.

Плесский тоже непонимающе смотрел на Баумана.

— Нет,— думая о своем, медленно произнес Бауман,— не нравится мне это.

— Что именно? — спросил Плесский.

Бауман не собирался говорить им все — только намекнуть; очень важно, подумал он, вселить в них хоть капельку сомнения.

— Я вот о чем думаю,— сказал он.— Нет ли у вас ощущения, что слишком уж легко попадает к нам все — и деньги, и «кошка», и эти вот паспорта?

Плесский не согласился с ним:

— Я бы не сказал, что легко. Просто мы соблюдаем меры предосторожности.

— Можно допустить, что не проверили букет роз: шипы!

— Ну? — не понимая, куда он гнет, торопил его Поляков.

— Можно допустить и то, что надзиратель не заметил, как попали ко мне паспорта.

Поляков решил перевести все в шутку.

— Что допускать,— засмеялся он,— когда паспорта вот они, тут!

Непрошибаемый оптимизм этот разозлил Баумана.

— Черт побери,— в сердцах сказал он,— ну как вы не понимаете? Ведь должен же, даже обязан был заметить! Тем более такой пес, как Рудинский!

— Странная у тебя логика,— заметил после паузы Поляков.— Чем лучше — тем хуже, да?

— Да. Я не очень верю в сплошное везение.

Все молчали.

— Что вы предлагаете? — сказал наконец Плесский.— Отменить побег?

— Нет, зачем же. Просто не пороть горячку. Повременить, как следует осмотреться.

— А как прикажете в таком случае быть с паспортами, с лестницей, «кошкой»? Ведь мы рискуем каждую минуту!

— Понадежней припрятать.

— Надолго?

— Откуда я знаю!

Плесский внимательно оглядел его. Потом, повернувшись уже, чтобы уйти, сказал негромко:

— Я считал, что имею дело с храбрым человеком. Простите.

Он ушел, а Поляков, оставшись, занялся своими делами. На Баумана он старался не смотреть.

— Обиделся, кажется,— проговорил Бауман.— Плесский...

— Не то слово,— отозвался Поляков.— Взбешен. Мое мнение тебя интересует?

— Да, конечно.

— Боюсь, что он прав. Твоя осторожность и правда граничит с трусостью.

— А я боюсь остаться в дураках.

— Не понял.

— Лучше рассчитывать на худшее — что каждый наш шаг известен и с нами играют в поддавки. Знаешь, так надежней.

— Коля, милый, ты говоришь страшные вещи.

— Вероятно. Но еще страшнее, если нас схватят во время побега.

— Я о другом. Самое поганое вот что: нас тринадцать — что же теперь, каждого подозревать? Да? Начинай тогда с меня — давай, давай, не стесняйся! А я — в свою очередь — начну подозревать тебя!

— Не дури.

— Тогда давай так: пойдем к Сулиме, бухнемся

ему в ножки — Павел Никитич, отец наш родимый, совсем мы измаялись, не томи, открой, что знаешь, от кого и так далее...

— Отличный выход! — засмеялся Бауман.

После этого разговор пошел в спокойном уже тоне.

— Как хочешь,— миролюбиво сказал Поляков,— в наших я уверен. Голову на плаху готов положить.— Задумался.— Постой. А может... Нет, чепуха!

— Ты о чем?

— Что ты думаешь о Плесском?

Бауман пожал плечами.

— Меня вот что смутило вдруг,— сказал Поляков.— Что-то уж больно он торопится. А? — Чувствовалось, что Полякову неловко говорить это.

— Нет, вряд ли,— сказал Бауман.— В его положении это естественно — торопиться.

— Да, конечно,— охотно согласился с ним Поляков.— Конечно!

Но сомнение, через секунду, вновь одолело его.

— И все-таки,— нерешительно сказал он,— зря ты при нем сейчас... ну, насчет того, что слишком все легко!

— Ты думаешь? — Бауман был задумчив и сосредоточен.

— Береженого бог бережет.

— Да, это я, пожалуй, неосмотрительно сделал,— размышлял вслух Бауман.

— Ты не находишь,— сказал Поляков,— что нам нужно собраться всем вместе, обсудить?

— Обязательно. Только чуть позже. Я хочу хорошенько подумать.

Поляков смотрел с любопытством, в глазах его Бауман уловил невысказанный вопрос. Бауман молчал, и тогда Поляков спросил:

— У меня ощущение, что ты что-то знаешь.

Бауман помедлил с ответом. Нужно сдержаться, сказал он себе. И так, пожалуй, слишком много сказал.

— К сожалению, нет,— сокрушенно покачал он головой.— К сожалению.

5

Внешне Бауман оставался такой же: жизнерадостный, отзывчивый на шутку. Игра эта, однако, нелегко давалась ему. Временами его подмывало рассказать товарищам о визите Штыря. Но делать этого нельзя было — по крайней мере до тех пор, пока сам во всем не удостоверится. Да, говорил он себе, есть вещи, в которых нужно сначала самому убедиться. Непременно самому.

Где-то в глубине души он еще надеялся, что Штырь просто-напросто подослан Сулимой — для того именно, чтобы они, если действительно думают о побеге, отказались от своей затеи. И потом, говорил он себе, почему я должен верить какому-то Штырю и не верить товарищам, одному из товарищей? Кощунством было даже думать об этом.

Нет, от этого так просто не отделаешься, нечего обманывать себя.

Вернувшись со двора в камеру, Поляков застал Баумана за довольно странным занятием: он распарывал подушку.

— Хорошо, что пришел,— сказал он.— Помоги.

— Что ты делаешь? — удивился Поляков.

— Хочу зашить лестницу.

— Зачем?

— Договорились же — понадежней спрятать.

— В подушку?

— А куда? То-то и оно — некуда больше. У тебя есть возражения?

— Нет, отчего же. Просто я не очень понимаю, по какому праву ты единолично принимаешь решения. При этом не считаешь даже нужным поставить нас хотя бы в известность об этом.

Бауман виновато улыбался.

— Юпитер, ты напрасно сердишься,— сказал он.— Я со всеми обговорил это, и никто...

— А я? — с обидой прервал его Поляков.

— Теперь об этом и ты знаешь.

— Постфактум? — Голос Полякова прямо-таки звенел от обиды.

Бауман отложил подушку в сторону, встревоженно сказал:

— Володя, что с тобой? Не мелочись, не надо. Я тебя искал. Да и какая, в конце концов, разница — раньше, позже?

— Разница. А если я, к примеру, стану возражать?

— Что ж, тогда мы спокойно и без всяких обид выслушаем все твои возражения. Я слушаю тебя.

Поляков молчал насупленно.

— Тебя что-то смущает, я же вижу,— сказал Бауман.

— Не то чтобы смущает,— сказал Поляков,— но как-то... Слушай, что, Плесскому ты тоже говорил об этом?

— Разумеется. Да и как, интересно, я мог ему не сказать, если лестница хранилась у него под матрацем?

— Он знает, что ты собираешься зашить ее в подушку?

— Он, собственно, и посоветовал это.

 — Давай-ка, Коля, вот что сделаем. Лестницу,

конечно, зашьем, но не в подушку, а в матрац, и не в твой, а в мой. Знаешь, на всякий случай.

Бауман сделал страшные глаза.

— Тайком? Единолично?! Не поставив никого в известность?! — повторял он поляковские недавние слова и с той же интонацией примерно, только чуть более преувеличенно.

— Подловил, черт,— улыбнулся наконец Поляков.— Давай помогу. Ты держи, а я буду укладывать.

Все были во дворе, когда пронесся слух, что у «политиков» повальный обыск в камерах. Тут же пришел за Бауманом надзиратель, отвел его в канцелярию. Багровый от ярости Сулима держал в руках лесницу, свитую из простынных лоскутов.

— Эт-то что такое? — закричал он, едва Бауман перешагнул порог.— Я тебя спрашиваю, что эт-то такое?

— А почему, собственно, вы мне «тыкаете»? — возмутился Бауман.

Сулима оторопел даже.

— Ты мне пакости делать будешь, а я к тебе со всем почтеньем должен, да?

— В таком случае я не стану отвечать.

Сулима, поморгав в растерянности глазами, обратился за сочувствием к надзирателю:

— Во, во! Посмотри на него! Почтения ему!..

Махнул вдруг рукой:

— Ладно! Я вас! спрашиваю: что это такое?

— Это? — переспросил Бауман.— По-моему, это лестница.

— А откуда она взялась?

— Понятия не имею.

— А кто ж тогда имеет? Понятие-то!

— Не знаю.

— Во, во! Слышишь, как он? — Сулима опять апеллировал к надзирателю.— Ну-ка, скажи ему, где ее взял?

— Из подушки, ваше благородие! Из евонной подушки!

— Слышали? — обернувшись к Бауману, спросил Сулима.— Слышали? Из вашей подушки! Изволите ли знать, зашита была! Ну?

— А почему я должен этому верить? Обыск был во время прогулки, я не присутствовал.

— Из вашей! Мне врать смысла нет.

— Есть смысл или нет — я все равно к этому отношения не имею.

— А кто зашил? Я, да? — возмутился Сулима.

— Думаю, что не вы,— успокоил его Бауман.

— Кто же?

— Не знаю. На этой подушке человек, может, сто спало до меня.

— Ну и что?

— Кто-нибудь из них, вероятно, и зашил.

— Вон ты как! — всплеснул руками Сулима.— Хитер!

— Даже слушать обидно.

— Обидно? А мне не обидно?! За все доброе, что я вам всем делаю,— такую пилюлю! Как это?

— Я тут ни при чем.

— А если я в карцер засажу? Что тогда запоете?

— Голодовку объявлю. Не имеете права, не за что.

— Я на все права имею,— сказал Сулима, не слишком уверенно, правда. И тяжело, словно на лестницу взбегал, отдуваясь, сел.— Ладно. Идите. Я подумаю.

Бауман ушел.

— Актик составить? По инструкции...— услужливо предложил надзиратель.

— Я тебе покажу актик! — отыгрался на нем Сулима.— У меня нет охоты по шее получать. И чтоб ни одна душа про это не знала! Ни одна душа, понял?

Бауман отправился в камеру. Наводивший там порядок Поляков чуть обнимать его не бросился, так рад был.

— Фу, пронесло! — воскликнул он.— Я уж думал — в карцер тебя засадят!

Поляков рассказал, что обыск был весьма и весьма странный: вспарывали только подушки и только у «политиков», у всех подряд.

— Не такие они беспечные, однако,— заметил в раздумье Бауман.

— Думаешь, это случайность?

— Уж не знаю, что и думать,— признался Бауман.— Давай-ка раскинем пасьянс. Все варианты, даже невозможные.

— Хорошо,— сказал Поляков.— Итак, сомнение номер один: почему искали именно в подушках? Не странно ли?

Бауман помолчал, взвешивая это соображение. Найдя его уязвимым, сказал:

— Как раз это-то и хорошо, что только в подушках, притом у всех без исключения. Значит, обычная проверка, для профилактики, что ли. Знай они что-нибудь определенно, вскрыли бы и остальные тайники, так ведь?

Поляков согласился, но тут же выдвинул новый довод:

— Ну, а если — по твоей методе — предположить худшее? Не понимаешь?

— Честно говоря, не очень.

— Мы так часто и много говорили, в том числе и при Плесском, о легкости нашей подготовки, о непонятной беспечности администрации... Так вот: чтобы успокоить нас, усыпить наши подозрения, Сулима, допустим, и решил продемонстрировать свою, так сказать, бдительность. Я исхожу из того, что они знали, притом точно знали, у кого и где хранится лестница. Поскольку ты больше всего сомневался, вот и изъяли только эту малость — у тебя! Логично?

— Даже чересчур,— сказал Бауман.— И слишком сложно, чтобы было похоже на правду. Уж будь уверен, они не постеснялись бы заглянуть во все тайники. Попутно. Что же до Плесского... ты ведь основываешь свою версию на том, что именно он...

— Мы раскидываем пасьянс,— уточнил Поляков.— Этот вариант один из жестоких, я согласен.

— Какие у нас доказательства?

Поляков задумался надолго.

— Ты прав, никаких,— с облегчением сказал он потом.

На совещании — собрались в камере Сильвина и Пятницкого — очень быстро пришли к общему решению. Бауман порадовался этому. Он боялся, что охи и ахи по поводу случившегося уведут в сторону. Может быть, так и случилось бы, если бы не решительность, даже воинственность Плесского.

— Не поймите меня превратно, друзья,— без обиняков начал он первый,— я никого ни в чем не хочу упрекать, но то, что произошло,— печальный урок для нас. Тактика выжидания может свести на нет все наши усилия. Так дальше вести дело нельзя.

 Бауман поймал на себе встревоженный взгляд

Полякова, но, не найдя причин для беспокойства, покачал в ответ едва заметно головой и сказал:

— Я согласен с Плесским. Кто может поручиться, что за этим обыском не последуют другие? Следовательно, надо опередить.

Все согласились с этим.

Предстояло решить следующий вопрос — когда?

— Сегодня.— Плесский и тут опередил всех.— Малейшее промедление может оказаться роковым.

— Нереально,— сказал Сильвин.— Не успеем сообщить на волю.

Бобровский, однако, напомнил ему о давней договоренности с комитетом: за час до побега к одной из решеток привязывается что-нибудь белое,— и Сильвин готов был уже снять свое возражение, но тут вмешался Бауман.

— Все равно нереально,— сказал он.— Мы забываем о лестнице. Ее ведь надо еще сплести, заново.

— Если поднатужиться — успеем,— заметил Литвинов; он ведал тюремным цейхгаузом, изготовление лестницы было как раз его обязанностью.— Да, определенно успеем.

— И все-таки,— настаивал Бауман,— самое верное, я думаю, завтра.

— Чтоб наверняка,— поддержал его Поляков.

Бауман повернулся к Плесскому:

— Ваше мнение.

— Хорошо, пусть завтра. После отбоя?

— Согласен.

— Согласен.

— Согласен.

План побега оставили прежний. Лишь уточнили обязанности каждого. Бауману вместе с Мальцманом досталось приготовить надежную смесь снотворного со спиртным для угощения ею, по случаю «именин»

Басовского, надзирателей; затем — уже во время побега — он должен будет обезвредить часового во дворе.

6

Чем ближе была развязка, тем труднее становилось управлять собой. Ноша, какую Бауман взвалил на себя, порой казалась ему непомерной. Даже и теперь, когда все стало ясно и подозрения, самые худшие, подтвердились окончательно, все равно он должен был один идти до конца: на то, чтобы сообщить обо всем товарищам, попросту не оставалось времени.

До чего ж мерзко, однако, подумал он, добавляя хлоралгидрат в вино. Ощущение, что не было в жизни дела более пакостного, чем то, которое предстояло: разоблачить предателя. Но это нужно, сказал он себе. Если так все складывается — нужно и через это пройти.

Он был один в камере — Полякова, пока сам занят, попросил сходить в цейхгауз, где делали лестницу, узнать у Литвинова, хватит ли простыней, а заодно разведать, как обстановка, не придумал ли чего новенького Сулима.

Поляков вернулся, когда он колдовал уже над третьей бутылкой.

— Какая пропорция? — спросил Поляков.

— Одна десятая.

— Не маловато?

— Бога побойся. Слона через минуту свалит. Что слышно?

— Полный порядок.— Поляков сел на койку лицом к Бауману.— Даже не верится — завтра!..— мечтательно сказал он, сплетя пальцы на затылке.

— Да, не верится,— в тон ему отозвался Бауман. Потом, широко улыбаясь, спросил с непринужденной шутливостью: — Кстати, ты уже доложил об этом?

— Как — доложил? О чем ты?

— О том,— все улыбаясь, сказал Бауман,— что завтра у нас побег? Сулиме сообщил?

— Сулиме? — рассмеялся Поляков, игра показалась ему забавной.— Ну а как же! Само собой — сообщил!

— А он что? — Бауман улыбался, и тон был вполне шутливый, а вот с глазами, сам чувствовал, справиться не смог: глаза были злые, колючие.

— Он? Ручку жал, спасибо говорил,— продолжал шутить Поляков.

Бауман молчал и, уже не пряча глаз, в упор рассматривал его.

— Странные у тебя нынче шутки,— с укоризной сказал Поляков.

— Я не шучу,— сказал Бауман и не узнал свой голос — был он какой-то деревянный, чужой.— Я серьезно.

Поляков покрутил пальцем у виска.

— Спятил?

— Ничуть.

— Хватит дурить. Я ведь и обидеться могу.

Выдержав довольно долгую паузу, Бауман сказал, своим уже голосом:

— Прекрасно держишься. Очень натурально. Не знай я наверняка, пожалуй, и поверил бы.

— Что ты знаешь? Что? — вскинулся Поляков.— Слушай, мне это надоело.

— Все,— сказал Бауман.— Все знаю.— Помолчал.— Нет, вру: за какие-такие сребреники ты продался, этого вот не знаю.

Поляков возвысил голос до крика:

— Сколько жить буду — слышишь, до самой смерти своей! — не прощу тебе этого! Как ты мог допустить самую мысль об этом?!

— Мне известен один из твоих разговоров с Сулимой.

— Ложь! Провокация! Ты что, сам слышал этот разговор... если допустить на минуту, что он был?

— Нет.

— Непостижимо! Кто-то клевещет на меня — и ты веришь!

— Нет, я не верил,— сказал Бауман.— До тех пор, пока сам не проверил. Пока сам не убедился в этом. Я имею в виду сегодняшний обыск, когда была вспорота моя подушка.

— Были вспороты все подушки!

— В данном случае важна моя подушка, так как именно в нее мы с тобой зашили лестницу.

— Чепуха! — Поляков зашелся в клокочущем, судорожном каком-то смешке.— Бог ты мой, какая же это несусветная чепуха!

— Не вижу повода для веселья.

— Отчего же, это действительно забавно. Ты сейчас сам убедишься в этом. С твоего разрешения, я повторю твои собственные слова. Обычная проверка, для профилактики — вот что ты говорил! И действительно, вдумайся только: если они (от меня или от кого другого — сейчас несущественно, оставим это в стороне), если они точно знали о побеге, то почему не тронуты другие наши тайники?

— Вероятно, потому, что Сулиме было важно не предотвратить побег, а лишь усыпить нас. А поскольку нас смущала как раз легкость подготовки, вот и изъяли самую малость, и притом именно у меня, я ведь больше всех сомневался. Логично?

 — Как ты говорил, слишком логично и слишком

сложно, чтобы было похоже на правду.— Поляков уже совершенно владел собой.— Но я готов даже допустить, что это правда... для того чтобы спросить — а какие у тебя основания думать, что донес я, а не Плесский, к примеру, или Пятницкий, или Сильвин? Ведь о том, где лестница спрятана, знали все — ты сам говорил мне! — с торжеством прибавил он.

Бауману стоило немалого труда вести разговор в этом спокойном, как бы рассудительном тоне — будто речь шла о чем-то постороннем и не очень существенном. Он должен был признать, что, похоже, разговор этот давался Полякову легче, чем ему; себя он чувствовал измученным и опустошенным. Пора кончать, подумал он. Пора. Не тот случай, сказал он себе, совсем не тот случай, когда следует церемониться. Не тот человек...

— Пора кончать,— произнес он вслух. И сказал главное: — О том, где лестница, знали только два человека: я и ты.

Удар был безошибочный. Поляков смотрел куда-то вбок.

Бауман тоже не мог смотреть на него.

— Итак: ты успел сообщить Сулиме, что побег назначен на завтра?

Тянулись секунды, каждая томительнее века.

А потом — через секунду, или две, или десять — Поляков, уткнув голову в ладони, выдохнул чуть слышно:

— Да.

Бауман резко поднялся, табурет громыхнул под ним.

Поляков бог знает что вообразил, наверно. Оторвав руки от лица, он затравленно подался назад, точно от удара защищался. Нет, Бауман стоял у столика неподвижно.

Поляков тоже встал и медленно, немыслимо медленно подошел к столу с другой стороны и, судорожно, словно после рыданий, захватывая в себя воздух, говорил, все говорил и говорил бессвязно:

— Прости... это невозможно... прости... была минута... сломался... я ведь жить теперь не смогу... прости...

Это было самое омерзительное из того, что было. Лучше б молчал! Или защищал себя, отстаивал какую-то свою правоту! По крайней мере, было бы ясно: убежденный враг, знавший, на что идет.

— Ты ждешь от меня сочувствия? — сказал Бауман.

Поляков сел на табурет.

— Это смешно, ты прав.

— Давно ты с ними? — спросил вдруг Бауман.— Впрочем, можешь не отвечать.

— Нет, я отвечу. Год... Задержали на границе, потом отпустили...

— Я так и думал.

— То есть?

— Ты вел себя вполне... профессионально.

— Но этого больше не будет. Понимаешь — не будет! Поэтому я и сказал все!..

В глазах у него были слезы.

Потом он с надеждой вскинул голову, зашептал горячо:

— Вот что! Бегите сегодня! Сегодня! И я с вами!.. Я искуплю, я сумею все искупить!

— Да,— сказал Бауман.— Побег состоится сегодня. Но без тебя.

— Вот видишь, ты сказал, что побег сегодня! Сказал м н е! несмотря ни на что! Значит... ты ведь не думаешь, значит, что я... предам? Снова? Не боишься этого?

— Не боюсь. Ты уже не сможешь предать.

— Да! С этим покончено!

— Потому не сможешь, что сейчас ты выпьешь это вино.

Поляков сделал отстраняющий жест.

— Со снотворным!

— Да. Ближайшие часы ты должен спать.

— Это жестоко.

— Вероятно.

— Я покончу с собой.

— Сомневаюсь.

— Думаешь, я даже на это не способен? — самолюбиво дернулся Поляков, и вновь что-то дрянное и мелкое проглянуло в нем.

Бауман налил полную кружку.

— Пей. Если в тебе хоть что-то еще осталось.

Поляков пил не отрываясь.

7

Телефонный звонок застиг Новицкого в прихожей. Идти в кабинет, к телефону, не хотелось, тем более что супруга и без того нервничала: они безбожно (из-за ее же непомерно долгих сборов) опаздывали на свадьбу, которую устраивал своей дочери фабрикант и миллионщик Мандрыкин. Но — долг превыше всего — Новицкий пошел все же в кабинет.

Снял трубку стоя.

— Слушаю. Кто говорит? Кто? Сулима?.

Услышал:

— П-побег, ваше п-превос...

Нехорошо кольнуло в груди, плюхнулся в кресло, но вышло неловко, ударился бедром.

— Кто бежал? — морщась от боли, отрывисто выкрикивал он в трубку.— Сколько? Каким образом?

— Еще неизвестно! — торопливо докладывал Сулима.— Неизвестно еще! Известно только — искровцы!..

— Что?! Под суд пойдете! — Новицкий машинально взглянул на часы: 8.40.— Все под суд пойдете! Сейчас буду! Ждите! — И швырнул трубку на аппарат.

Секунду посидел неподвижно, не в силах подняться.

Решил позвонить губернатору Трепову. Тот оказался дома.

— Ваше превосходительство, прошу прощения за поздний звонок. Да, Новицкий. В Лукьяновке совершен побег, Федор Федорович.

Трепов сперва не поверил, потом удивился: стена, такая ведь высокая стена, кто бы мог подумать!

Новицкий не преминул в свою пользу повернуть разговор — для того, собственно, и звонил губернатору.

— А я не удивляюсь, Федор Федорович, нет. Я всегда, если помните, говорил, что при таких порядках в тюрьме можно всего ожидать. Выезжаю. Разумеется! Да, да, тотчас позвоню вам!

Нужно было еще переодеться — не во фраке же, такую их мать, ехать в тюрьму! Пока облачался в мундир, думал о своей предусмотрительности, о том, что хватило разума не стакнуться с Сулимой. Не далее как вчера в ответ на вопрос, по-прежнему ли надежен «источник», Сулима заверил, что надежней быть не может, и тут же, явно желая угодить, предложил: «Да вы сами потолкуйте с ним. Он ведь еще и потом сгодиться может...» Но Новицкий, будто сердце подсказало, устоял от соблазна, равнодушно

бросил: «Потом и познакомлюсь!» — чем немало озадачил, конечно, тюремного капитана. Мерзавец! Нет, каков мерзавец!

Карета — в ней должны были отправиться на загородную виллу Мандрыкина — стояла у подъезда. Повинуясь приказу генерала, извозчик гнал что есть мочи, кормильцев своих не щадя, но все равно, казалось, конца этой езде не будет. Неблизок путь к Лукьяновке, на окраине она. Впрочем (стараясь успокоиться, подумал Новицкий), это и к лучшему, что далеко: есть время поразмыслить.

Злосчастный побег этот одним махом уничтожил все его планы, связанные с предстоявшим громким процессом, начисто уничтожил. Это было обидно, что и говорить, но все-таки не о том вовсе была сейчас его забота. Он легко представлял себе, какой отклик в министерстве вызовет сообщение о случившемся. И главное, что волновало его теперь,— как уйти от наказания, которое не может не воспоследовать, как переложить всю вину исключительно на тюремную администрацию.

Сулима встречал его у ворот. Новицкий тут же, не откладывая, потребовал объяснений: как, в частности, осуществлен побег, сама механика его. Сулима, заикаясь и косноязыча, говорил что-то невнятное, Новицкий и половины не понял,— опять пьян, должно быть, скотина! И только на прогулочном дворе, куда повел его Сулима, все разъяснилось.

— Вот! Лесенка-с!..— показал Сулима.

На стене болтались, подвешенные, какие-то белые ошметки: да, лестница, вернее то, что осталось от нее. Рядом с этим местом, у керосинового фонаря, находился сторожевой пост.

— А караульный? Куда он,— выругался матерно Новицкий,— куда он, раззява, смотрел?

— Никуда-с! — дурашливо мигая, отвечал Сулима.— Его одеяльцем накрыли...

— Позвольте, вы только что втолковывали мне, что он стрелял!

— Это потом. Потом-с... Когда убегли!

— А где надзиратели? Коридорные?

— Спят, ваше высокопре...

— Что?!

— Спят-с! — угодливо кивал Сулима.— Полагаю, снотворное...— Улыбнулся невпопад.— С водочкой-с!

Когда поднимались в канцелярию, повстречали одного из надзирателей, Войтова; мертвецки пьяного, его чуть не волоком тащили вниз, но был он здоровенный, не удержали его, и покатился он по лестнице, в кровь лицо разбивая.

В канцелярии Новицкий задал Сулиме вопрос, который давно вертелся на языке:

— А где же ваш протеже? Тоже утек?..

— Никак нет,— протестующе качнул Сулима головой.— Здесь!

— И что же?

— Спит! — Сулима словно бы и сам удивлялся.

У Новицкого уже не было желания кричать.

— Под суд,— пробормотал он.— Всех под суд.

— Виноват... Виноват-с...— кивал Сулима.

— Список бежавших!

— Вот, извольте.

В списке было одиннадцать.

Новицкий позвал стоявшего за дверью офицера — своего, жандармского.

— Штабс-капитан! Поднимите всех конных и пеших чинов полиции! И филеров!

— Слушаюсь.

— Отправьте срочные депеши по всем линиям железной дороги!

— Слушаюсь.

— Повальные обыски в домах подозреваемых!

— Слушаюсь.

— Снабдить агентов фотографиями бежавших и описаниями примет! Вот список.

— Слушаюсь!

Новицкому больше нечего было делать в тюрьме: фактов, обличающих тюремное начальство, было вполне достаточно. Он отправился к губернатору, там вместе сочинили телеграмму министру внутренних дел:

«Сегодня, 18 августа 1902 года, четверть девятого, вечером, из киевской тюрьмы во время прогулки бежало одиннадцать политических арестантов, посредством веревочной лестницы, перекинутой через стену. Часовой был накрыт одеялом и прижат к земле. Розыск производится. Подробности почтой. Бежали: Бауман, Басовский, Блюменфельд, Крохмаль, Пятницкий, Бобровский, Гурский, Литвинов, Плесский, Мальцман и Гальперин».

Затем, приехав к себе в управление и дав зашифровать эту телеграмму для немедленной отправки в Петербург, Новицкий приказал дежурному, как только бежавшие будут изловлены, тотчас известить его об этом — позвонить на квартиру, не считаясь с часом.

8

До неправдоподобности странная началась у Баумана жизнь.

Утром, ровно в восемь, после негромкого стука в дверь на пороге появлялся Никифор и, пожелав доброго утра, к самой постели подкатывал столик с неизменным кофе, сливками и розоватыми гренками.

Затем до обеда Бауман был предоставлен самому себе. Скучать, однако, не приходилось: у хозяина квартиры была богатейшая, на шести языках, включая латынь и древнегреческий, библиотека, разместившаяся в специальной комнате о четырех окнах, самой большой и самой светлой. Здесь-то Бауман и проводил целые дни, читая подряд все, что имелось на русском и немецком, по истории и искусству. Книг было много тысяч, все они систематизированы по разделам — от биологии до философии и юриспруденции, всего помногу, и все было читано, испещрено пометками, так что решительно невозможно было угадать, какова же профессия владельца этой библиотеки.

Петр Алексеевич был отошедший от дел адвокат. Сухонький, но очень еще крепкий и подвижный, в свои семьдесят лет он сохранил и живость ума, и, главное, неутолимую жажду познания. Последнее время основной его интерес сосредоточился на античных классиках, особенно любил он Платона, его «Диалоги». «Подумать только! — то и дело удивлялся он.— Две с половиной тысячи лет прошло, а люди ничуть не изменились. Так же чувствуют, точно так же!» Одинокий, поневоле нелюдимый, после обеда, проходившего в чопорном молчании, он утаскивал Баумана к себе в кабинет, делясь каким-нибудь очередным своим открытием и по-детски радуясь, если Бауман разделял его восторг.

От политики он был далек. То есть настолько не интересовался ею, что две-три газеты, какие приносил ему каждое утро Никифор (скорее член семьи, чем камердинер), чаще всего оставались неразвернутыми. Приютил же он Баумана совсем не потому, что сочувствовал революционному движению. Просто дальний его какой-то родственник, не то студент, не

то реалист в форме, попросил его пустить к себе человека, которого преследуют власти, и он, не поинтересовавшись, чтó за человек и за что его преследуют, сразу согласился, а когда спустя несколько дней Бауман, обросший и грязный, позвонил в квартиру — встретил его приветливо, даже радушно и приказал Никифору приготовить ванну.

Ни в первый день, ни потом, когда они сдружились, он ни о чем не расспрашивал своего гостя. Однажды Бауман сам кое-что порассказал ему о себе. Наибольший интерес у старика вызвал побег из тюрьмы, главным образом его привлекала авантюрная сторона этого предприятия. Пришлось в подробностях рассказать обо всех перипетиях побега. О том, как без особых затруднений удалось напоить коридорных надзирателей. Как наружный надзиратель (тот, что был во дворе с ружьем), которому поднесли стакан со спиртным, вначале сделал глоток, а потом, словно заподозрив неладное, больше не стал пить и пришлось накинуть на него одеяло, связать, заткнуть рот платком. Как один за другим, при помощи матерчатой лестницы, перебрались через стену, а лестница была дрянная, рвалась под ногами; при спуске Бауман «обжег» ладони, содрал с них кожу, а в довершение сорвался, упал, подвернув так и не зажившую до конца ногу. Еще Бауман рассказал, как он услышал оглашенный крик караульного: «Ратуйте, ратуйте!» — и как еще до выстрела, последовавшего тотчас, он понял, что караульному удалось освободиться от своих пут. Потом рядом с Бауманом рухнул на землю Бобровский. Последним должен был идти Миша Сильвин, но прошло с минуту, а его все не было. Ждать больше нельзя было. Бобровский кинулся в одну сторону, Бауман, с трудом ступая на болевшую ногу,— в другую. И вдруг стук множества

копыт по мостовой! Подсел под какой-то мостик. Потом побрел по обочине к городу. А дальше, сказал Бауман, все уже просто было. Взял извозчика и приехал по этому адресу, понятия не имея, к кому попадет.

— И это превосходно, что вы попали ко мне,— сказал Петр Алексеевич.— Лично я весьма рад знакомству с вами. Нет, в самом деле. Никифор, хотя я очень к нему привязан, не самый лучший собеседник.

Однажды он спросил:

— Вы женаты?

Бауман кивнул.

— Где же она, жена ваша? Тоже поди в тюрьме?

— Нет, на свободе,— сказал Бауман.— Притом здесь, в Киеве. В «Северной гостинице».

— Какая глупость! — всполошился Петр Алексеевич.— Я сейчас же пошлю Никифора, нет, отправлюсь сам, и пусть она немедленно переезжает к нам. Вы ничуть меня не стесните, я только рад буду.

Бауману не сразу удалось объяснить, что дело не в боязни доставить ему неудобство, что жена его знает, где он, и если не приходит, значит, не настало еще время; к тому же, она живет под «липой» и, как знать, не следят ли за ней.

Петр Алексеевич, добрая душа, лишь качал от огорчения головой.

Через день Надюш дала знать о себе. Весточку от нее принес все тот же дальний родственник, который был не то студент, не то реалист,— звали его Романом и оказался он все-таки студентом. Надюш писала, что бежавшие уже в безопасности, только вот Сильвину не удалось бежать, не успел. Дальше она сообщала, что вся полиция поднята на ноги, прочесываются все дороги, так что какое-то время надобно отсидеться в тиши.

Прошла неделя, прежде чем Роман появился вновь. Письмо Надюш было коротко и категорично, как приказ: немедленно срезать бороду, тщательно побриться, переодеться в то, что принесет Роман, и ждать, когда она приедет за ним,— поезд в Вильно отходит сегодня в три с четвертью пополудни...

Времени оставалось в обрез: на все про все полтора часа. Бауман был готов через час. Когда, разодевшись щеголем и уже без бороды, он зашел к Петру Алексеевичу — попрощаться, тот сперва возликовал: «Да вас не узнать! Вот ведь какой вы на самом-то деле!» — а узнав, в чем причина переодевания, погрустнел, все уговаривал не торопиться, отдохнуть, набраться сил.

— Помилуйте, еще успеете, набегаетесь еще от шпиков. Поверьте мне, вам совершенно необходим отдых. Надо же когда-нибудь и о себе подумать!

— Наверное, вы правы,— пряча улыбку, сказал Бауман.— Действительно: если не я за себя, то кто же за меня?

— Вот именно! — вгорячах воскликнул Петр Алексеевич, но тут же осекся и, рассмеявшись, хлопнул себя по голове, затем погрозил шутливо пальцем: — Старого воробья провести вздумали? Гиллель!

— Да, Гиллель. Мудрец, сказавший двадцать столетий назад: «Если не я за себя, то кто же за меня?» Но он, если помните, на этом не остановился, он так продолжил свою мысль: «Но если я только за себя, то зачем я? И если не теперь, то когда же?»

— Выучил на свою голову,— смеялся Петр Алексеевич.— Но вы согласны, что эти древние ничуть не глупее нас? — Прищурился.— Так что — опять все сначала? Слежка, тюрьмы, побеги?

— Нет, зачем же. Тюрьмы не обязательно.

— Мне не так уж много осталось жить,— с грустью сказал Петр Алексеевич,— но я рассчитываю, что мы еще встретимся. Так?

В кабинет заглянул Никифор, сказал, что пролетка с красивой дамой — у подъезда. Бауман обнялся с Петром Алексеевичем, накинул пальто и, забыв о ноге, побежал вниз.

Минут через десять, когда подъехали на шикарном лихаче к вокзалу, Бауман на чистейшем немецком обратился к железнодорожному жандарму (первому, какой попался на глаза) с вопросом, где находится билетная касса. Жандарм, естественно, ничего не понял, и тогда Надюш, уже на ломаном русском, попросила жандарма проводить их к кассе. Жандарм охотно исполнил эту просьбу и был настолько любезен, что провел иностранцев на нужный им перрон, даже помог им отыскать тот вагон и то купе первого класса, куда были куплены билеты.

Поезд на Вильно отправился точно по расписанию.

В Цюрихе Бауман первым делом написал домой, в Казань. Купил занятную открытку: вдали, как бы в утренней дымке, угадываются ветряные мельницы, а на первом плане — мальчик в красной куртке, озираясь, улепетывает от стаи разъяренных, воинственно вытянувших шеи гусей.

Поверх этой картинки Бауман размашисто написал:

«Побег из Киевской тюрьмы».

Глава пятая

Самое трудное

1

Первые дни в Женеве ушли на приглядку. Он изрядно уже поотвык от эмигрантской, из России, публики, теперь она стала еще более разношерстной, прибавились эсеры, анархисты. У Ландольта же, как и прежде, бушевали страсти, и все о том же: кто главнее, кто первее. Однако улавливал теперь Бауман в этих истовых, свирепых спорах и нечто новое, бо́льшую, что ли, осмысленность, целенаправленность. Мелочная грызня, конечно, тоже оставалась — и борьба самолюбий, и стремление к личному верховенству, но через все это проглядывали и более серьезные намерения спорящих.

Объяснялось все просто. Русская социал-демократия шла к своему второму съезду, и всем было ясно, что съезд этот будет носить куда более учредительный характер, чем первый, тот, что пять лет назад в Минске лишь провозгласил, но не создал партию. Даже злейшие недруги «Искры» не могли ныне не признать ее заслуг в том, что созыв съезда стал реальностью,— это обстоятельство, впрочем, и удесятеряло усилия деятелей всевозможных организаций, бывших на самом деле или только считавших себя социал-демократическими. В спешном порядке возникали самые неожиданные группы и группки,

которые, ради того чтоб попасть на съезд, с непостижимой резвостью перекрашивали свои знамена.

Особенно воинственно в предсъездовских дискуссиях были настроены представители Бунда и «экономисты», группировавшиеся вокруг журнала «Рабочее дело». Желая создать партию по своему образу и подобию, подчинить ее своим взглядам, они не гнушались ничем, все у них годилось в дело: интриги, склоки, нелепые сплетни. Раздувались, в числе прочего, слухи о каких-то неразрешимых противоречиях в редакции «Искры» — скорее всего ими же самими, убежден был Бауман, и выдуманных; во всяком случае, сама «Искра» (Бауман прочел все номера ее, что вышли, пока он сидел в Лукьяновке) не давала оснований для подобных утверждений. Линия газеты по-прежнему отличалась четкостью и недвусмысленностью, самым, может быть, наглядным подтверждением этого был проект программы РСДРП, опубликованный в 21-м, июньском, номере. Бауман мог ручаться, что такого документа не рождала еще ни одна рабочая партия Европы.

Встретившись с Плехановым, Бауман сказал ему об этом своем впечатлении от программы. Плеханов, отстраненно как-то глядя на него, ответил — да, пожалуй; ему и Ленину пришлось немало повозиться с нею; ну, понятно, не ради оригинальничанья: так диктуют несколько специфические условия жизни российского пролетариата. Когда речь зашла об «Искре», он сказал только, что Ленин все упрямится, никак не хочет переезжать в Женеву, а как было бы нужно собраться всем вместе... но тут же и заметил, что, впрочем, Ленин, может быть, и прав отчасти: в смысле конспиративности Женева и впрямь не самое лучшее место на земле. Говорил он словно по обязанности...

Холодок этот, который Бауман явственно ощутил в его отношении к себе и причину которого не понимал, немного порастаял, когда Бауман начал рассказывать ему об условиях подпольной работы в Москве; слушал Плеханов с видимым интересом, потом сказал с грустью и даже с завистью как бы, что ему очень недостает России. Но к концу разговора он опять замкнулся: после того как Бауман, делясь своими ближайшими планами, сказал, что собирается съездить к Ленину, Плеханов проронил рассеянно — да, да, это полезно, пусть съездит, и тотчас стал прощаться, говоря, что должен еще приготовиться к завтрашнему, весьма ответственному диспуту с эсерами. В тот вечер Бауман впервые подумал, что слухи о неладах внутри редакции, может быть, не просто чья-то злонамеренная выдумка.

Потресов, только-только вернувшийся из Карлсбада, где лечился, подтвердил его опасения. Поминутно оговариваясь, что рассказывать все это он не имеет, в сущности, права, а если говорит — то по старой дружбе лишь и рассчитывая на его, Баумана, безусловную порядочность, он все же рассказал о тех, как он выразился, «шероховатостях», которые нет-нет да и дают о себе знать в работе. По его словам, все сводилось к взаимоотношениям между Плехановым и Лениным. Вообще-то, попутно заметил Потресов, трения — по мелочам и в основном из-за того, что редакция в одном месте, а Плеханов в другом, и потому многие важные вопросы приходится решать в письмах — такие трения случались и прежде, но особенно обострилось все в связи с выработкой проекта партийной программы.

Первоначальный проект, рассказывал Потресов, составил Георгий Валентинович. Ленина этот проект не удовлетворил, в своих обширных «Замечаниях» он

подверг его основательной и, никуда не денешься, обоснованной критике, притом по кардинальнейшим пунктам. Жорж, понятно, обиделся, и когда Ленин написал статью «Аграрная программа русской социал-домократии» — тут-то и нашла коса на камень. Плеханов не стеснялся в выражениях, попросту начал глумиться. «Знаешь, как Жорж это умеет, особенно когда сам чувствует, что не прав». Ленин не сумел или не захотел стерпеть это, прислал в ответ такое письмо, что Жорж, при всем его умении владеть собой, тотчас примчался к Потресову, потрясенный, чуть не плача и, главное, каясь, каясь! «Можешь ты себе представить кающегося Жоржа?!»

Ленин же написал, что хорошие, мол, у Плеханова понятия о такте в отношениях к коллегам по редакции! Ну что ж, писал Ленин («и, по-моему, справедливо!»), что ж, если Плеханов поставил себе целью сделать невозможной их общую работу, то выбранным им путем он очень скоро может дойти до этой цели. Что же касается не деловых, а личных отношений, то их Плеханов уже окончательно испортил, или, вернее, добился их полного прекращения.

Дав Потресову прочесть это письмо, Плеханов ругательски стал ругать себя и дурацкое свое самолюбие, последствия которого, если начнется «междоусобица», могут быть для партии самыми печальными. А потом неожиданно сказал, что Ленин прав — если не во всем, то в главном, и что он немедленно напишет ему об этом, немедленно же! И — представь — действительно написал! Отношения после этого, слава аллаху, наладились, результат чего — программа, теперь уже обнародованная.

Бауман спросил — а как он-то, сам Потресов, относится ко всему этому? Потресов сказал, что предпочитает держаться нейтральной линии — в силу то-

го хотя бы, что из-за своей болезни он мало участвует в практической работе редакции и потому не чувствует за собой морального права отдавать свой голос той или другой стороне; но ему, Бауману, он все же признается, что если что и можно, по его мнению, поставить Ленину в вину, так это только нетерпимость (может, и чрезмерную даже) ко всему, что кажется ему мешающим делу.

От Потресова Бауман узнал, что «Искры» давно уже нет в Мюнхене. Царская охранка, кажется, пронюхала, где пребывает редакция, и германская полиция начала проявлять повышенный интерес к русским. Пришлось переезжать в Лондон; на том, чтобы ехать туда, а не в Женеву, как того требовал Плеханов, настоял Ленин...

Приехав вскоре в Лондон, Бауман нашел Ленина утомленным, осунувшимся. Ленин был рад Бауману: тому, что видит его живым-здоровым и, особенно, что «нашего полку прибыло». Когда Бауман сказал, что ему осточертела ландольтская публика и он намерен вернуться в Россию, Ленин прямо-таки замахал на него руками: это невозможно, решительно невозможно! Главные баталии, которые определят все дальнейшее, развернутся теперь за границей, и уклоняться в столь решающий момент от этого — дезертирство, не меньше! А кроме того, надобно Бауману и то поиметь в виду, что их побег из Лукьяновки так красочно, с печатаньем портретов даже, расписан во всей европейской прессе,— можно себе представить, как жаждет охранка побеседовать с ним лично на эту тему... Словом, заключил он, как ни крути, появляться сейчас в России Бауману никак нельзя, какое-то время все равно нужно переждать. В связи с этим — кстати — не пора ли, товарищу Грачу сменить псевдоним? «Сорока»?

Нет, «Сорока», «Грач» — слишком близко. Сорокин!

А чтобы новоиспеченный товарищ Сорокин не слишком скучал, придется ему заняться, притом немедля, тотчас, одним чрезвычайно важным и неотложным делом — подготовить обстоятельный доклад съезду о социал-демократическом движении в Москве: ретроспектива, положение сегодня, выводы на будущее. Сложно? Да уж, наверно, не просто. Но, с другой стороны, кто в настоящее время разбирается в московских делах лучше, чем он, Бауман? То-то и оно!.. И второе: как ни мерзопакостно влезать в драчки у Ландольта — негоже, особливо искряку, отсиживаться сейчас в кустах; чистоплюйством сие попахивает, товарищ Сорокин, чистоплюйством, именно! Главная борьба на съезде, вплоть до раскола возможно, предстоит с Бундом, и надо уже сегодня, в предвидении этого, всем и каждому втолковывать — до чертиков, до полного внедрения в башку! — всю вздорность, всю нелепость, всю заскорузлость позиции Бунда... Плеханов? А что Плеханов? Почему Бауман, собственно, спрашивает о нем? А, слухи! Ну, во-первых, слухи эти во многом преувеличены, а потом, все это в прошлом, хочется по крайней мере верить, что в прошлом. При всех сложностях своего характера, Плеханов, — истинный марксист, и, как показала совместная с ним работа над программой, нет для него на свете ничего ближе, чем интересы революции и России. А это главное, не так ли? И вот чтобы положить конец всяким, гм, раздирательствам в недрах редакции, приходится всерьез подумывать о переезде «Искры» в Женеву; конечно, это ужасно — опять рвать с таким трудом налаженные связи, да и конспиративность — об этих сложностях тоже ни на минуту забывать нельзя, но другого выхода сейчас, пожалуй, нет: только совместная с Плеха-

новым выработка порядка дня и других подготовительных материалов может уберечь съезд от ошибок и упущений.

— Так что не прощаюсь с вами надолго,— провожая Баумана в Женеву, говорил Ленин.— До скорой встречи!

И действительно, через месяц с небольшим, в апреле, «Искра» стала издаваться в Женеве. Ленин и Крупская поселились в пригороде Сешерон — улица Фуайэ, 10. Бауман любил бывать у них, приходил чуть не каждый вечер. Домик, который они заняли, состоял из большой кухни (она же приемная) внизу и трех маленьких комнатушек в мансарде. Недостаток мебели восполнялся ящиками из-под книг и посуды. Но и ящиков не хватало: множество людей (начали уже приезжать делегаты съезда) потянулось сразу к Ильичам, толчея тут была поистине непротолченная. «Притон контрабандистов!» — смеялся Красиков. Для разговоров с глазу на глаз приходилось уходить на берег озера, благо оно рядом было, в конце улицы.

Впервые за все время существования «Искры» редакция получила возможность собираться в полном составе — вшестером; даже Аксельрод переехал в Женеву. С точки зрения технической выпускать газету в Женеве было легко — здесь имелось несколько типографий, специализировавшихся на печатании русских изданий. А вот вести «Искру» стало куда труднее, чем прежде,— Бауман только удивлялся долготерпению Ленина. Чуть не по каждому вопросу выходили недоразумения, любой пустяк ставился «на голоса». Шестерка обычно раскалывалась на две группы: Плеханов, Аксельрод, Засулич — одна сторона, Ленин, Мартов, Потресов — другая. Работать сколько-нибудь нормально не было уже никакой воз-

можности, и Ленин, в поисках выхода из тупика, настоял на кооптации в редакцию (временно, до съезда) седьмого члена — Красикова, опытного работника, убежденного искряка. Это был очень больной вопрос — взаимоотношения внутри редакции, с делегатами об этом не говорилось, слишком тяжело было говорить. Лишь самые близкие люди были посвящены в существо и причины разногласий.

Однажды Ленин позвал Баумана прогуляться, привел его к озеру.

— Надо выговориться,— предварил он разговор. И в какой-то даже, как показалось, растерянности сказал: — Так больше продолжаться не может... Редакция в таком составе просто-напросто недееспособна. Вот, извольте, маленькая статистика, я подсчитал: в 45 номерах «Искры» из статей и фельетонов написано Мартовым 39, мной 32, Плехановым 24, Потресовым 8, Засулич 6 и Аксельродом 4. Это за три-то года! Добавлю, что ни один номер не был составлен — в редакционно-техническом смысле — кем-либо, кроме Мартова или меня... Но бог бы с ним, если б только это. Надо решительно рвать с «семейностью»! У Аксельрода, вы ведь тоже это прекрасно знаете, отродясь своего мнения не было, он всегда и по любому вопросу, прав Плеханов или нет, соглашается с ним. Вера Ивановна, боясь обидеть Жоржа, тоже отдает ему свой голос... Нет, пусть будут обиды, пусть что угодно будет, я потребую на съезде свободного, без оглядки на теперешний состав, выбора редакции. Нам нужна не некая коллегия, основанная на семейности, а настоящий центр, в котором каждый и всегда отстаивает свою партийную точку зрения, ни на волос больше, и независимо от всего личного, от всяких соображений об обиде... Сегодня же поставлю в известность остальных!

На следующий день Бауман узнал от Юлия Мартова (встретился с ним у Ландольта), что Ленин все-таки отказался от идеи свободного выбора и согласился с его, Мартова, предложением избрать на съезде редакционную т р о й к у. Потресов, присутствовавший при этом, тотчас сказал, что тройка означает: Плеханов + Мартов + Ленин. Тут спору не было, да и не могло быть, сказал Мартов; всякому ясно, что все три года именно эта тройка была решающим, политически, а не только литературно, центром — в 99 случаях из 100. Теперь, по словам Мартова, все зависело от того, как отнесется к такому плану Георгий Валентинович,— в тройке, при расхождениях, Плеханов большей частью ведь будет в одиночестве...

Слушая Мартова, Бауман подумал о том, что есть, пожалуй, еще одно обстоятельство, из-за которого Плеханов может не согласиться с проектом тройки: слишком давняя и близкая дружба его с Аксельродом и Засулич, боязнь, что его согласие кое-кто истолкует, как предательство.

Но нет, Плеханов оказался выше этих побочных соображений. Он, говорил Ленин, тотчас, конечно, понял, в чем дело, но шел на это; шел, так как отчетливо сознавал главное: раз партия — нужна деловая работа. Ленин видел в таком его шаге верный залог того, что Плеханов окончательно определил для себя, с кем он будет на съезде, какую линию будет там проводить. Ленин не скрывал своей радости — ведь если искровцы будут держаться вместе, то, при наличии у них на съезде 33 голосов из 51, ни Бунду, ни рабочедельцам не устоять перед лицом такого единства.

Бауман был избран делегатом с решающим голосом от Московского комитета.

2

Странное дело: многие, даже и важные вещи, происходившие с ним раньше, довольно скоро не то чтобы вовсе забывались, но как-то все же затушевывались, оттеснялись другими, новыми событиями. Теперь было не так. Все, что было связано со съездом, намертво оседало в памяти, в том числе и мелочи, частности. Бауман запомнил и то, как добирались до Брюсселя,— небольшими группами, держась чужаками. И то, как, приехав в Брюссель, первым делом кинулись разыскивать гостиницу «Золотой петух» (здесь им предстояло жить). И как встретил их хозяин этой гостиницы: отрекомендовавшись социалистом и заверив, что для него большая честь дать приют русским коллегам, он провел их в отведенные для них небольшие уютные номера, попутно объяснив, что здесь же, в ресторанчике на втором этаже, они могут питаться.

Но главным, самым главным из того, что отложилось в сознании от этих дней, было ощущение праздничной необычности происходящего, какая-то особая приподнятость, охватившая всех. Открытия съезда и в самом деле ждали, как праздника. Баумана особенно радовало, что держатся вместе Плеханов, Ленин и Мартов; верилось, что и съезд пройдет так же дружно.

Тем временем бельгийские социалисты подыскали помещение для заседаний съезда: бывший какой-то склад, не то мучной, не то для хранения шерсти.

И вот настал этот день — 17 июля. Открытие съезда назначено было на три часа дня, но все собрались задолго до этого. Сводчатый, почти без окон зал был непомерно велик для полусотни людей, все теснились около стола президиума; сидели на грубых,

из неструганых досок скамейках, стулья были лишь за столом; разговаривали почему-то вполголоса, записные остряки, вроде Зурабова и Гусева, и те приутихли. Бауман впервые увидел всех вместе; его поразило, до чего же молоды были делегаты — большинству нет и тридцати, Ленину — тридцать три года и только Плеханову и его друзьям по «Освобождению труда» под пятьдесят...

Было без пяти три, когда Плеханов подошел к столу и поднял руку, попросив внимания.

— Товарищи,— в полной тишине негромко сказал он.— Организационный комитет поручил мне открыть второй очередной съезд РСДРП. Я объясняю себе эту великую честь только тем, что в моем лице Организационный комитет хотел выразить свое товарищеское сочувствие той группе ветеранов русской социал-демократии, которая ровно двадцать лет тому назад, в июле 1883 года, впервые начала пропаганду социал-демократических идей в русской революционной литературе...

Голос Плеханова звучал глухо, с паузами, не было (Бауман невольно обратил на это внимание) и тех звучных интонаций, которыми он всегда так рассчитанно и умело пользовался. Вопреки обыкновению, он не старался поразить блеском и непринужденностью своей речи. И что было совсем удивительным для такого блестящего оратора — Плеханов вдруг смешался, сбился от волнения и продолжал речь, уже читая ее по бумажке.

— Двадцать лет тому назад мы были ничто, теперь мы уже большая общественная сила. Но сила обязывает. Мы сильны, но наша сила создана благоприятным для нас положением, это стихийная сила положения. Мы должны (Плеханов вполне овладел голосом, и бумажка с текстом почти не нужна была,

лишь изредка заглядывал он в нее), мы должны дать этой *стихийной* силе *сознательное* выражение в нашей программе, в нашей тактике, в нашей организации. Это и есть задача нашего съезда, которому предстоит, как видите, чрезвычайно много серьезной и трудной работы. Но я уверен, что эта серьезная и трудная работа будет счастливо приведена к концу и что этот съезд составит эпоху в истории нашей партии. Мы были сильны — съезд в огромной степени увеличит нашу силу. Объявляю его открытым!

Раздались аплодисменты, и они длились долго, пока Плеханов вновь не поднял руку. А когда рукоплескания стихли, Георгий Валентинович негромко и почти без мелодии запел, вернее, произнес: «Вставай, проклятьем заклейменный...», и тотчас все как один встали, и, зажатый низкими каменными сводами зала, возник, все ширясь и ширясь, «Интернационал».

Сразу же после этого приступили к выборам бюро съезда. И тут, что называется с ходу, произошел эпизод, который, при всей своей мимолетности, заставил Баумана насторожиться. Ленин предложил бюро в составе трех человек, единое бюро на весь съезд,— для держания, как он пошутил, делегатов «в строгости». Неожиданно взял слово Мартов: он стоял за выбор 9 лиц, которые на каждое заседание в свою очередь выбирали бы троих в бюро; все бы ничего, но в число этих девяти он вводил бундовца, явно в целях демонстрации «беспристрастности». Была короткая стычка, и хотя к конфликту, по счастью, она не привела, хотя дело в конце концов уладилось мирно, как и вообще в последнее время улаживались дела среди членов редакции «Искры», хотя Мартов быстро остыл и принято было предложение Ленина (члена-

ми бюро избрали Плеханова, Ленина и Красикова),— эпизод этот все равно не прошел бесследно для Баумана. Он понял вдруг очень важную вещь. Сегодня вышло недоразумение, всего-навсего; но кто поручится, что завтра не случатся казусы куда более серьезные, и уже не Мартов, человек свой, а силы, явно противостоящие нам, те же хоть экономисты, ринутся в бой? Так оно и будет, по-видимому. Отрешаясь от праздничного своего благодушия, Бауман вспомнил слова Плеханова о том, что съезду предстоит много трудной работы. И трудность эта, подумал Бауман, не только в обилии вопросов, которые нужно будет решить. Дело еще и в том, что вряд ли все будет так просто, как хотелось бы.

С этого момента он во многом по-другому стал воспринимать происходившее на съезде — более трезво, что ли. Слушая того или иного оратора, он старался теперь предугадать возможные ходы противников; было это, убедился он, не так уж, в сущности, и сложно: позиции их достаточно очевидны и определенны.

Поначалу, правда, он с некоторым даже удивлением воспринял то, что рассмотрение доклада Организационного комитета, а также регламента съезда и списка вопросов проходит так спокойно и безболезненно. Неужто, думал он, у рабочедельцев и бундовцев и впрямь нет никаких возражений? Быть же того не может! И точно: только он подумал об этом, слово взял бундовец Либер — по обсуждению порядка дня. Либер возмутился тем, что вопрос о положении Бунда в партии поставлен раньше всех других вопросов; прежде всего, считал он, должно быть достигнуто единство на почве программы, так как тот или иной характер программы будет влиять и на организационный принцип партии.

Бауман не мог не отдать должного ловкости Либера: надо же суметь так виртуозно, с видимостью убедительности даже, перевернуть все с ног на голову. Это была зацепка, не больше того; первая, так сказать, палка, брошенная в колеса. Цель тоже понятна — взбаламутить воду, внести хоть какое-то осложнение. Ведь дело-то до очевидности ясно: поскольку Бунд хочет коренным образом изменить организацию партии — с чем, разумеется, никак нельзя согласиться,— поэтому и невозможно приступить к работе, не устранив этих разногласий.

Само собой, большинство делегатов (за исключением Бунда и «Рабочего дела») решило вопрос о Бунде рассматривать в первую очередь, и вполне можно было бы инцидент с Бундом счесть проходным, несущественным, если бы обсуждение этого и впрямь проходного, по сути, чисто процедурного вопроса не выявило весьма определенно выраженного стремления бундовцев и «экономистов» всячески и по любому поводу тормозить работу съезда. Собственно, в этом не было ничего неожиданного. Пока что подтверждались предварительные прогнозы о расстановке сил и характере борьбы на съезде: на одном полюсе — искровцы, на другом — бундовцы и рабочедельцы.

Бездна времени после этого ушла на обсуждение вопроса о положении Бунда в партии. Но Бауман понимал, что и отмахнуться от него невозможно: стремление бундовцев узаконить федеративное, по национальному признаку, построение партии неизбежно привело бы к обособленности и отчужденности между пролетарскими организациями. Неудивительно поэтому, что бундовцы оказались в одиночестве; только рабочедельцы, да и то как-то вяло, поддержали их. Один из представителей Бунда, Коссовский,

начал даже роптать: вот-де, с первого же абцуга на съезде образовалось компактное большинство против нас... Ленин взял слово и, коснувшись этого выражения, заметил под аплодисменты:

— По-моему, не стыдиться, а гордиться должны мы тем, что на съезде есть компактное большинство. И еще больше гордиться будем мы, если вся наша партия будет одним компактным и компактнейшим 90-процентным большинством!

Бундовцы, в результате, были разбиты наголову. Даже рабочедельцы вынуждены были отмежеваться от них. Итог голосования — 46 против 5 (причем все эти 5 — бундовцы) — говорил сам за себя.

Несколько, впрочем, и озадачило Баумана такое поведение при голосовании рабочедельцев: если сообразоваться с логикой, они должны бы вроде поддержать бундовцев. Вечером, когда все, по установившейся уже традиции, собрались в обеденном зале «Золотого петуха» послушать Гусева (пел он прямо-таки профессионально), Бауман, улучив момент, сказал об этом Ленину.

— Нелогично? — рассмеялся Ленин.— О, потерпите, они еще покажут свою логику, я эту публику отлично знаю! Просто затаились на время. Не сомневаюсь, что уже завтра, при обсуждении программы, они постараются взять реванш. А впрочем — ну их к лешему. Давайте отдыхать. Вот и Красиков настраивает свою скрипку; он хорошо играет — никогда не слыхали?

Да, на следующий день рабочедельцы перешли в генеральное, так сказать, наступление. Мартынов, давний лидер «экономизма», выступил с громоподобной речью, направленной против проекта программы «Искры». Слушая его, Бауман не мог удержать улыбку. Грома, что и говорить, действительно было

много; в качестве же орудий главного калибра были использованы цитаты из программ всех западно-европейских социалистических партий — и все это для доказательства заведомо очевидного: что «искровская» программа партии наиболее революционна и — о, ужас! — острием своим направлена против «экономизма». Бауману пришло в голову, что поистине выигранные и проигранные сражения начинаются одинаково — с грохота пушек. Мартынов же — это было ясно уже, пожалуй, всем — неотвратимо двигался к поражению.

Уловив, что проект программы во многих своих положениях опирается на ленинскую работу «Что делать?», он предпринял попытку доказать, что эта брошюра — ни больше ни меньше — противоречит марксизму. Замах, что и говорить, был велик... а вот кончилось все обыкновенным пшиком. Ну в самом деле, злился Бауман, стоило ли сыр-бор поднимать для того, чтобы вместо формулировки «растет число и сплоченность пролетариев и обостряется их борьба с эксплуататорами» предложить: «растет число, сплоченность и сознательность пролетариев и обостряется борьба рабочей массы с эксплуатацией»? Совсем по Щедрину: обещал большие кровопролития, а сам — чижика съел! Только, если вникнуть, и «чижик» тут ни при чем, потому как фраза из «Что делать?» — о внесении социалистического сознания в стихийное пролетарское движение,— фраза, которую безбожно переврал Мартынов, абсолютно верна, а вот утверждение самого Мартынова, что такое сознание вырабатывается в рабочем классе стихийно и само по себе, оппортунистично по сути своей. Было невозможно всерьез отнестись к путаным этим рассуждениям Мартынова, даже и спорить с ним было как-то неловко. Это чувство именно неловкости испытывал,



должно быть, не только Бауман: все вокруг переглядывались недоумевающе.

Поднялся со своего председательского места Плеханов. Улыбаясь, он сказал с одному ему лишь присущей элегантной язвительностью, что прием Мартынова напоминает ему одного цензора, который говорил: «Дайте мне «Отче наш» и позвольте мне вырвать оттуда одну фразу — и я докажу вам, что его автора следовало бы повесить». Так что он, Плеханов, не понимает такого способа ведения спора. Тем более, что мысль Ленина абсолютно верна, тут не с чем спорить.

Рванулся к трибуне Акимов, тоже рабочеделец. Говорил он долго, но не слишком внятно. И, должно быть, поняв это, в конце своего выступления он пошел уже на последнюю крайность.

— Я убежден,— воскликнул он вдруг уличающе,— убежден, что и сам Плеханов в глубине души не согласен с Лениным!..

Плеханов опять вынужден был взять слово.

— У Наполеона,— невозмутимо сказал он,— была, как известно, страстишка разводить своих маршалов с женами; иные маршалы уступали ему, хотя и любили своих жен. Тов. Акимов в этом отношении похож на Наполеона — он во что бы то ни стало хочет развести меня с Лениным. Но я проявлю больше характера, чем наполеоновские маршалы. Я не стану разводиться с Лениным и надеюсь, что и он не намерен разводиться со мной.

Ленин, смеясь, качал головой: нет-нет, ни в коем разе!

Долго не стихал в зале хохот... Бауман подумал, что юмористическая нота эта, завершившая совсем нешуточный, в общем, разговор, как нельзя более кстати. Вряд ли теперь кто-нибудь усомнится

в истинном характере отношений Плеханова и Ленина. А это важно, как это важно! Кое-кто всерьез ведь рассчитывал на «драчку» между ними, чтобы, воспользовавшись этим, добиться своего. Трудненько же им теперь придется, любителям половить рыбку в мутной водице... Бауману, наблюдавшему за реакцией делегатов, даже показалось, что этот момент — переломный в работе съезда. Но он тут же остановил себя. Нет, не надо спешить с выводами, всякое еще может быть. И это была не просто осторожность — так, мол, на всякий случай. Дело в том, что начинались прения по очередному пункту порядка дня — «Центральный орган партии». Съезду предстоит решить, создавать ли новый печатный орган или же признать таковым один из существующих: «экономистское» «Рабочее дело» либо «Искру». Бауман понимал, как остро стоит вопрос,— безучастных тут не будет.

Но страхи были напрасными. Первым выступил саратовский делегат Горин, и его выступление потому особенно было дорого, что он был сугубо практический работник, непосредственного касательства к делам «Искры» не имевший. Он предложил Центральным Органом признать «Искру» — ввиду того, подчеркнул он, что «Искра» выполняла и выполняет фактически роль руководящего органа всей революционной социал-демократии. Его безоговорочно поддержали Егоров, южнорабоченец, уфимский делегат Муравьев.

Бауман легко представлял себе, каково было слушать все это Акимову, одному из редакторов «Рабочего дела». Неужели промолчит? Вообще-то, подумал Бауман, разумнее всего — перед лицом такого единодушия — именно промолчать, смириться; ведь это же конфуз будет, если Акимов и в самом деле

станет, в пику «Искре», нахваливать свою газетенку.

Конфуз и вышел. Когда окончательно стало ясно, что акции «Рабочего дела» весьма и весьма невысоки, Акимов, а заодно с ним и сестра его, Лидия Брукэр, представлявшая петербургскую «Рабочую организацию», очертя голову ринулись в бой. Поминутно требуя, чтобы каждое их возражение всенепременно было особо занесено в протокол, они повели вдруг разговор о том — тактично ли, мол, проводила «Искра» свою линию. Брукэр (она-то и выказала наибольшую прыть) вопрошала, например, с надрывом:

— Можем ли мы принять на себя ответственность за «Искру», за все те ошибки и бестактности, которые совершила группа лиц, ею руководившая? Я считаю своим долгом,— почти кричала она,— предупредить товарищей, что признание «Искры» партийным органом будет служить одним из больших препятствий для объединения всех социал-демократических течений в одну партию.

Бауман, слушая ее, почти не сомневался, что такая неприкрытая враждебность к искровскому направлению могла вызвать лишь обратную реакцию. Так и вышло. Сама того не желая, Брукэр не просто подогрела страсти — она направила их против себя. Шум негодования заполнил зал. Делегаты рвались на трибуну. Все сходились на одном: если «Искра» была для нас руководящим органом в эпоху партийной смуты, хаоса и шатаний, то, признав ее теперь центральным органом, мы тем самым сформулируем победу ее направления.

Бауман не выступал. Как и другие агенты и активные работники «Искры», он не считал себя вправе вмешиваться в развернувшуюся дискуссию. Он слушал, а перед глазами его вставала низенькая, в три

окна, типография Германа Рау в то декабрьское (почти три года назад) ненастное утро и приткнувшийся в уголке, последний раз вычитывающий гранки Ленин, и то, как они (Ленин по одну сторону, а он сам по другую) стояли около старенького типографского станка, ожидая, когда выползет на лоток первый оттиск, и как он, наконец, появился — тонкий газетный лист с крупными, от поля до поля разбежавшимися буквами: ИСКРА.

Заседание меж тем шло к концу. Почти единогласно была принята резолюция, объявлявшая «Искру» Центральным Органом партии. Против было подано только два голоса — Акимова и Брукэр. Редакция «Искры», из соображений морального порядка, воздержалась от голосования.

...Но даже и теперь Бауман не торопился торжествовать. Выигрыш, пусть и явный, на одном из участков не означал еще полной победы. В повестке дня съезда оставалось добрых полтора десятка вопросов — решение любого из них могло вызвать непредвиденные осложнения.

3

Осложнения начались очень скоро — правда, пришли они совсем не с той стороны, откуда ждал их Бауман.

Съезд проходил в условиях строжайшей конспирации. Казалось, сделано было все, чтобы не привлечь внимания полиции: делегаты, приехавшие из России, обрели новые псевдонимы; на улицах старались вести нейтральные разговоры, избегая при этом говорить по-русски; да и заброшенный склад был выбран для заседаний не без умысла — вряд ли кому придет в голову, что съезд может проводиться в столь неподхо-

дящем помещении. Не прошло, однако ж, и трех дней — стало ясно, что над съездом сгущаются тучи. Первым заметил слежку за собой Гусев. Для проверки он сговорился с одесским делегатом Костичем, чтобы тот сопровождал его, идя на некотором расстоянии сзади и по другой стороне улицы. Сомнений не было: за Гусевым шли два шпика. Рассказывая об этом, Гусев на чем свет стоит клял себя — дескать, это его чересчур громкое пение в «Золотом петухе» навело полицию на след.

Но дело, как выяснилось, было не в одном Гусеве. На следующий день слежка за делегатами приняла совсем уж беззастенчивый характер. Шпики действовали открыто, ходили следом, совершенно не таясь. Однажды и Бауман столкнулся с одним из них. Он шел вместе с Лядовым, возвращались с вечернего заседания в гостиницу. Вдруг заметили — какой-то человек в котелке упорно идет за ними. Ускорили шаг — он тоже, человек этот, зашагал быстрее. Свернули в проулок — он туда же. Пошли медленней — преследователь не стал обгонять их. Явный шпик! Посмеявшись над тем, что русские шпики и то так глупо себя не ведут, решили проучить незадачливого сыщика. Пошли за товарные склады на станцию; господин в котелке и тут, понятно, не захотел отстать. А вокруг ни души: время позднее. Тогда Бауман и Лядов неожиданно остановились и, приблизившись к нему, шепотом, но весьма внушительно дали ему понять, что если он моментально не исчезнет, они за себя не ручаются; а чтобы у него не оставалось никаких сомнений в серьезности их намерений, Бауман многозначительно сунул руку в карман — как если бы там был револьвер. Сыщика словно ветром сдуло!

Смех смехом, а дело принимало крайне неприятный оборот. Гусева для выяснения личности вызвали

в полицию. Ему пришло на ум назваться румынским студентом Романеску. Цель приезда в Брюссель? Сердечные дела, да, да, сугубо интимное дело! В тот же вечер два полицейских агента в штатском явились на квартиру к Шотману и Степанову, предложили им заполнить опросный лист. Шотман, финн по национальности, знал несколько шведских слов; назвался Сундстремом, родом из Стокгольма. Степанов превратился в Викстрема из Упсалы... Все это были тревожные признаки. Тринадцатое заседание, назначенное на утро 24 июля, решили провести вечером, а тем временем Плеханов и Кольцов отправились к Вандервельде, лидеру бельгийских социал-демократов, ранее заверявшему, что в Брюсселе делегаты будут чувствовать себя в полной безопасности.

Вандервельде быстро навел необходимые справки. Ничего утешительного, увы. Русское министерство иностранных дел, как выяснилось, сообщило через своего посла, что в Брюссель будто бы приехали видные русские анархисты; ну, а поскольку между всеми европейскими странами существует соглашение о немедленной выдаче анархистов властям, Вандервельде, сам переполошившись не на шутку, советовал как можно скорее выехать из Бельгии — иначе может последовать арест делегатов и высылка их в Россию. Сомневаться в благоразумности этого совета не приходилось: еще до возвращения Плеханова и Кольцова от Вандервельде вызванным срочно в полицию Землячке, Гусеву, Кнунянцу и Зурабову предложили в 24 часа покинуть пределы Бельгии. Тут уж нельзя было мешкать.

Договорились перенести съезд в Лондон. Ближайший пароход отправлялся в Англию только утром, но это не беда — к утру сутки еще не истекали. Чтобы не тратить понапрасну времени, все же провели ве-

чернее заседание, успев заслушать на нем доклады, представленные комитетами. Бауман сделал доклад о социал-демократическом движении в Москве.

Исходный тезис этого его доклада (основанного главным образом на личных наблюдениях) был тот, что в то время как социалистические идеи с каждым годом захватывают все большее и большее количество городов, проникают даже в самые глухие провинциальные уголки, в Москве резко бросается в глаза постепенное ослабление, а в ряде случаев и полное уничтожение социал-демократического влияния на рабочую массу. Отчетливо сознавая, сколь безрадостна такая оценка положения дел в Москве, Бауман подчеркнул, что тем не менее считает своим долгом сказать съезду голую правду, как бы прискорбна она ни была. Факты же, если не обманывать себя, говорят о том, что в Москве революционная социал-демократия спасовала перед полицейским социализмом. Деятельность зубатовской охранки, сумевшей арестовать наиболее опытных революционеров, привела к тому, что среди москвичей развилась своего рода мания — везде и всюду видеть провокаторов, и эта боязнь провокаторства, говорил Бауман, дошла до такой степени, что некоторые деятели стали принципиально отрицать возможность какой-либо организации в Москве. Между тем это не так. И исключительно неблагоприятные условия, не позволявшие до сих пор по-настоящему укрепиться здесь, не должны, однако, пугать нас в будущем.

— Мы не предлагаем,— сказал он в заключение,— никаких новых специфических средств для возрождения социал-демократического движения в Москве. Таких средств нет. Нужно только, чтобы организационная работа перешла в надежные руки. Пока существовал хаос в наших рядах, мы волей-

неволей должны были мириться с печальной участью московского социал-демократического движения. С того же момента, как Российская социал-демократическая рабочая партия вновь организуется, мы обязаны во что бы то ни стало поставить на ноги работу в Москве. Дело московского пролетариата партия должна сделать своим собственным делом. Завоевание крепости зубатовщины есть вопрос долга и чести обновленной партии. Первые успехи в Москве будут лучшим залогом нашей скорой и окончательной победы...

На съезде доклады не обсуждались. Но на пароходе, когда переправлялись через Ла-Манш, много было о них разговоров. В связи с сообщением Баумана кое-кто откровенно злорадствовал: вот, мол, даже в Москве искровцы не сумели овладеть положением, ухмылкой своей весьма прозрачно намекая на то, что уж они-то (рабочедельцы, скажем), дай им только возможность, они-де быстро перевернули бы все по-своему. Цейтлина, второго московского делегата, намеки эти вывели из равновесия. Уединившись с Бауманом на верхней палубе, он затеял «мужской» разговор. Какое, спрашивал он, Бауман имел право выставлять дела в Москве в столь неприглядном свете? Ведь за последнее время не так уж мало сделано. Да что там говорить, горячился он, одного того, что сделал в Москве сам Бауман, с лихвой хватило бы для самого оптимистического отчета! В конце концов он договорился до того, что доклад Баумана — акт предательства по отношению к московской организации. Что ж, согласился Бауман, поначалу сдерживаясь еще, кое-что и впрямь сделано, может быть, и немало, но дает ли это нам право бить в победные литавры? Нет и нет. Разве не ясно, что достигнутые успехи крайне недостаточ-

ны? Почему? Да потому хотя бы, что Москва с ее многотысячным пролетариатом так и не стала авангардом движения в России... Закончил и вовсе резко: нет большего преступления для революционера, чем затушевывать, смазывать слабости и недостатки — и во имя чего! Для того только, чтобы хоть на одну минутку выглядеть получше?! Ну не позор ли это, не обывательщина ли, многоуважаемый товарищ Цейтлин? Кого, собственно, мы собираемся обманывать? Себя?.. И тогда Цейтлин сказал нечто странное. «Вы со своим Лениным доведете съезд до ручки! — зло сказал он.— Но это вам не удастся, не удастся!»

Было, конечно, очень соблазнительно думать, что уже тогда, на пароходе, он, Бауман, понял, что сказано это было неспроста. Но увы — чего не было, того не было... Впоследствии, через несколько дней, воссоздавая в памяти весь этот разговор, Бауман удивлялся сам себе, как мог он не придать значения столь явной угрозе. В тот момент он посчитал, что вконец разозленным Цейтлиным движет лишь желание побольнее ужалить,— потому Бауман и прекратил сразу разговор. И только через несколько дней — почти тотчас, как съезд продолжил свои заседания в Лондоне,— стал проясняться истинный смысл того, что имел в виду Цейтлин...

4

Четырнадцатое заседание (первое в Лондоне) открылось 29 июля докладом Ленина об уставе партии. Сперва все было так, как Бауман и ожидал: рабочедельцы и бундовцы, естественно, встретили устав в штыки; особенно их не устраивала (и об этом тоже легко было догадаться заранее) организационная

структура руководящих органов, основанная на демократическом централизме.

Но потом начались неожиданности. Докладчик уставной комиссии объявил вдруг, что так как по пункту первому устава, о членстве в партии, голоса в комиссии разделились, этот пункт вынесен для обсуждения в двух формулировках — Ленина и Мартова. Вот тут-то Бауман почему-то и вспомнил зловещие слова Цейтлина и, еще не зная, в чем суть разногласий, невольно напрягся внутренне.

Ленин предлагал признать членом партии того, кто, разделяя программу партии и оказывая партии материальную поддержку, входит в какую-нибудь партийную организацию,— Мартов же находил достаточным, кроме первых двух условий, работу под контролем одной из организаций. Различие, казалось бы, небольшое на первый взгляд, даже чисто словесное. Но в действительности оно вовсе не было таким безобидным. Бауман понимал, что оно затрагивает самую сердцевину создаваемой партии, как бы предрешая вопрос, какой ей быть.

Как же так, в растерянности думал Бауман. Было бы еще понятно, если бы такую, открыто оппортунистическую формулировку, каковой с несомненностью была эта формулировка, внесли бундовцы, или рабочедельцы, или, на худой конец, южнорабоченцы. Но Мартов, Мартов! Бауман видел, как переглядываются в недоумении Акимов и Либер,— по-видимому, даже для них такой поворот был неожиданным. Еще бы: искровцы пошли против искровцев! Нет ли тут возможности взять реванш, протащить то, на что, перед лицом «компактного» большинства искровцев, и надеяться нельзя было?..

Повисла в зале пауза какого-то прямо-таки физически ощутимого замешательства. Бауман, досадуя

на себя, думал о своей близорукости, думал о том, что, выходит, способен угадывать лишь ближайшие (те, что на поверхности) ходы противников. Противников! В этом-то вся штука. Кто мог, кто в состоянии был предугадать, что, нанося этот предательский (потому что в спину) удар, таким «противником» станет Мартов?!

На трибуну поднялся Аксельрод. Бауман решил, что Павел Борисович по обыкновению попытается примирить обе формулировки. Но тут же понял — воистину не может быть половинчатых суждений, когда решается вопрос такой принципиальной важности. Аксельрод безоговорочно высказался за формулировку Мартова — против слишком уж, по его мнению, больших строгостей в партии. Говорил он с редкостным спокойствием, ну прямо как лектор, разъясняющий нечто бесспорное.

— В самом деле,— нес он какую-то несуразицу,— возьмем, например, профессора, который считает себя социал-демократом и заявляет об этом. Если мы примем формулу Ленина, то мы выбросим за борт часть людей, хотя бы и не могущих быть принятыми непосредственно в организацию, но являющихся тем не менее членами партии. Мы должны подумать о том, чтобы не оставить вне партии людей, сознательно, хотя и, быть может, не совсем активно примыкающих к этой партии.

Слушать Павла Борисовича было странно. Бауман не понимал, как может человек, считающий себя марксистом, смешивать партию, то есть передовой отряд класса, со всем классом? И как можно забывать о том, что весь класс, при капитализме во всяком случае, просто не в состоянии подняться до сознательности и активности своей партии? В какую-то минуту Бауману подумалось даже, что он не так

понял Аксельрода. Но нет, ошибки не было. И, словно для того, чтобы рассеять малейшие, буде у кого такие имеются, сомнения на сей счет, Мартов, взявший вслед за Аксельродом слово, тут же заявил с вовсе уже обескураживающей определенностью:

— Чем шире будет распространено название члена партии, тем лучше!

— Но в таком случае,— кто-то подал реплику с места,— придется членом партии считать всех и каждого, любого демонстранта и стачечника?

Мартов не раздумывал над ответом.

— Если хотите — да! — даже с вызовом как бы бросил он в зал.— Нужно только радоваться, если каждый стачечник, каждый демонстрант, отвечая за свои действия, сможет объявить себя членом партии!

Чудовищно. Скажи кто-нибудь, даже вчера еще, что до такой совершеннейшей глупости способен договориться Юлий Мартов, Бауман принял бы это за неумный розыгрыш. Ведь именно на примере стачечника, именно на этом прямо-таки хрестоматийном примере особенно ясно видна разница между стремлением социал-демократически руководить каждой стачкой и оппортунистическим желанием объявить членом партии каждого стачечника. Невольно подумалось, что даже «экономисты» вряд ли осмелились бы ныне так открыто высказывать свои взгляды. Ну, а теперь, после Мартова, им, конечно, легче — вон как тянут руки Либер и Акимов! Они (естественно!) присоединились к Мартову. При этом Акимов сказал нечто знаменательное — что, соглашаясь с Мартовым, он боится, как бы это не послужило Мартову во вред. Прекрасно: даже и Акимов, значит, понимает, какую службу может сослужить его «присоединение»...

Во время перерыва делегаты разбились на группы, в каждой из них даже со стороны заметен был свой лидер, потом группки сливались, вновь разделялись,— словом, происходила вполне понятная пересортировка сил. И через полчаса получилось так, что осталось всего две группы. К удивлению своему, Бауман обнаружил, что рядом с Мартовым были не только Аксельрод, а и Засулич, и Дейч, и Потресов, не только бундовцы и рабочедельцы, а и представители группы «Южный рабочий». Рядом с Лениным — это тоже бросалось в глаза — были главным образом российские практики, те, кто работал непосредственно в гуще рабочих: они-то отлично знали, как опасно слишком широко открывать двери в партию. Чуть поодаль, задумчиво глядя в окно, стоял Плеханов. Один. Заговорить с ним так никто и не решился. Так что до самого начала заседания было непонятно, чью же сторону возьмет он.

Выступил он вслед за Мартовым, который решительно отверг все возражения о неосуществимости предлагаемого им контроля организаций над членами партии.

— Я не имел предвзятого взгляда на обсуждаемый пункт устава,— с легкой улыбкой и как-то, показалось Бауману, слишком уж по-домашнему начал он.— Еще сегодня утром, слушая сторонников противоположных мнений, я находил, что «то сей, то оный на бок гнется»...

Что это, в недоумении спрашивал себя Бауман. Можно ль поверить, чтобы по такому основному — организационному — вопросу Плеханов не имел «предвзятого», заранее обдуманного взгляда? Или это, может быть, просто дипломатический ход по отношению к своему другу, к Аксельроду? Желание подзолотить ему пилюлю?.. Но едва Плеханов заго-

ворил дальше, стало понятно, что это не больше чем обычные и почти неизбежные плехановские предисловия к речи,— на самом же деле он и минуты, конечно, не колебался.

— Но чем больше,— после паузы продолжал Плеханов,— говорилось об этом предмете и чем внимательнее вдумывался я в речи ораторов, тем прочнее складывалось во мне убеждение в том, что правда на стороне Ленина. Весь вопрос сводится к тому, какие элементы могут быть включены в нашу партию. По проекту Ленина, членом партии может считаться лишь человек, вошедший в ту или иную организацию. Противники этого проекта утверждают, что тем самым создаются какие-то излишние трудности. Но в чем заключаются эти трудности? Говорилось о лицах, которые не захотят или не смогут вступить в одну из наших организаций. Но почему *не смогут?* Как человек, сам участвовавший в русских революционных организациях, я скажу, что не допускаю существования объективных условий, составляющих непреодолимое препятствие для такого вступления. А что касается тех господ, которые *не захотят,* то их нам и не надо. Здесь сказали, что иной профессор, сочувствующий нашим взглядам, может найти для себя унизительным вступление в ту или другую местную организацию. По этому поводу мне вспоминается Энгельс, говоривший, что, когда имеешь дело с профессором, надо заранее приготовиться к самому худшему...

Раздался смех в зале. Плеханов и сам поулыбался.

— В самом деле, пример крайне неудачен. Если какой-нибудь профессор, скажем, египтологии, на том основании, что он помнит наизусть имена всех фараонов и знает все требования, какие предъявлялись

египтянами к быку Апису, сочтет, что вступление в нашу организацию ниже его достоинства, то нам не нужно такого профессора. Говорить же о контроле партии над людьми, стоящими *вне* организации, значит играть словами. Фактически такой контроль неосуществим. Не понимаю я также, почему думают, что проект Ленина закрывает двери в нашу партию множеству рабочих. Рабочие, желающие вступить в партию, не побоятся войти в организацию. Им не страшна дисциплина. Побоятся войти в нее многие интеллигенты, насквозь пропитанные буржуазным индивидуализмом. Но это-то и хорошо. Эти буржуазные индивидуалисты являются обыкновенно также представителями всякого рода оппортунизма. Нам надо отдалять их от себя. Проект Ленина может служить оплотом против их вторжений в партию, и уже по одному этому за него должны голосовать все противники оппортунизма.

Ленин еще не выступал в защиту своей формулировки. Бауман подумал, что после речи Плеханова вряд ли это и нужно: сказано все и сказано так сильно. Но Ленин все же взял слово. Не повторяя Плеханова, он подошел к вопросу с другой стороны.

— Корень ошибки тех, кто стоит за формулировку Мартова,— сказал он,— состоит в том, что они не только игнорируют одно из основных зол нашей партийной жизни, но даже освящают это зло. Состоит это зло в том... что нам до последней степени трудно, почти невозможно отграничить болтающих от работающих. Формулировка Мартова неизбежно стремится *всех и каждого* сделать членами партии; Мартов сам должен был признать это с оговоркой — «если хотите, да», сказал он. Именно этого-то и не хотим мы! Лучше, чтобы десять работающих не называли себя членами партии (действительные работ-

ники за чинами не гонятся!), чем чтобы один болтающий имел право и возможность быть членом партии. Вот принцип, который мне кажется неопровержимым и который заставляет меня бороться против Мартова... Наша задача — оберегать твердость, выдержанность, чистоту нашей партии. Мы должны стараться поднять звание и значение члена партии выше, выше и выше — и поэтому я против формулировки Мартова.

Бауман обратил внимание на то, что Мартов слушает Ленина с улыбкой, но какая же это была вымученная, приклеенная улыбка! Что ж, можно было только посочувствовать Мартову: не часто, должно быть, приходилось ему выдерживать такой сокрушительный натиск. И главное, при всей своей хирургической жестокости, анализ Ленина был неотразим. Что сможет противопоставить этому Мартов? Многие, заметил Бауман, повернулись к Мартову, но тот делал вид, что не замечает устремленных на него взглядов,— все так же вымученно улыбаясь, он протирал пенсне. Зато потребовал слова Акимов.

— Вопрос о выборе одного из двух текстов первого параграфа устава разделил товарищей, до сих пор всегда голосовавших вместе,— с нескрываемым удовлетворением отметил он. Но тут же и предупредил чересчур доверчивых: — Между тем обе формулировки, в сущности, имеют в виду одну и ту же цель. Мартов и Ленин спорят лишь о том, какая лучше достигает их общей цели. Я же хочу выбрать ту формулировку, которая м е н ь ш е достигает цели. Вот почему я выбираю формулировку Мартова.

Яснее не скажешь,— браво! Чем хуже, тем, следовательно, лучше... Неужели, подумал Бауман, и такое вот выступление не подскажет Мартову, в какое болото он скатывается?

Мартов так и не выступил. Обошелся.

Перед голосованием объявили перерыв. Опять две группы; Плеханов вместе с Лениным. Но были и те, кто метался еще; оставалось гадать лишь, что внесло разлад в их души — бескомпромиссность речи Плеханова или же, напротив, предельный цинизм выступления Акимова. Особенно, запомнилось, маялся, не зная, к кому примкнуть, Орлов, делегат Екатеринославского комитета. Парень молодой, года что-нибудь двадцать два — двадцать три, очень непосредственный, он подошел к Плеханову, «пожаловался» на свою нерешительность:

— Я — как буриданов осел... ну, тот, что не знал, какую охапку сена выбрать...

Плеханов, даже не улыбнувшись, спросил:

— Почему же, собственно, буриданов?..

Уже во время перерыва стало ясно: проект Мартова может собрать большинство голосов только в том случае, если за него отдадут свои голоса бундовцы и рабочедельцы.

Отдали...

Большинством в шесть голосов при одном воздержавшемся прошел первый пункт устава, предложенный Мартовым; воздержавшимся был Орлов.

Бауман был подавлен: до самой последней минуты он все же надеялся, что итог голосования будет иной. Он чувствовал себя опустошенным, какое-то отупение (как всегда бывает в первые минуты после несчастья) охватило его. «Победители» тоже не ликовали. Расходились все молча, понуро, точно с похорон. Как вдруг эта сценка... она не просто вывела его из оцепенения: она перевернула все в нем. Затеял разговор голосовавший за Мартова Крохмаль. В вестибюле он подошел к Ленину и — то ли сочувствуя, то ли оправдываясь — сказал:

— Какая все-таки тяжелая атмосфера царит у нас на съезде! Эта ожесточенная борьба, эта агитация друг против друга, эта резкая полемика!..

Ленин рывком обернулся, вскинул голову.

— Какая прекрасная вещь — наш съезд! Открытая свободная борьба. Мнения высказаны. Оттенки обрисовались. Группы наметились. Руки подняты. Решение принято. Этап пройден. Вперед! — вот это я понимаю. Это — жизнь. Это не то что бесконечные, нудные интеллигентские словопрения, которые кончаются не потому, что люди решили вопрос, а просто потому, что устали говорить...

Крохмаль растерянно и даже как-то испуганно смотрел на Ленина. Бауман перехватил этот взгляд и тут же поймал себя на мысли, что и сам немало удивлен, так разительно не совпадало его восприятие случившегося с тем, что говорил Ленин, вернее — как говорил. Ни капли уныния — вот что больше всего поразило Баумана. Что это? — спрашивал он себя. Показное, на публику, бодрячество? О нет, что угодно, только не это. Была, пожалуй, злость. Да, именно так: злость. Добрая бойцовская злость. Злость человека, который все равно, несмотря ни на какие поражения, будет идти до конца. Бауман неожиданно понял, что в эту минуту он постиг суть Ленина больше и глубже, чем когда бы то ни было раньше. Урок, который, сам того не желая, преподал ему сейчас Ленин, был горький, но и живительный.

5

И все-таки... То, что произошло, было все-таки непостижимо. Если чего Бауман и опасался, обдумывая предстоящий съезд, так это того, что на съезде развернется (как отголосок трений по выработке программы) борьба с Плехановым. Но уж никак не с

Мартовым. Тем не менее — Мартов. И дело тут вряд ли было в том, будто Мартов, как толковали охочие до сплетен, поднял бунт лично против Ленина,— Бауман отбрасывал мысль, что здесь какую-то роль могло играть болезненное самолюбие Мартова, его желание противостоять все возраставшему в партии влиянию Ленина. Пытаясь хоть как-то объяснить себе причину, побудившую Мартова так решительно уклониться от той искровской линии, которой он последовательно придерживался раньше, Бауман все больше склонялся к тому, что дело тут прежде всего в глубоко ошибочной оценке Мартовым условий существования партии в России.

Но бог с ним, с Мартовым. Хуже было другое: баллотировка по первому пункту устава наглядно показала, что Мартов, за которым шла лишь незначительная часть искровцев, сумел победить единственно только благодаря содействию бундовцев и рабочедельцев, которые, конечно, сразу смекнули, «что́ похуже» и где есть желанная для них щелочка. Обнаружился реальный факт, с которым отныне нельзя было не считаться: Бунд вкупе с рабочедельцами может определить судьбу любого решения съезда. Ничего не скажешь, с досадой думал Бауман, в хорошенькую же компанию угораздило попасть товарища Мартова!

Правда, незаметно было, чтобы это доставляло ему радость. Он даже внешне изменился, Мартов. Ходил как-то сгорбившись, одно плечо много выше другого; лицо бледное, с ввалившимися щеками, бородка всклокочена. Временами он вызывал у Баумана острую жалость. Подмывало подойти к нему, потолковать по душам. Но нет, даже и на нейтральные темы разговаривать с ним было невозможно. И без того экспансивный, чересчур возбудимый, он был те-

перь особенно нервозен, не дослушивал, то и дело срывался на крик.

Напряженная была обстановка на съезде. Даже Ленин стал сдавать; хотя и старался держаться ровно, но было видно, с каким трудом дается ему это. Крупская попросила Баумана поговорить с Лениным: последние дни почти ничего не ест, совершенно перестал спать, волнуется ужасно — дошел до точки. Бауман, однако, не касался в разговорах с Лениным этой темы. Он хорошо понимал Ленина: сам тоже жил в крайне нервном напряжении.

С каждым днем все яснее становилось: дальнейшее — судьба уже не только съезда, но и самой партии — зависело теперь всецело от того, какие будут приняты решения и, главное, какой состав руководящих органов (в частности, ЦК) будет проводить решения в жизнь. В этих условиях и для выработки желательного состава будущего ЦК большинство искровцев настояло на проведении частного собрания организации «Искра». Бауман тоже считал, что это разумный шаг. Но собрание ничего не дало. Мартов упрямился, капризничал, так ни на чем и не сошлись. Налицо был явный раскол. Искровцы, как ни горько было это сознавать, разбились с этого момента на две партии, даже и заседавшие теперь порознь. Ленинцы имели 24 решающих голоса, мартовцы — 9.

И тут Мартов, которого в преддверии выборов, разумеется, никак не могло устроить такое соотношение сил, повел атаку с другой стороны: начал вдруг жаловаться всем и каждому на неуступчивость «большинства», на то, что его порочат, «пятнают», облыжно обвиняют в оппортунизме. Это было уже ни на что не похоже. Надо было встретиться с ним, попы-

таться столковаться в последний раз. Для переговоров выбрали Крупскую и Баумана.

С самого начала, едва они с Крупской переступили порог, Мартов взял какой-то странный тон. О, такие дорогие гости! Неужели они хотят удостоить его, «закоренелого» оппортуниста, чести разговаривать с ними?!

Нетрудно было догадаться, что имеет в виду Мартов. Ему не давали покоя слова Плеханова, что за ленинскую формулировку будут голосовать все противники оппортунизма,— вот к этим-то словам (стократ, кстати, справедливым теперь, когда союз Мартова с оппортунистами из Бунда и «Рабочего дела» стал фактом) он и прицепился. Бауман хотел уйти от разговора на эту тему — слишком далеко она могла увести. Он сказал, что вряд ли стоит сейчас касаться прошлого, не лучше ли поговорить о предстоящих делах? В частности, заслуживает сугубого, на его взгляд, внимания вопрос о составе руководящих органов.

Но нет, Мартов ни о чем другом, кроме как о своей обиде, не желал говорить. Начав с высокой ноты, он очень скоро, и минуты не прошло, довел себя до полной истерики. Кто оппортунист, выкрикивал он, кто? Неужто и впрямь он, Мартов? Или Аксельрод? Засулич? Не слишком ли много берут на себя Плеханов, Ленин и их подпевалы? Какие основания у них считать, что только они правы?

Что же до России, до революции, то только слепые могут не видеть, что сейчас они, как никогда, нуждаются в большой, сильной партии!

— Большой или сильной? — уточнил Бауман.

— Большой и **поэтому** сильной! — с раздражением ответил Мартов. А вот Ленин, «ваш Ленин», своим пунктом устава хотел обкорнать партию, обес-

кровить! Нет, не вышло! И не выйдет! А что большинство искровцев покамест не на его, Мартова, стороне — это ровно ничего не значит. Он приложит все силы, чтобы раскрыть им глаза на действительное положение вещей!

Слушая эти выкрики, Бауман чувствовал себя беспомощным перед такой вот интеллигентской хлюпкостью, заставляющей даже и умного человека говорить вздор и сводить серьезное политическое расхождение к обыкновенной дрязге. Чем больше говорил Мартов, тем отчетливее Бауман понимал, что да, наверное, не так уж неправы те, кто, говоря о побудительных мотивах поведения Мартова, делает упор на его ущемленное, уязвленное самолюбие. Но главное было даже не это. В словах Мартова было такое полное непонимание обстановки в России и реального соотношения сил в революции, что невольно закрадывалась мысль: полно, а понимал ли он это хоть когда-нибудь по-настоящему? Может, делал вид только, что понимает?

Вначале Бауман поражался откровенности, с какой Мартов высказывал свои теперешние взгляды и намерения. Ведь он вполне мог и уйти от прямого разговора, попытаться как-нибудь сгладить углы; это было бы даже выгодно ему — до поры до времени не раскрывать свои карты. Но Мартов вряд ли думал сейчас об этом. Обида и ярость ослепили его. Он явно не отдавал себе отчета в том, что говорит, и наговорил много лишнего, вероятно, просто так, со зла. Хотелось думать, что и угрозы его — пустые, для собственного скорей ублажения.

Когда он наконец выговорился и обрел способность слушать, Крупская сказала — щадяще, мягко:

— Юлий, я понимаю, обида застилает вам

глаза. Но представляете ли вы себе, куда может завести вас эта нелепая обида?

Мартов с раздражением, срывающимся почему-то голосом ответил, что он отлично знает, что делает, и ни в чьих советах не нуждается. Тогда Бауман сказал, что самое опасное, в конце концов, состоит даже не в том, что он, Мартов, попал в окружение оппортунистов, сыграл им на руку, а в том, что, быть может, случайно попав в их компанию, он не только не пытается выбраться из этого болота, а, напротив, погружается в него все больше и больше. Мартов опять закричал, что еще неизвестно, кто из них в болоте — он или они сами, что он еще покажет всем, где раки зимуют... Дальше разговаривать не имело смысла. Бауман и Крупская ушли с ощущением, что главные бои — впереди.

А на съезде тем временем своей чередой шли заседания. Перешли уже к решению вопроса, который кто-то лихо назвал «убиением младенцев». Убиение это — то есть роспуск, в связи с образованием единой партии, всех отдельных организаций и групп — проходило в довольно болезненной обстановке. В то время как представители «Искры» и «Освобождения труда» сами объявили о роспуске своих организаций, представители Бунда и «Рабочего дела» всеми силами старались сохранить свою обособленность и независимость — давала о себе знать злодейка-кружковщина! И вот тут-то в полной мере сказался трагикомизм положения Мартова и его сторонников. С одной стороны, им нельзя было «сердить» бундовцев и рабочедельцев, чьи голоса еще понадобятся им при выборах руководящих центров, но и поддерживать всенародно упрямцев тоже было не с руки. Это значило бы публично признать, что мартовцы вступают на путь уже прямого соглашения с откро-

венно оппортунистическими элементами. И хочется, словом, и колется...

«Колется» взяло перевес. Когда Акимов, явно рассчитывая на поддержку Мартова, заявил, что он не согласен с ликвидацией «Союза русских социал-демократов за границей», потому что усматривает в этом желание большинства съезда уничтожить организацию инакомыслящего меньшинства, и вдобавок с вызовом и угрозой заметил еще, что даже и ликвидация «Союза» не поможет, ибо идейная борьба, которая до сих пор велась в партии, несомненно, не закончена, она будет, «верьте моему слову», продолжаться в иных плоскостях и при иной расстановке сил,— против этого вынужден был восстать даже Мартов. Очевидно, желая застраховать себя от обвинений в отступничестве, он, на одну минуту показав себя подлинным искровцем, разъяснил Акимову, что смысл съезда отнюдь не в том, чтобы санкционировать победу одного направления, а в том, именно в том, чтобы раз и навсегда покончить с течениями и всякого рода комбинациями. Акимов не стерпел такого «вероломства» от человека, которого совсем недавно поддержал своим голосом, и преядовитым тоном провидца сказал буквально следующее:

— Что же касается мнения Мартова, что напрасны мои надежды на возникновение иного течения в нашей партии, то я должен сказать, что даже он сам подает мне эти надежды...

Мартов сидел чуть впереди и вполоборота — Бауман видел, как отхлынула у него кровь от лица, как после этих слов побелел он мгновенно. Бауман ожидал, что Мартов немедленно выступит с отповедью. Но тот смолчал. Да и в самом деле, подумал через минуту Бауман, не возражать же против того, что относится к области прогнозов...

Акимов же, а вместе с ним и другой рабочеделец, Мартынов, как только были отвергнуты их притязания, тотчас покинули в знак протеста съезд — что означало то же, что уйти из партии.

— Ушел Мартын с балалайкой,— сказал им вслед Плеханов; сказал негромко, только Ленину и Красикову, сидевшим с ним за столом президиума, но в зале была такая тишина, что это слышали все.

А еще на предыдущем заседании делегаты подавляющим большинством голосов отклонили требование бундовцев признать Бунд единственным представителем еврейского пролетариата в партии. Тогда делегаты Бунда ушли со съезда, заявив о выходе их организации из партии.

Мартовцы, таким образом, сразу лишились семерых верных своих союзников. Можно было только радоваться этому. Ситуация перед выборами складывалась теперь так, что из 44 оставшихся голосов большинство — 24 голоса — принадлежало последовательным искровцам. Но Бауман понимал — «добровольной» сдачи не будет, так легко Мартов не сложит оружия, нет.

И все-таки решающий момент наступил неожиданно для Баумана.

6

Когда Плеханов объявил, что на очередь — в соответствии с утвержденным порядком дня — ставится вопрос о выборах в центральные учреждения, и Кнунянц, первым взявший слово, предложил избрать две тройки — как в ЦК, так и в редакцию «Искры»,— Бауман не думал, что это предложение может встретить противников. Идея о двух «тройках», вовсе не новая, была известна решительно всем

и ни у кого пока что не вызывала возражений. Поэтому, когда представитель меньшинства, Посадовский, счел предложение о выборах трех редакторов неприемлемым, Бауман подумал, что это заявление, конечно же, не найдет поддержки.

А Посадовский, аргументируя свои возражения, говорил между тем вещи в достаточной мере странные. Мы знаем, говорил он, одну цельную «Искру», и именно это целое мы признали своим партийным органом. Но как мы можем знать, кто из старой редакции какую роль играл в ней? Какие мотивы могут быть выставлены в защиту «тройки»? Единственные, что при старом составе могли быть шероховатости, и для устранения этих шероховатостей необходимо сократить число редакторов. Но где уверенность, что без этих шероховатостей «Искра» была бы лучше? Отчего, наоборот, невозможно предположить, что именно благодаря им «Искра» вышла такая, какая она есть? А раз так — надобно оставить старую редакцию в прежнем составе...

Черт возьми, думал Бауман, черт их всех побери. Знакомая, в зубах навязшая песня: чем хуже, тем лучше! Еще один, притом наиблистательнейший, образчик того, как — в угоду групповым интересам — политическое решение вопроса подменяется обывательским рассусоливанием на тему личных взаимоотношений! Но и думая так, Бауман не догадывался еще, что именно сейчас Мартов и начнет свою главную атаку. Была даже минута, когда он подумал, что неумный демарш этот предпринят Посадовским по собственному почину, так сказать, без ведома Мартова.

Нет! Все было спланировано заранее! Мартов, понятно, не так прост, чтобы самому затевать скандал,
 нет, он выпустил на арену сначала Посадовского,

а когда тот пробил первую брешь, после этого уже и сам, всей своей мощью, устремился в пробоину, в надежде расширить ее. Словно бы опасаясь, что темноватые намеки Посадовского на некие «шероховатости» не получат дальнейшего, столь, как выяснилось, желательного ему развития, он поднялся и объявил:

— После того как прямо поставлен вопрос о внутренних отношениях в бывшей редакции «Искры», для устранения которых будто бы нужно сведение редакции до трех лиц, я и другие три редактора «Искры» — Засулич, Аксельрод и Потресов — считаем, что более удобно будет обсуждать этот вопрос в наше отсутствие. Поэтому мы уходим, рассчитывая, что в наше отсутствие товарищи смогут высказаться более свободно и непринужденно.

Ах черт, как благородно! Какая честность, какая принципиальность — ах, ах, ах!.. Нет никаких сомнений, что и этот маневр рассчитан загодя — иначе каким бы это, интересно, образом помянутая четверка редакторов, сидя порознь, могла, даже словечком не перекинувшись друг с другом, проявить вдруг такое беспримерное единодушие?

Четверка же, ведомая Мартовым, неторопливо тем временем направлялась к дверям. Расчет был очевиден: заставить съезд умолять их вернуться, и они, конечно, вернутся, но цена этой уступки — безоговорочное утверждение всей старой редакции целиком. Уже и раздавались, пока они шествовали по залу с оскорбленным видом, такие выкрики: вернуть! прекратить обсуждение! утвердить без обсуждения! Так что расчет их был не только очевиден, но, пожалуй, и безошибочен. И неизвестно, чем бы все это кончилось, если бы не выход, молниеносно найденный Плехановым. Поднявшись с места, он тут же заявил, что остальные члены редакции, то есть он и

Ленин, тоже покидают заседание, дабы и их присутствие не стесняло съезд.

Председательство перешло к Красикову. Но вести заседание было невозможно — какой-то ад кромешный! Все повскакали с мест, все кричат, недалеко было и до рукопашной. Такой был шум, что заглядывали прохожие, спрашивали, не нужно ли послать за полицией или за пожарниками. Колокольчик, которым изо всех сил тряс над головой Красиков, совершенно не был слышен. Особенно бесновался почему-то Троцкий; он кричал, что это варварство, это вандализм и свинство — так обижать, так оскорблять, так *убивать* честных и заслуженных ветеранов. Неведомо откуда у Красикова в руках появилась толстая суковатая палка, и он грохотал ею по столу, пока не затих шум.

Один за другим делегаты стали брать слово. Сразу выявились две противоположные точки зрения. Мартовцы, будто сговорившись (впрочем, именно сговорившись, это было ясно с самого начала), твердили одно и то же. Но, отстаивая «шестерку», они не выдвинули ни единого довода в ее защиту, даже не заикнулись о каких бы то ни было преимуществах ее перед «тройкой», а вместо этого апеллировали исключительно к жалости, кричали об обидах, будто бы наносимых отдельным лицам, о недоверии, будто бы выражаемом им. Стоило Костичу бросить вроде бы невинную фразочку о том, что «нам нет дела до личных отношений редакторов, мы не имеем права вмешиваться в эти отношения», как Царев уже задает вопрос — кому это, мол, понадобилось выделять тройку «лучших». А Посадовский, подхватив эстафету, уже прямо и недвусмысленно обвиняет: «Выбирая из шести лиц старой редакции трех, вы этим самым трех других признаете ненуж-

ными, лишними». И итог всему этому подводит Троцкий: «Съезд не имеет ни нравственного, ни политического права перекраивать редакцию!» Словом, разыграно все, как по нотам...

Против этой демагогии резко выступил Кнунянц. Основной довод, сказал он, которого придерживаются противники выбора тройки, сводится к чисто обывательскому взгляду на партийные дела. Если мы собрались сюда не для взаимно приятных речей, а для создания партии, то мы никак не можем согласиться с таким взглядом. Лишь одно обстоятельство должно приниматься во внимание — соответствие выбранного лица той должности, на которую он выбирается.

Гусев особо остановился на поведении Троцкого. Нападая на выбор троек, Троцкий, должно быть, начисто забыл, что не кто иной, как именно он (так же, впрочем, как и Мартов), с пеной у рта защищал эту идею на предсъездовских дискуссиях. Странная забывчивость! Если, резонно заметил Гусев, предложение о тройке так возмутило сегодня Троцкого, то приходится удивляться, почему же оно раньше не только не возмущало его, но, наоборот, заставляло произносить горячие речи в его защиту?

Троцкий, оправдываясь, не остановился перед ложью, сказал — неправда, ничего подобного я не защищал и защищать не мог. И ни к селу ни к городу добавил еще, что и вообще план избрания тройки принадлежит лишь одному из членов редакции, а именно — Ленину. Это была еще одна ложь, злая и преднамеренная! Не вышло так, попробуем, мол, подобраться с другого бока... Бауману доподлинно было известно, что Троцкий отлично знает, кому принадлежит идея тройки. И тем, что Троцкий, свалив «вину» на Ленина, перевернул все с ног на голову,

он нечаянно выдал главное, помимо своего желания пролил дополнительный свет на то, почему вдруг Мартов, автор избрания тройки, сам же и повел наступление против нее. Теперь, после наглой лжи Троцкого, политиканство Мартова и его сторонников выплеснулось наружу. Подоплека была Бауману совершенно ясна: ведь в случае расхождения всякая тройка всегда и неизбежно будет одной своей стороной обращена против каждого участника. До съезда чаще всего получалось так, что Мартов и Ленин выступали против Плеханова,— тогда-то Мартов и внес свой проект, сочтя его в тот момент выгодным для себя. Теперь же, когда Мартов увидел, что Ленин и Плеханов выступают единым фронтом и что, таким образом, будущая тройка скорей всего обернется против него, Мартова,— теперь он поднял восстание против своего же проекта и стал рьяным защитником прежней шестерки... Ошеломительная «принципиальность»!

Бауман потребовал слова, и, пока он пробирался к трибуне, Дейч, вне себя от ярости, кричал ему вдогонку:

— Посмотрим! Интересно, кто это еще решится поддерживать такое преступное предложение, как избрание трех!

Бауман стоял на трибуне, дожидаясь, когда председатель, Красиков, наведет порядок, утихомирит разбушевавшиеся страсти. Отсюда, несколько сверху, как-то особенно наглядно предстала перед ним картина раскола; зал именно раскололся, развалился, даже на глаз распался на две части: ленинцы, их было больше,— в одной стороне, мартовцы — в другой.

— Я вполне понимаю страстность настоящего спора,— получив наконец возможность говорить, ска-

зал он.— Но зачем прибегать к таким приемам, против которых мы всегда протестовали? Разве позволительно поведение тов. Дейча, когда он пытался демонстративно пригвоздить к позорному столбу товарищей, не согласных с ним? Таким образом, создалась невозможная атмосфера. Нам не раз указывалось, что мы здесь члены партии и должны, следовательно, поступать, руководствуясь исключительно политическими соображениями. А между тем в настоящий момент все свелось на личную почву, к вопросу о доверии или недоверии к отдельным редакторам. И даже целый ряд указаний на то, что проект порядка дня съезда составлен одним только редактором, принял совершенно нежелательный характер. Поэтому я должен сослаться на разговор с тов. Мартовым, от которого я узнал, что упомянутый проект был одобрен им самим и еще другим редактором...

Было уже поздно, обсуждение перенесли на утро. Выйдя из зала, Бауман увидел, как Засулич, тишайшая Вера Ивановна, доселе не смевшая, вероятно, даже в мыслях возражать Плеханову, что-то гневно, почти на крике, выговаривает своему кумиру. Плеханов, прикусив губу, отошел от нее и, заметив, что он не один тут, сказал с невеселой усмешкой:

— Я думаю, Вера Ивановна приняла меня за Трепова...

Утреннее заседание началось с того, что Красиков поставил на голосование резолюцию, предложенную Троцким: «Съезд признает необходимым утвердить бывшую редакцию «Искры» целиком, отклоняя выборы». Резолюция эта была отвергнута. Теперь стало уже возможным пригласить на заседание старую редакцию. Когда все шестеро вошли, Красиков сообщил им результаты только что закончившегося

голосования. Дискуссию, по разумению Баумана, не было смысла продолжать — столь убедительна и несомненна была победа большинства искровцев. Но Мартов, к его удивлению, все же взял слово — для заявления, как объяснил он, «от имени большинства бывшей редакции». Он был страшно бледен, Мартов, пенсне поминутно сползало на кончик носа, но говорил он медленно и оттого внятно, почти не заикаясь.

— Теперь, товарищи,— довольно спокойно проговорил он,— после того как отклонено предложение об утверждении старой редакции и решено, таким образом, выбрать редакцию из трех лиц, я от имени своего и трех других товарищей заявляю, что ни один из нас не примет участия в такой новой редакции. Лично о себе прибавлю, что если верно, что некоторые товарищи хотели вписать мое имя как одного из кандидатов в эту тройку, то я усматриваю в этом оскорбление, мною не заслуженное. Само предположение, что я соглашусь работать в реформированной таким образом редакции, я должен считать пятном на моей политической репутации...

Это был уже вызов съезду, прямой и недвусмысленный ультиматум: либо будет так, как я хочу, либо... либо раскол! Вероятно, даже сторонники Мартова не ожидали, что он решится на такой шаг: гул недоумения прошел по их рядам. И, верно, уловив эту растерянность, Мартов пошел еще дальше, бросил в зал (притом эдак небрежно, точно речь шла о пустяке) нечто совсем уж постыдное.

— Чтобы покончить с личной стороной дела,— с небрежной этой улыбочкой, громко и вызывающе возгласил он,— я скажу еще о вчерашнем утверждении Сорокина, будто бы предложение о тройке исходит от части бывшей редакции. Утверждение это



не соответствует истине, ибо предложение исходит от одного Ленина...

Бауман едва усидел. Непотребство какое-то! Нет, в самом деле, до какой же бездны нравственного — нет, политического! — падения надо дойти, чтобы в угоду интересам фракционной борьбы идти на такую беззастенчивую, такую беспардонную ложь! Но и идя на этот подлог что доказал он? В конце-то концов, какое это имеет значение — кому принадлежит идея тройки? Пусть Ленин — что это меняет? Воистину: господь-бог, если он хочет кого наказать, раньше всего лишает его разума...

— А теперь,— продолжал Мартов,— теперь я перейду к политической стороне дела. Происшедшее теперь есть последний акт борьбы, имевшей место в течение второй половины съезда. Для всех не тайна, что дело при этой реформе идет не о «работоспособности», а о борьбе за влияние на Центральный Комитет. Большинство редакции показало, что оно не желает превращения ЦК в орудие редакции. Вот почему понадобилось сократить число членов редакции. А потому я и не могу вступить в такую редакцию. Вместе с большинством старой редакции я думал, что съезд положит конец «осадному положению» внутри партии и введет в ней нормальный порядок. В действительности осадное положение с исключительными законами против отдельных групп продолжено и даже обострено.

И всё? Негусто, товарищ Мартов. Негусто. И что досаднее всего — даже и намека ведь нет на политическую оценку происходящего. Можно ль так?

Ленин уже шел от председательского стола к трибуне, когда Бауман потребовал слова для личного замечания. Троцкий, очевидно, догадываясь, какого

рода замечание последует сейчас, выступил с энергичным возражением:

— У нас установлен порядок, в силу которого время для личных замечаний отводится в конце заседания!

Но Плеханов все же предоставил Бауману слово.

— Товарищ Мартов,— со своего места заметил Бауман,— сказал, что я искажал факты. Моя поправка относилась к тому, что тов. Мартов знал о проекте Ленина и в свое время не протестовал.

Мартов вскочил:

— А я заявляю, что слова Сорокина на вчерашнем заседании не соответствуют истине!

Ленин выжидающе смотрел в зал. Воцарилась тишина, и он заговорил.

— Речь Мартова,— негромко начал он,— была настолько странная, что я вижу себя вынужденным решительно восстать против его постановки вопроса... Слова Мартова, что его вступление в тройку без старых его товарищей по редакции положило бы пятно на всю его политическую репутацию, свидетельствуют лишь о *поразительном смешении политических понятий.* Встать на эту точку зрения — значит отрицать право съезда на новые выборы, на всяческое изменение состава должностных лиц...— Ленин заглянул в листок, который держал в руке.— Я перейду теперь к вопросу о «двух тройках». Тов. Мартов сказал, что весь этот проект двух троек есть дело одного лица, одного члена редакции (именно мой проект), и что никто больше за него не ответственен. Я *категорически протестую* против этого утверждения и заявляю, что оно *прямо неверно.* Я напомню тов. Мартову, что за несколько недель до съезда я прямо заявил ему и еще одному члену редакции, что

 я буду *требовать* на съезде *свободного выбора* редак-

ции. Я отказался от этого плана лишь потому, что *сам тов. Мартов* предложил мне вместо него более удобный план выбора *двух троек*. Я формулировал тогда этот план на бумаге и послал его *прежде всего* самому тов. Мартову, который вернул мне его с исправлениями,— вот он у меня, этот самый экземпляр, где исправления Мартова записаны красными чернилами. Целый ряд товарищей видел,— продолжал Ленин,— затем этот проект десятки раз, видели его и все члены редакции, и *никто никогда* не протестовал против него формально... И тов. Мартов вместе с тов. Троцким и другими много и много раз после того защищали эту систему выбора двух троек на целом ряде частных собраний «искряков».

Тут Ленин замолчал, и по тому, как пригнул, напружил он, словно шел на таран, голову, по тому, с какой решительностью шагнул к краю помоста, Бауман понял — сейчас речь пойдет о главном. И, вероятно, не один он — вероятно, все почувствовали в эту минуту, что сейчас произойдет самое, может быть, значительное из того, что было на съезде. Было ощущение, что, затяни Ленин паузу хоть на пять, хоть на десять минут, все равно никто не проронит ни звука. Не посмеет, не сможет.

Но вот он заговорил вновь. Речь его до странности была лишена сейчас привычной стремительности; он размеренно — будто молотом бил — чеканил слова.

— Исправляя заявление Мартова... я и не думаю, однако, затрагивать этим утверждения того же Мартова о «политическом значении» того шага, который мы сделали, не утвердив старой редакции. Напротив, я вполне и безусловно согласен с тов. Мартовым в том, что этот шаг имеет крупное политическое значение — только не то, какое приписывает ему Мартов. Он говорил, что это есть акт борьбы за влияние

на ЦК в России. Я пойду дальше Мартова. *Борьбой* за влияние была до сих пор вся деятельность «Искры»., а теперь речь идет уже о большем, об *организационном закреплении* влияния, а не только о борьбе за него. До какой степени глубоко мы расходимся здесь *политически* с тов. Мартовым, видно из того, что он ставит мне *в вину* это желание влиять на ЦК, а я ставлю себе *в заслугу* то, что я стремился и стремлюсь закрепить это влияние организационным путем. Оказывается, что мы говорим даже на разных языках! К чему была бы вся наша работа, все наши усилия, если бы венцом их была все та же старая борьба за влияние, а не полное приобретение и упрочение влияния. Да, тов. Мартов совершенно прав: сделанный шаг есть, несомненно, *крупный политический шаг*, свидетельствующий о выборе одного из наметившихся теперь направлений в дальнейшей работе нашей партии. И меня ни капельки не пугают страшные слова об «осадном положении в партии», об «исключительных законах против отдельных лиц и групп» и т. п. По отношению к неустойчивым и шатким элементам мы не только можем, мы обязаны создавать «осадное положение», и весь наш устав партии, весь наш утвержденный отныне съездом централизм есть не что иное, как «осадное положение» для столь многочисленных источников *политической расплывчатости*. Против расплывчатости именно и нужны особые, хотя бы и исключительные, законы, и сделанный съездом шаг правильно наметил политическое направление, создав прочный базис для *таких* законов и *таких* мер.

Ленин уже кончил говорить, уже и место свое занял за столом президиума — зал все охвачен был тишиной. Не было аплодисментов. Не было и выкриков протеста.

Раскол?..

Теперь, когда были сказаны все слова и сделаны все выводы, дальнейшее зависело только от Мартова. Нет, никто, понятно, не ждал от него этакого публичного покаяния, да и попросту неуместно было бы это сейчас. Куда важнее было — как отнесется он к результатам выборов.

Плеханов объявил результаты. Редакторами выбрали троих: Плеханов, Мартов, Ленин.

Встал Мартов.

— Прошу слова!

Плеханов кивнул.

И Мартов тогда сказал:

— Так как, несмотря на мое заявление, что я отказываюсь от выставления моей кандидатуры, меня все же выбрали, то я должен заявить, что я отказываюсь от чести, мне предложенной.— Но и этого показалось ему недостаточно, он пожелал еще расшифровать мотивы своего решения, прибавил: — Фактически вся партийная власть передается в руки двух лиц, и я слишком мало дорожу званием редактора, чтобы согласиться состоять при них в качестве третьего...

Раскол.

«Ликуй, Исайя!» Ликуй и радуйся, Акимов! Ты победил. Твое пророчество, что именно Мартов подает надежду на возникновение в партии иного течения, сбылось. Но нет, подумал Бауман, наверно, и сам Акимов не мог вообразить себе, что это произойдет так быстро.

В ЦК были избраны, уже без шума, Кржижановский, Носков и Ленгник. А вскоре, 10 августа, съезд закончил свою работу. Закрывая его, Плеханов напомнил об обязательности постановлений съезда для всех членов партии.

7

Что такое напоминание, при всей его, казалось бы, очевидности, было вовсе не лишне, в этом Бауману пришлось убедиться очень скоро, чуть ли не сразу после съезда.

Едва добравшись до Женевы, Мартов и те, что шли за ним,— меньшевики, вербуя себе сторонников, усиленно стали распространять слухи, что во всем виноваты нетактичность Плеханова, «бешенство» и «честолюбие» Ленина, шпильки Красикова, несправедливое отношение к Засулич и Аксельроду; не будь, мол, этого — не было бы и раскола.

Чепуха, конечно. Удивительным и постыдным казалось Бауману это нежелание понять суть происшедшего, стремление свести все к борьбе «личностей». Перебирая впечатления от съездовских баталий, изобиловавших — что верно, то верно — и взаимными резкостями, и раздражительностью, взвинченностью, вызванными самой атмосферой борьбы, размышляя (теперь уже спокойно, поостынув) над объективными результатами съезда, Бауман все более и более убеждался в том, что результаты эти, собственно, и не могли быть иными, больше того — они неизбежны.

Да, это бесспорно, думал Бауман, что сам по себе факт разделения на левое и правое крыло, на большевиков и меньшевиков, давно уже был лишь вопросом времени. Все последнее, по крайней мере, десятилетие русской социал-демократии неминуемо приводило к такому делению. Съезд лишь обнажил это, наглядно выявил, кто в настоящий момент является Горой, а кто — Жирондой, из кого, из сторонников каких воззрений состоит то и другое крыло. Съезд с несомненностью обнаружил, что меньшинство состав-

ляют наиболее тяготеющие к оппортунизму члены партии, оно образовалось именно из правого крыла,— этот, и только этот, факт имеет значение, если всерьез задумываться над причинами расхождений.

Единственное, что по-прежнему никак не умещалось в голове,— как могло случиться, что «вождем» правых, вождем этого откровенно оппортунистического крыла стал Мартов? Не Акимов, не Либер, которым эта «должность» принадлежит, так сказать, по праву, но которые, погорячившись, к тому моменту уже покинули съезд, а Юлий Мартов, как бы заместивший их? Как совершилось — не в мгновение же ока! — это превращение убежденнейшего искровца в столь же ярого и убежденного антиискровца?

С особой болью «линьку» Мартова воспринимал Ленин. Он больше и лучше всех знал Мартова; они одновременно пришли в революцию, вместе создали петербургский «Союз борьбы», вместе задумывали и осуществляли издание «Искры». Ленин не просто дружил с Мартовым — любил его, это было известно всем. Тем горше была для него теперь эта потеря. Едва заходил об этом разговор, он сразу замыкался, становился угрюмым. Лишь однажды, когда в присутствии Баумана ему передали слова Мартова о том, что-де он, Мартов, приложит все силы к тому, чтобы не только поднять, но и осуществить «восстание против ленинизма», лишь в этот единственный раз Ленин заговорил о Мартове. Подойдя к окну и глядя куда-то вбок и вниз, он помолчал с минуту, потом резко повернулся и негромко сказал:

— Знаете, что самое страшное и самое трудное? Самое непереносимое — драться не с врагами, а с друзьями. С близкими людьми, ставшими врагами. Да. А без драки — нет, никак нельзя. Слишком далеко зашло дело. Жаль. Очень и очень жаль.

Но эта безумная попытка разорвать партию... из-за чего? Только из-за недовольства составом центров? Только из-за обиды? Нет, не понимаю. Не понимаю и никогда не пойму этого.

Потом Ленин сказал, что, конечно, Мартову, особенно если учесть некоторые свойства его характера, не могло не быть обидно, что ему пришлось остаться с меньшинством. Но на кого же в первую очередь нужно обижаться — не на себя ли? Разве не сам он повинен в том, что его ошибка по первому пункту устава (в общем-то сама по себе не такая уж и страшная ошибка) послужила исходным пунктом для союза с оппортунистами? И разве не трагично, говорил Ленин, что, совершив молниеносный этот свой поворот на 180 градусов, он, по сути, поднял бунт против самого себя? Вспомним хотя бы, как отчаянно — в первой половине съезда — дрался Мартов с малейшими проявлениями оппортунизма. Мог ли, впрочем, вести он себя иначе? Ведь если мы в течение трех лет существования «Искры» не языком только распутничали, а выражали те убеждения, которые должны затем перейти в дело, то мы не могли не бороться на съезде с антиискровцами. Логика баррикад! А вот когда мы с Мартовым, который насмерть бился в первых рядах с открытым забралом, когда мы все вместе «переобидели» такую кучу народа,— тогда (вот он, трагический парадокс!) достаточно было лишь чуть-чуть «обидеть» (тем, что не согласились с ним) Мартова, чтобы все обиженные тотчас забыли взаимные счеты, бросились в объятия друг к другу и подняли — надо же договориться до этакого! — восстание против «ленинизма»...

— Восстание! — повторил со злостью Ленин.— Что ж, отлично! Но Юлию, при его-то уме, не худо

 бы сообразить, что восстание — прекрасная вещь

лишь в том единственном случае, когда восстают передовые элементы против реакционных. Если же происходит обратное — это уже не восстание, нет. Это — мятеж, путч, дворцовый переворот, что угодно, только не восстание! — Ленин сел, подпер руку кулаком.— Как все это мелко. И, главное, как ненужно. Вместо того чтобы делом заниматься, расходуемся на пустячки.

Съехавшись в Женеву, российские социал-демократы ежевечерне приходили к Ландольту. Но собирались там порознь: у меньшевиков была своя зала, у большевиков — своя. Больше всех на собраниях большевиков ораторствовал Плеханов — он занимал самую, пожалуй, непримиримую позицию.

Да, самую острую, самую непримиримую. Тогда это воспринималось как должное и потому не замечалось. Бауман вспомнил об этом лишь потом, спустя месяц.

Было это уже в октябре, после съезда Заграничной лиги русской социал-демократии. Большевики — Ленин, Крупская, Ленгник, Литвинов и он, Бауман,— покинули этот съезд, покинули в знак протеста против попытки меньшевиков отменить решения партийного съезда, пользуясь перевесом в голосах; с ними ушел и Плеханов. Но это был последний его шаг, сделанный вместе с большевиками. Последний.

В тот же вечер (тогда-то и вспомнил Бауман, как вел себя Плеханов у Ландольта) Георгий Валентинович сказал вдруг мрачно:

— Надо мириться.

И тут же предложил кооптировать всех «обиженных» и бунтующих в редакцию:

— Это наилучший способ успокоить и обезвредить их.

Потом, почувствовав, вероятно, шаткость своих доводов, с принужденной улыбкой добавил:

— Бывают моменты, когда и самодержавие вынуждено делать уступки.

— Тогда и говорят, что оно колеблется,— бросила реплику Лиза Кнунианц.

Плеханов метнул на нее сердитый, из-под бровей, взгляд. Но Лиза была права. То, что говорил сейчас Плеханов, так не вязалось с его недавней, может быть, даже чересчур воинственной непримиримостью.

Ленин все время молчал, и чувствовалось, что от этого Плеханову не по себе, что это мешает ему. Он наклонился к Ленину и, обращаясь, кажется, уже только к нему, сказал:

— Знаете, бывают иногда такие скандальные жены — им лучше уступить, во избежание истерики и громкого скандала перед публикой.

Ленин заметил с улыбкой, что в таких «семейных» скандалах малейшая уступка вызывает, как правило, еще больший «скандал».

Плеханов после этого надолго умолк, но, уходя, сказал:

— Нет, что ни говорите, а я не могу стрелять по своим. Не могу.

И на следующий день заявил о своем желании кооптировать всех четырех членов бывшей редакции: Мартова, Аксельрода, Засулич и Потресова.

Это была измена. Позорная, трусливая измена. Бауман был потрясен. Чего, спрашивается, стоит тогда напоминание, которое сам же Плеханов счел необходимым сделать при закрытии съезда: об обязательности для всех членов партии постановлений съезда? И к чему вообще партийные съезды, если можно вершить дела заграничным кумовством, истерикой и скандалами?

Не желая участвовать в таком разврате, как переделка партийного съезда, Ленин, посоветовавшись с товарищами, вышел из редакции. Разрыв, таким образом, стал полный и окончательный.

Бауман не обманывал себя: это была катастрофа, рухнуло то, что складывалось так медленно и так трудно. Но вот ведь странность какая — именно теперь, когда действительно было отчего пасть духом, как раз в этот-то, без преувеличения, катастрофический момент он осознал вдруг, как сильно он изменился за время съезда. Уже не было у него той растерянности и того уныния, от которых еще так недавно опускались невольно руки. Напротив, он, как никогда раньше, обнаружил в себе небывалый прилив энергии. Вероятно, было это оттого, что он отчетливо понимал: потеряно многое, но не все, далеко не все; основная борьба предстоит теперь в России, да, там, именно там, в конечном счете, решится судьба партии, все будет зависеть от того, за кем пойдут комитеты на местах.

12 декабря 1903 года Бауман — с паспортом на имя Вильгельма Земпфега, германского подданного, коммивояжера по профессии — выехал в Москву.

Глава шестая

Подлежит аресту

1

Телеграмма заведующего агентурой в Берлине Гартинга на имя директора департамента полиции

13 декабря 1903 г.

Узнал под величайшим секретом, что Николай Бауман в четверг утром уехал из Цюриха в Россию через Вену и австрийскую границу, вероятно Граево.

Гартинг

* *
*

Телеграфное распоряжение департамента полиции жандармским офицерам на пограничных станциях Граево, Сосновицы, Граница, Радзивилов, Волочиск

14 декабря 1903 г.

Разыскиваемый Николай Бауман направился из Цюриха через Вену нелегально Россию. Примите меры аресту.

* *
*

Департамент полиции по особому отделу, 16 декабря 1903 г. № 13025

Гг. начальникам охранных отделений

По полученным из совершенно секретного источника указаниям, проживающий за границей и разыскиваемый циркуляром от 21 августа 1902 г. за № 5350 Николай Эрнестов Бауман по подложному паспорту на имя Земпфега прибыл нелегально в Россию.

Сообщая о сем, департамент полиции предлагает Вашему высокоблагородию принять энергичные меры к розыску названного Баумана и в случае его обнаружения установить за ним тщательное секретное наблюдение и под благовидным предлогом, дабы не обнаружить источника, из коего почерпнуты сведения об имеющемся у Баумана подложном паспорте на имя Земпфега, подвергнуть его обыску, арестовать и телеграфировать департаменту для получения дальнейших указаний.

За вице-директора (подпись)

* *
*

Справка по дознанию об организаторской деятельности представителей ЦК РСДРП в Северном районе России

3 июля 1904 г., № 11563

По имеющимся в распоряжении Московского охранного отделения сведениям, ЦК РСДРП, озабоченный частыми провалами своих организаций в круп-

ных городах империи и приписывая таковые провалы как несовершенству самого типа местных организаций, так и неопытности и недостаточной конспиративности в образе действия своих делегатов, а также признавая деятельность их мало интенсивной и успешной, командировал в Россию весьма выдающихся революционных деятелей—Николая Эрнестова Баумана и лицо, действительная фамилия коего не установлена, арестован же он под именем Артура Циглера. Прибыв в Москву, Бауман, Циглер и присоединившаяся к ним Елена Стасова завязали отношения с представителями отдельных социал-демократических организаций ряда городов Северного района России — Ярославля, Костромы, Нижнего Новгорода — и направили в дальнейшем свою деятельность на попытку сосредоточить и объединить работу упомянутых организаций.

В целях прекращения дальнейшей преступной деятельности организаторов и ввиду полученных сведений о том, что некоторые из них намереваются скрыться из Москвы, приняв меры во что бы то ни стало избежать за собой наблюдения, было признано необходимым произвести обыски и аресты их, и таким образом в ночь на 19 июня 1904 г. был произведен обыск и арест на даче Дубровина в Петровском парке 2-го участка Сущевской части, в квартире дочери коллежского советника Кузьминой.

При обсуждении вышеизложенного и по рассмотрению данных, полученных при обыске, было возбуждено дознание по делу об организаторской деятельности ЦК РСДРП в Северном районе России, к коему по настоящему положению дела привлечены в качестве обвиняемых в тяжелом преступлении, предусмотренном ч. 1 ст. 126 Уголовного уложения, нижепоименованные лица:

1. Женщина, проживавшая в Москве и арестованная под именем дочери коллежского советника Надежды Константиновны Кузьминой, каковой, однако, в действительности не оказалась, ибо при последующем обследовании отобранного у нее при задержании паспорта на имя Кузьминой обнаружилось, что последняя умерла в октябре прошлого года в Саратове. Нелегальная назвать себя отказалась, равно как отказалась и от дачи каких бы то ни было показаний. По обыску в ее квартире обнаружено значительное количество социал-демократической литературы, рукописи, представляющие собою проекты прокламаций, статьи и наброски и предназначенные, по-видимому, или для помещения в революционных изданиях, или для отпечатывания отдельными оттисками.

2. Бауман, Николай Эрнестов, 31 года, ветеринарный врач, привлекавшийся в 1897 году по делу Петербургского «Союза борьбы» и в 1902 году по делу при Киевском жандармском управлении. Первый раз бежал за границу из-под гласного надзора полиции в 1899 году и второй раз туда же 18 августа 1902 года.

Застигнутый в квартире нелегальной Кузьминой отказался назвать свое звание и фамилию. Опознанный впоследствии как Бауман, на вопрос о виновности или невиновности отвечать отказался, а равно отказался вообще от дачи показаний. Где проживал за границей, когда возвратился в Россию и когда приехал в Москву, сказать также отказался.

Отдельного корпуса жандармов ротмистр
Васильев

2

Он и в Таганке, куда его прямиком доставили с дачи, никак не назвал себя. Тогда тюремный чин распорядился поместить его в изолятор.

Это было уже что-то новенькое — изолятор. Ни в Петропавловской крепости, ни в Лукьяновском замке ничего такого и в помине не было. Вели его долго, по гулким и запутанным переходам — пока не уткнулись в закуток, куда выходила всего-навсего одна дверь. Бауман невольно подивился хитроумию архитектора, который каким-то образом изловчился расположить эту камеру так, что она и впрямь оказалась начисто изолированной от других камер.

А так, сам по себе, изолятор этот был обыкновенной одиночкой, если не считать, правда, того, что в двери вместо «глазка» с заслонкой была в два ряда, снаружи и изнутри, зарешеченная и ничем не прикрывавшаяся — сквозная — фортка, возле которой, в знак особой, что ли, привилегии, денно и нощно караулил специально приставленный надзиратель. Удобно, ничего не скажешь: чтобы видеть, что делает арестант, надзирателю даже не нужно поднимать заслонку и прикладываться к «глазку» — стой себе у двери да смотри в камеру, только и делов...

Надзиратель попался немолодой, с вислыми усами. Держась руками за наружную решетку, он с интересом разглядывал Баумана: видать, в охотку службу нес. Некоторое время и Бауман смотрел на него, тот спокойно выдерживал встречный взгляд. Бауман решил не обращать на соглядатая внимания и, ровно б не было его, принялся обследовать камеру. Сводчатый, с понижением к окну потолок придавал ей вид монастырской кельи. Столик, табуретка. Откидная, прикрепленная сейчас к стене, койка.

Уже брезжил рассвет, но спать не хотелось, только усталость давила на плечи. Он откинул койку, посидел немного, потом все же лег и уже лежа посмотрел на надзирателя. Тот все глядел, держась за прутья. Можно было, конечно, натянуть на голову одеяло, можно было отвернуться к стене, чтоб не видеть надзирателеву рожу, но Бауман переложил подушку к изножью и, не опуская ног на пол, переместился спиной к двери; потом он прикрыл глаза. И тотчас, едва смежил веки, потекли в памяти, ожили подробности последних суток. Подумалось: а как Стасова? а как Ленгник? Красиков? — удалось ли хоть им уехать? Должны бы успеть, подумал он. Дай-то бог, чтоб успели.

Последний раз он видел их позавчера, на квартире у Матусевича,— здесь состоялось заседание Северного бюро ЦК; решили срочно, всем бюро, перебраться на время в Нижний Новгород: по всем признакам, охранка в Москве явно что-то пронюхала, все труднее стало ускользать от слежки.

Он бы и сам, возможно, успел уехать, если бы не печатный станок. С такими муками раздобыли они в свое время с Федотычем этот станок (не станок даже — неказистая рама с валиком), а главное, шрифт, ради которого и в Смоленск ездили, и в Вильно, так дорога и необходима была примитивная эта и все ж таки безотказная их типография, что не мог он уехать, не припрятав ее понадежней. Ночью, отпечатав напоследок тысячи полторы листовок (оставалась бумага, грех было не использовать), оттащил все оборудование в чащобу парка и здесь, неподалеку от дачи, которую на лето сняла Надюш, закопал его в неприметном месте, под кустом.

После этого можно бы уже и на вокзал было отправляться (а такая мысль, будто чуял беду, точно,

шевельнулась у него тогда, тем более, кажется, и поезд ночной был на Нижний), но, вернувшись из парка, они с Надюш рассудили, что до вокзала далековато все же, всю ночь, пожалуй, протопаешь, и главное — хотелось прихватить с собой свежие листовки, а краска была дрянная, размазывалась, все равно к утру только подсохнет...

Утром, однако, было уже поздно.

Проснувшись чуть свет и выглянув в окно, он увидел, что дача оцеплена. Да, подумал он в ту минуту, случайно эти люди в штатском оказаться здесь не могли: дача стояла на отшибе. А когда, минут через пять, вынырнул из-за дерева, отдавая штатским какие-то распоряжения, полицейский чин в форме,— окончательно тогда прояснилось, что нет, это не слежка даже (как отдаляя беду, подумал вначале), какая, к черту, слежка, если все делается так открыто. Одно оставалось пока что непонятным: если, судя по многочисленности сыскной рати, пришли с арестом — чего ж медлят? Рассчитывают, что еще кто-нибудь попадет в ловушку, не иначе...

Как бы там ни было, но такая медлительность вполне устраивала в тот момент Баумана. Он и Надюш принялись уничтожать компрометирующие документы: протоколы и резолюции Северного бюро ЦК, листовки, прокламации. Долго ломали голову над тем, как быть с паспортами. У Надюш паспорт был вполне надежный, без подделки, выданный на имя реального лица Надежды Константиновны Кузьминой; сама Кузьмина умерла в прошлом году, но паспорт ее остался, и до сих пор, хотя Надюш не раз сдавала его на прописку, он ни у кого не вызывал подозрений. Так что, решили, самое разумное (тем более и дача-то числилась за Кузьминой) надеяться, что и на этот раз пронесет. Имелся паспорт и у Бау-

мана. «Иван Сергеевич Леонтьев» — так значилось в нем. Но Бауман не знал, сколь надежен он: никогда и никому еще не предъявлял его. Было и еще вот какое немаловажное обстоятельство: все полгода эти в Москве (после того как удостоверился, что Земпфег на особом счету у охранки), не было у него, с кем бы ни встречался, другого имени, кроме как Иван Сергеевич. Так что неизвестно, может быть, и сейчас полиция охотилась не за Бауманом даже, а именно за ним, за Иваном Сергеевичем. В случае возможного ареста, решил он, лучше уж вовсе без документов оказаться. Уничтожать паспорт повременил тем не менее — на тот случай, если пришельцы промедлят с арестом до ночи и удастся сбежать в темноте.

Только разве дождешься темноты — в июне-то! Чуть не полные сутки — всё день. И весь бесконечный этот день терзало Баумана препоганое ощущение беспомощности и обреченности — совсем как у кролика, завороженного взглядом удава. Немалым усилием воли заставлял он себя отойти от окна, думать о постороннем. Надюш тоже, кажется, пыталась сбросить оцепенелость, что-то сказала шутливо, но шутки не получалось, подвели глаза — напряженные, грустные.

Такие же точно, вспомнил он, глаза были у нее, и так же пыталась она, пряча тревогу, шутить, когда провожала его последний раз в Цюрихе, на вокзале; эти минуты перед отходом поезда они стояли в сторонке, подальше от фонаря, и она, смеясь, говорила, что пусть он теперь сам побережется, она не намерена больше вызволять его, как в Киеве, из тюрьмы; что если, обосновавшись в Москве, он через месяц не затребует и ее — пусть на себя пеняет. Он отвечал, в тон ей, что еще неизвестно, пожелает ли герр Земпфег, процветающий коммивояжер всеевропейски

известной фирмы «Золинген», знаться с какой-то там купецкой дочкой.

Земпфег. Нет, не довелось ему быть в Москве Вильгельмом Земпфегом!

О том, при каких обстоятельствах пришлось отказаться от этого имени (от имени — шут бы с ним,— от паспорта!), он никогда не рассказывал ей; не очень-то приятно вспоминать такое. Теперь вот рассказал. Да и то потому лишь, что из этой истории с наглядностью вытекало, что вполне могли его арестовать еще тогда, в декабре, на границе, и, таким образом, вообще следовало как неслыханное везение расценить то, что хоть эти-то полгода удалось поработать нелегально — и где, в Москве!..

А на границе было так.

Поезд замедлил ход, тотчас донесся из коридора голос кондуктора: «Подъезжаем к русской границе! Станция Граево!» Бауман приник к окну. Медленно проплывал мимо перрон, и что прежде всего бросилось в глаза — обилие жандармов на этом перроне, прямо черно было от их шинелей. Бауман удивился. Сколько ни приходилось ему в поездах пересекать границу — не помнил чтобы дежурило на перроне больше двух из этой братии, да и те скорей для порядка присутствовали здесь, каменные, скучные от безделья. А сейчас что-то около десяти жандармов стояло у самого края платформы, цепочкой, метрах в тридцати друг от друга,— по штуке, явно, на вагон; остальные (кажется, и офицеры были среди них) сновали по перрону с крайне озабоченным видом.

Нет, нет, говорил он Надюш, было бы враньем сказать, что уже тогда, глядя на это воинство, он догадался, что неспроста все это. Нет. Он отметил только необычность такой вот, словно царствующая особа прибывает, встречи заграничного экспресса, и поду-

мал: может, теперь — давно все же не бывал в России — так заведено? И даже когда жандарм, один из цепочки, поднявшись в вагон и заглянув в купе, горласто оповестил: «Просим господ проследовать в вокзал! С паспортами и багажом! Поторопитесь!» — то и тогда ничего т а к о г о он не заподозрил. Хотя, разобраться, и тут была одна странность: на кой ляд для проверки паспортов понадобилось вдруг сгонять всех в вокзал? Да еще с чемоданами? И в такую холодину! Раньше все это прямо в купе проделывалось — включая и таможенный досмотр.

Но вот и зал ожидания — помещение неказистое, с обшарпанными стенами; к тому же перекладина барьера делила его почти пополам, так что теснота — не протолкнешься. Бауман не торопился, не рвался первый к барьеру. Стоял неподалеку от входа, поглядывая по сторонам (резко отпечатывалось все в сознании, каждая мелочь). А оттуда, из-за барьера, поступила уже, в целях, должно быть, ускорения процедуры, команда пассажирам разделиться на две очереди: одна — для господ русских подданных, другая — для иностранцев.

Бауман помедлил с минуту; не только из осторожности, скорее потому, что, помимо паспорта на имя Земпфега, был у него в потайном кармане и другой еще — русский; на имя Ивана Сергеевича Леонтьева.

Все решило (еще и минуты не прошло) поведение жандарма, принимавшего паспорта у иностранцев: прежде чем передать паспорт офицеру, сидевшему за столиком, он для чего-то и сам взглядывал с нетерпением на фамилию; в другой очереди жандарм не проявлял такого любопытства.

Бауман занял место в хвосте очереди для русских. Дело давнее, теперь он мог признаться Надюш,

что, и решившись, вовсе не был уверен, что поступил правильно; паспорт Земпфега казался все же более надежным.

Впереди стоял старичок в пенсне, сухонький, желчный. «Вечно эти формальности!» — бурчал он. «Граница»,—объяснил ему кто-то. «Это не проверка,— все петушился старичок,— это издевательство! На весь мир позорят!» Сдал паспорт старичок, сдал и Бауман. Начали копаться в раскрытых чемоданах таможенники. Старичок и тут не стерпел. «Нельзя ли поаккуратнее?» — с вызовом говорил он таможеннику. «Все в полном порядке будет»,— меланхолично ответил таможенник. Старичок не унимался: «Меня не интересует, что будет, я хочу, чтобы сейчас порядок был!» Таможенник на сей раз не ответил, только глянул на назойливого пассажира как-то слишком пристально. Старичок тотчас стушевался, бочком в сторону и тут, в отдалении, зашептал, ища сочувствия: «О тэмпора, о морэс! Вот она, наша Расея...»

Меж тем собраны были все паспорта (в той и другой очереди), они высились горкой на двух столах, и офицеры принялись по второму разу проверять их. Тут Бауман и понял окончательно: определенно кого-то ищут — так придирчиво изучаются паспорта, чуть не на свет разглядываются...

Нет, пронесло. Сгрудил офицер все паспорта вместе, поднялся из-за стола и, выкрикивая фамилии, собственноручно вручал паспорт каждому, цепко ощупывая глазками лица пассажиров и сличая их с фотографиями.

В Можайске, верст сто не доехав до Москвы, Бауман сошел с поезда: памятуя о шпиках, дежурящих обыкновенно при вокзале, решил не искушать без особой нужды судьбу. Переночевав тут, взял наутро
 извозчика. В Москву добрались затемно. Бауман,

хоть и укутан был в извозчичий тулуп, промерз до костей.

Рассчитавшись на Маросейке с извозчиком (ехать из Можайска — великая все же роскошь, раззор прямо), первым делом он отыскал распивочную (помнил, где-то рядом тут была), выпил два лафитника «перцовки»: чувствовал, что простужен, что и жар, возможно, есть.

Нужно было что-то решать. Если бы не то, что произошло на пограничной станции, он бы и минуты не раздумывал,— отправился бы в любую гостиницу, предъявил паспорт Земпфега и горюшка не знал бы. Теперь, раз уж закралось подозрение, следовало поостеречься. И он с превеликим удовольствием поостерегся бы. Одна беда: не было у него явок сколько-нибудь надежных. Что же до одного заветного адресочка (принадлежавшего Желябужской), то его следовало приберечь для крайнего случая. И тогда, сознавая, что это совершеннейшее безумие так рисковать, он все-таки решил обосноваться в гостинице. Резоны его были такие: если ему не померещилось с испугу и на границе действительно охотились за ним, то об этом — что зовут его Земпфег,— конечно, уже дали знать в московские гостиницы. Так что, хочешь не хочешь, надобно это проверить, потому что совсем не исключено, что в наших кругах действует за границей провокатор,— лучше уж знать об этом наверняка. Ну а если эти страхи напрасны — что ж, тем лучше; жить в Москве, имея вполне легальный паспорт,— как бы это облегчило, особенно на первых порах, всю его работу здесь!

Гостиницу не выбирал, в конце концов это не имело значения. Ближе всего была гостиница на Мясницкой, туда и пошел. Гостиничка явно не первого ранга: линялые, из синего когда-то бархата што-

ры, копеечная позолота на стенах холла. Портье, еще от дверей заприметив его, профессионально улыбнулся. Бауман приблизился к конторке и, затрудняясь в словах, спросил с акцентом:

— Могу я иметь... снять нумер? По... как это... подороже...

— Конечно, конечно! Ваш паспорт.

Бауман протянул паспорт. Портье, раскрыв его, приготовился записать фамилию в книгу, но неожиданно, точно наткнулся на препятствие, поднял глаза,— Бауман отчетливо увидел, как расширились, в мгновенном шоке будто, его зрачки; лысый же череп вдобавок покрылся заметной испариной. Спроста, нет?

— Земпфег? — сказал портье.

— Яволь, Земпфег,— облокотясь о стойку, с улыбкой проговорил Бауман.

— Я надеюсь, вас устроит девятый номер. Люкс. На втором этаже, по этой лестнице. Там покажут. Вот ключ.

Лестница была железная, винтовая, она круто, всего в полтора оборота, шла вверх. Бауман, не оглядываясь, шагнул к ней, медленно стал подниматься, уговаривая себя: «Нет. Не сейчас. На последней ступеньке», и на последней ступеньке глянул — незаметно, через плечо — вниз. Этой секунды было достаточно, чтобы увидеть, как портье, выдвинув ящик конторки, украдкой разглядывает что-то, скорее всего фотографию.

Номер оказался вполне сносный — даже с ванной, даже с телефоном. Поминутно поглядывая на высокую кровать в алькове (бухнуться бы сейчас туда, зарыться в эти пуховики — то-то славно бы было!), он, чувствуя, что заболевает, позвонил Марии Федоровне Желябужской и сказал пароль: «Тетка пере-

дает привет и просит взаймы, если это возможно, сто двадцать рублей»; в ответ, после отзыва на пароль, он услышал адрес (Каретный ряд, 4, квартира Качалова) и новый пароль.

Положив трубку, он рассовал по карманам коекакие мелочи из чемодана и вышел из номера.

Портье обеспокоенно поднялся ему навстречу.

— Герр Земпфег доволен номером?

— Благодарю, весьма. Вифель?.. мм, сколько стоит за три, нет, пять дней?

Портье назвал — сколько, заметив, что пустяки, не стоило торопиться. Тут же, возвращая сдачу, сказал с приторной любезностью:

— Знает ли герр Земпфег, что при нашем отеле имеется ресторан? Лучшие повара. Собирается почтенная публика.

— Вы очень любезны,— сказал Бауман.— Я непременно загляну туда.— И пошел к выходу.

Портье вдогонку воскликнул, осклабясь:

— О нет! Вход в ресторан — отсюда!

Бауман остановился, сказал, полуобернувшись к нему:

— Хорошо, я учту это. Но сначала я прогуляюсь, если разрешите.

Портье рассмеялся — в знак того, что вполне оценил шутку.

— О да! Конечно! Я — разрешаю!..

— Кстати,— вернулся вдруг к стойке Бауман.— На почте меня ждет, как это... корреспонденция. Вам больше не нужен паспорт?

Портье не оставалось ничего иного, как вернуть паспорт.

— Вот, извольте!

И даже улыбку свою сохранил.

Но не успел Бауман выйти на улицу, тотчас вы-

скочил за ним (как был в ливрее с позументами, без пальто) швейцар, в одну сторону метнул взгляд, в другую, а Бауман, вот он, тут, никуда, похоже, и уходить не собирался, стоит себе и посмеивается в усы. Застигнутый врасплох, швейцар глуповато таращил глаза. Бауман мимо него шагнул к двери, рывком рванул ее на себя. Услыхал:

— Ушел-с. Сию-с минуту — ушел!

Это портье названивал по телефону.

Увидел вдруг Баумана — осекся на полуслове.

— Ключ,— сказал Бауман. И, положив ключ на стойку, неторопливо направился опять к выходу. Портье все держал трубку около уха.

А потом он, Бауман, отправился...

Не дали дорассказать,— стук в дверь! Сразу оглушительный, без маскировки — каблуками, прикладами!

— Откройте, полиция!

Не дождались темноты...

Бауман чиркнул спичку, со всех сторон подпалил паспорт. Дверь была крепкая, не сразу поддалась.

— Пач-чему не открывали?!

Потом — обыск. Все-таки нашли кое-что, выудили, к радости своей великой, из ящика комода, из-под белья, несколько брошюр, изданных за границей, и наброски, черновики прокламаций (как же это они с Надюш так опростоволосились, забыли о комоде?).

Потом — допрос; здесь же, предварительный, для выяснения личности только.

— Не знаю. Не желаю говорить. Не намерен давать показаний.

Потом — долгая, через всю Москву, в тюремной карете, дорога до Таганки.

3

Вряд ли так просто, за здорово живешь, засадили его в этот изолятор. Значит, знают, что однажды он уже бежал из тюрьмы, а до этого — из ссылки.

По-видимому, мысль об этом не покидала его и во сне, если, еще не проснувшись толком, еще глаза не открыв, он уже знал и где находится и даже почему.

Он понятия не имел, сколько проспал. Надзиратель, во всяком случае, торчал за дверью другой — круглолицый и помоложе. На столе была миска с супом — проспал, значит, обед. Жутко захотелось есть, съел холодную баланду с хлебом. Показалось — мало. Спросил у надзирателя (стоило обернуться — белым блином прикипел тот к дверной решетке), скоро ли ужин. Но круглолицый — знает свое дело служивый! — будто не слышал.

Бауман прошелся по камере, сперва так, размяться, но через минуту втянулся в ходьбу; размеренный ритм помогал сосредоточиться.

Шевельнулась мысль: будет допрос, нужно бы, наверное, приготовиться как-то. Мысль эта, как и само намерение во что бы то ни стало предугадать возможные вопросы следователя, показалась знакомой. Ну, конечно. Память услужливо подсказала — над этим он уже бился однажды — в Петропавловской крепости, после первого своего ареста. Как и сейчас, вышагивал он тогда свою одиночку, пытаясь восстановить для себя — по числам, по часам даже — каждую свою встречу с рабочими в кружках, равно как и все, с точными адресами, явки. И все это, сколь помнится, для того только, чтобы быть готовым к любому вопросу, чтобы и секунды не тратить на раздумье во время допроса; почему-то казалось тогда очень важным заранее угадать, о чем спросит незаб-

венный Пирамидов, и, в соответствии с этим, заранее иметь ответ. Какая же была это — и посейчас помнил — изнурительная и вместе — вот ведь обида, — какая бессмысленная, в сущности, работа! Бессмысленная вдвойне: всего, что сделано, даже тогда (при всей, сравнительно, малости сделанного к тому времени) не мог он вспомнить; и потом, всего ведь не предусмотришь, в слишком неравных условиях находятся допрашиватель и допрашиваемый. Впрочем, и тогда он вскоре понял, что самое лучшее — вообще отказываться от каких бы то ни было показаний. Потому что ложь рано или поздно обнаруживается, а кроме того, что ни сочиняй на допросе, но, если ты арестован не один, у кого-нибудь да прорвется, все равно прорвется, помимо воли, крупица истины, и вот по этим-то крупицам жандармы вполне могут восстановить общую картину.

Бауман окончательно решил: нет, не станет он сейчас задавать мозгу зряшную эту работу — восстанавливать шаг за шагом все, что сделано.

Да-с, не будем, как говорится, повторять ошибок молодости, сказал он себе. Что простительно зеленому новичку... Фу ты (оборвал себя, поморщился даже), фу ты, как скучно получается! Брюзга. Ворчун старый. Грех попрекать, грех, совсем неплохой парень ведь был...

Сколько ж это лет тому? Семь. Чуть больше даже. Целая жизнь. Ах, черт, чуть не вслух воскликнул он, черт, какой же все-таки зелененький был я тогда, любо-дорого! И губы чуть припухлые... по-детски, а?

Постой, сказал он себе, откуда я могу это знать, про губы-то? Не могу я этого помнить, чепуха. Мы вообще весьма смутно представляем себе, как выглядим. Даже как сейчас выглядим, не то что когда-то.
 И все-таки — припухлые губы. Точно. Как сейчас

вижу. Фотография! Да, конечно: фас, профиль. Тюремный, из Петропавловки, снимок. Дважды видел — как не запомнить. У Веселовского — шпик ему для верности оставил, потом Новицкий в Киеве показывал: узнаете, мол, себя? Щеки заросли, пушистая бородка, а лицо округлое; и эти вот губы...

Губы, да. А ведь, помнится, героем чувствовал себя. Пожалуй, и гордился еще, что начальник охранки собственной персоной с обыском пожаловал. Сам перед собой фанфаронил, ей-ей. Во время обыска еще какие-то там смешные черточки у Пирамидова выискивал. Что-то насчет... А, что актеришка! Из захудалой труппы! И что красив он как-то уж совершенно немыслимо. И что ходит не как все, а словно пританцовывает по-балетному. Теперь-то ясно, для чего понадобилось напридумывать себе все это: хотел утвердиться в своем превосходстве. А всего верней — просто отвлекал себя. От страха отвлекал. Таким вот способом пытался перебороть его.

Ясное дело, храбрился! Дело давнее, можно теперь признаться: трусил тогда. Нет, не тюрьмы боялся; нет. К тому, что рано или поздно попадет туда, был готов. Боялся неизвестности. Извечный вопрос! — знаем ли мы себя? Тысячу раз может казаться, что знаю: я, дескать, такой и еще такой, и такой,— а вот каким ты окажешься в действительности, когда неожиданно и круто переменятся обстоятельства? Сумеешь ли сохранить свое «верую»? Вот это и страшило больше всего. И не оттого ли куражился по-мальчишечьи в душе над Пирамидовым — не из этого ли чувства самосохранения? Должно быть, поэтому же, очутившись в каземате, изнурял, сжигал свой мозг в мучительных догадках, что они знают, а чего нет, чтоб при любом повороте не быть застигнутым врасплох. И, верно, чтобы самому себе

доказать, что способен вынести все, обрекал себя и на карцер...

Все это, понятно, с головой выдавало новичка. Ну что ж, подумал он, при всех, как бы это поточнее сказать, наивных излишествах молодости, не так уж и худо вел себя этот новичок. Совсем не худо. На четверочку... Нет, что ни говори, как сегодня ни подсмеивайся над собою — тем, зеленым, какие промахи ни выискивай, а выстоять в Петропавловке, начать сразу с нее и выстоять, сдюжить, не сломаться — не шуточки, нет. И даже — как знать? — может быть, то как раз, что начал не с Лукьяновки, скажем, а именно с Трубецкого бастиона, и пошло, как ни кощунственно сказать, на пользу? В том смысле, что после тамошнего карцера сам черт не страшен был...

Как там (отвлекся ненадолго) солдатик мой? Надзиратель. Жив, родимый? Что с ним станется — жив. Вон как вызверился на врага престол-отечества! Стоит за решеткой, рот на замок, а самому небось страсть как охота порасспросить злодея, за какие-такие темные делишки законопатили его в изолятор. Заговорить с ним, что ли? Нет уж. Мне и без его разговоров распрекрасно живется. Вот так-то, солдатик. Видишь мою спину, пока я к окну пять шагов своих выхаживаю? Ну и смотри себе на здоровье.

Закалка. Совсем не последнее это для революционера дело. Конечно, и убеждения — те или иные убеждения,— как же без них! Но и закалка, умение отстоять эти самые убеждения — тоже. Полякова хоть взять... мм, сидит все-таки заноза эта, саднит, никак не вытащить ее... Так вот, если о Полякове: как он стал провокатором? На какой крючок его подсекли? Запугали? Золотых гор, наоборот, наобещали? Неведомо то. Известен лишь факт: предал. Не только других — раньше всего себя.

Ну, этот случай, положим, еще простой. И редкий. Бывают потруднее. Когда люди и тюрьмы выдерживают, сквозь ссылку и каторгу проходят, прекрасные, в сущности, люди, умные, убежденные, добрые, но стоит им почувствовать себя лично задетыми — ну тем хотя бы, что по какому-то пункту они остались в меньшинстве,— стоит им обидеться, что кто-то с ними не согласился, и всё, к чертям собачьим летят их убеждения и принципы! Оценка всего сущего с точки зрения болячки на своем драгоценном пупе — куда как славно... Ах, это «интеллигентское» занудство, с неожиданной для себя самого злостью подумал он. Это не интеллигенты — тряпичные души.

У кого имеется интереснейшее рассуждение на эту тему? У старого Либкнехта? У Каутского! Карл Каутский, да. Журнал «Новое время», статья о Франце Меринге — с годик назад. Ага, так. Речь идет о типичном интеллигенте, стоящем на почве (так и сказано — на почве) буржуазного общества; о том, что хотя такой интеллигент, в отличие от капиталиста, и не находится ни в каком экономическом антагонизме к пролетариату, тем не менее его жизненное положение, его условия труда таковы, что из них все равно вытекает известный антагонизм в мышлении и настроении.

Вникнем в суть, говорит дальше Каутский. Если взять пролетария, то он — ничто, пока остается один. Всю свою силу он черпает из организации, из совместной деятельности с товарищами. Он чувствует себя великим и сильным, когда он составляет часть великого и сильного организма, не иначе. Этот организм для него — всё, отдельный же индивидуум значит по сравнению с ним очень мало. Потому-то пролетарий и ведет свою борьбу с величайшим самопожертвованием, как частичка массы, без видов на личную

выгоду, на личную славу; именно поэтому он исполняет свой долг на всяком посту, куда его поставят, добровольно подчиняясь дисциплине.

Другое дело интеллигент. Его оружие — прежде всего личные знания, личные способности. Говоря иначе, он может преуспеть только благодаря своим личным качествам. Полная свобода проявления личности представляется ему поэтому первым условием успешной работы. Лишь с трудом подчиняется он целому, подчиняется по необходимости, а не по собственному побуждению. Необходимость дисциплины признает он лишь для массы, а не для избранных душ. Себя же самого он, разумеется, причисляет к избранным душам.

Умница Каутский, восстанавливая в памяти ход его рассуждений, думал Бауман; поразительно тонкое наблюдение. И как смелы, как глубоки выводы, которые он делает... Первый вывод — что философия Ницше с ее культом сверхчеловека, для которого все дело в том, чтобы обеспечить полное развитие своей собственной личности, и которому всякое подчинение своей персоны какой-либо общественной цели кажется пошлым и презренным, эта философия и есть настоящее миросозерцание интеллигента, она-то и делает его совершенно непригодным к участию в классовой борьбе пролетариата. Вывод второй: такой тип интеллигента неизбежно должен прийти в столкновение с пролетарским движением, вообще со всяким народным движением, как только он попытается действовать в нем. Это потому, что основой пролетарского, как и всякого демократического движения является уважение к большинству товарищей, а «типичный» интеллигент как раз в этом большинстве видит чудище, которое должно быть ниспровергнуто.

 На первый взгляд, выводы эти никак не согла-

суются с тем, что пролетариат в условиях буржуазного общества не может, просто не в состоянии самостоятельно выработать социалистическое сознание, что это сознание привносится в рабочее движение извне, и привносится именно интеллигентами. Противоречие? Нет и нет. И Каутский с блеском доказывает это, притом не умозрительно, не при помощи ловких логических построений, а на конкретных, что особенно ценно, примерах. Вспоминая Вильгельма Либкнехта (ага, вот почему вначале подумалось, что эти мысли принадлежат ему!), говоря об этом старейшем деятеле рабочего движения, Каутский с полным основанием утверждает, что идеальным образцом интеллигента, который всецело проникся пролетарским настроением, который утратил специфически интеллигентские черты психики, который без брюзжания шел в общей шеренге, работал на всяком посту, на какой его назначали, всецело подчинял себя делу и презирал то дряблое хныканье по поводу подавления своей личности, которое мы слышим часто от интеллигентов, когда они остаются в меньшинстве,— идеальным образцом такого интеллигента, какие нужны социалистическому движению, как раз и является Либкнехт. И не он один, добавляет Каутский. Можно, говорит он, назвать также Маркса, который никогда не протискивался на первое место и самым примерным образом подчинялся партийной дисциплине в Интернационале...

Любопытно все-таки, с какой неотвратимой последовательностью возвращается история на круги своя, подумал Бауман. Конечно же Каутский и в мыслях не имел событий, развернувшихся на нашем съезде, да и статья-то эта, собственно, появилась месяца за четыре до съезда, когда и самый великий мудрец не мог предугадать, что произойдет. И вот, на-поди, с

какой точностью целит она ныне по меньшевикам! Политическая суть расхождений — может быть, не всем и не вполне понятная во время съезда — с каждым днем становится теперь все более ясной и очевидной. И расхождения эти таковы, что их невозможно затушевать, рано или поздно они все равно неизбежно должны были проявиться, прорваться. Речь ведь идет о главном — угодно вам это, господа хорошие, или нет. Речь о том, каковы пути нашей революции, какая роль отводится в ней пролетариату — главенствующая или подчиненная; подчиненная либеральствующей, до мозга костей развращенной российской буржуазии. Да, тут все ясно, и по этим пунктам нам с вами никогда не сойтись, никогда.

Но помимо этих, политических, расхождений есть и моральные, сугубо моральные — вот в чем фокус. Каутский здесь абсолютно прав: одно влечет за собой другое, иначе не может быть. Причем Каутский дважды прав. Когда говорит о филистерской, замешанной на буржуазном тесте интеллигентской чванливости, о вольном или невольном высокомерии к рабочим, которым отказывается в возможности быть полноправным «субъектом» движения. И когда вскрывает нравственную подоплеку нежелания подчиняться партийной дисциплине. Всё так, истинно так. С поправкой, разумеется, на темперамент тех или иных представителей нашего меньшинства...

Закалка, вновь вернулся он к этой мысли. Революционная закалка. С какого бока ни подойди — все упирается в это. В то, сколь тверд ты в своих убеждениях, какие цели преследуешь, вступив в партию,— личные, корыстно-карьеристские или общие. Твердокаменный... Это слово любит Ленин. «Твердые искровцы» — это раньше. Теперь — «твердокаменные

большевики». Право, отличное словцо. Не то что — брр! — мягкотелость.

Мы твердокаменные, подумал он. Мы ничем не поступимся, ни принципами своими, ни убеждениями,— это тоже так. Но... бог ты мой, знал бы кто, как тяжко это — рвать со своими, с друзьями рвать. Какая это болючая боль — разойтись, «расплеваться» с теми, чье плечо долгие годы привык чувствовать рядом, с кем пережиты крутые, отчаянные моменты. А дело ведь до того дошло, что даже мы, неразлучные «киевляне», бежавшие из Лукьяновки, оказались по разные стороны баррикады! Я, Литвинов, Пятницкий, Бобровский — здесь, Крохмаль, Блюменфельд — там... Труднее всего драться именно с близкими людьми, Ленин прав. Тут и «твердокаменность» не очень помогает...

Вовек, подумал он, сколько жив буду, вовек не забыть, как, отправившись после съезда на Хайгетское кладбище,— после съезда, где мы победили! — как невеселы, как подавлены были мы все. Могила Маркса. Старая мраморная плита. Миртовый венок. Молча стояли у могилы, обнажив головы. Сколько же нас было тогда? Мало! Горстка. Горстка русских революционеров, пришедших поклониться праху своего учителя.

А потом нас стало еще меньше, подумал он. Да, Плеханов.

Как возбуждался он, когда у Ландольта, в Женеве, громил на наших собраниях меньшевиков — этих «отщепенцев», этих «жалких людей»! Как преображался, как молодел он, когда репетировал перед нами свои шаги, свои действия, которые предпримет на ближайшем же заседании съезда Лиги! Сцена, мда... Гром аплодисментов... И как жалок он был, как прятал глаза, как заискивал перед всеми нами, лепеча

что-то там насчет скандальных жен, которым-де лучше уступить!.. И ведь сам понимал, что делает. Уже тогда понимал! Но остановиться не мог...

Начав с малого, Плеханов — гордый, блистательный, неподкупный, до щепетильности честный Плеханов! — уже в открытую пошел на вероломство. Ну разве это не вероломство — то, что он проделывал на Амстердамском социалистическом конгрессе! Этот трюк с телеграммой Ленина, телеграммой в адрес президиума конгресса, где Ленин, который не мог присутствовать на заседаниях, просил заменить его Лядовым и Красиковым! Телеграмма попала в руки к Плеханову, он утаил ее от президиума, а когда Роза Люксембург спросила, что это за телеграмма, сказал — поздравительная... А как назвать его поведение на том же конгрессе, на заседании исполкома Интернационала, куда Лядов обратился с жалобой, что Плеханов делает все, чтобы не допустить большевиков на конгресс! Уличенный в обмане с телеграммой, Плеханов, защищаясь, стал отрицать наличие принципиальных разногласий в партии. Партия наша, говорил он, едина, а есть, мол, лишь Ленин, желающий играть первую роль в партии, и небольшая группка его друзей, которые недовольны положением в партии,— так с ними у нас не расхождения, упаси боже, а только маленькие, ничтожные нюансы; ну, а коль партия едина, то нет и необходимости давать большевикам особое представительство...

Тут не выдержал Виктор Адлер: «Знаешь, Георгий, я всегда считал тебя большим нахалом, но все же никак не предполагал, что ты такой нахал. Не ты ли сам прожужжал нам все уши о ваших разногласиях с Лениным? Я не знаю Ленина, не знаю, прав ли он, но ведь он получил большинство на съезде. Как же ты отрицаешь это теперь?»

А меньшевики, конечно, ликовали. Теперь «сам» Плеханов с ними, окончательно и бесповоротно с ними...

Да что же это делается! Такой талантище, такой ум — на голову ведь выше многих и многих в европейской социал-демократии! Его книги по партийным вопросам, по философии, его блистательные литературные эссе — они же останутся навечно! И вдруг этот скачок вправо... И что особенно обидно — он куда ведь лучше (даже и теперь), куда чище всей этой крикливой компанийки. Неужто сам не понимает, что он — белая ворона среди них?

Георгий Победоносец — эх. Неправильно все это, нехорошо. Постыдно! И уж вел бы себя тихо, все не так стыдно, так нет — во всеуслышание, печатно, возгласил свое предательство. И где — в «Искре»! В новой «Искре», куда самочинно кооптировал всех «обиженных»,— Ленин к этому времени уже вышел, в знак протеста, из редакции... И вот в первом же номере этой новой «Искры» — 52-м номере — он, Плеханов, публикует целый манифест, озаглавленный (с намеком на ленинское «Что делать?») — «Чего не делать». Статья, где с истовостью вероотступника спешит откреститься от былого... от самого себя откреститься...

В тот же день Эдик Эссен, только-только приехавший из Питера, набросал карикатуру. Георгий Валентинович изображен отплывающим на калоше от левого берега к правому. Слева Ленин, старающийся вернуть его на свой берег; кажется, здесь же — заводские трубы, толпа рабочих, да, да, много рабочих... А на правом берегу — одинокие фигуры Мартова и Троцкого. Парусом же калоши, на которой плывет Плеханов, служит первая страница «Искры» с этим самым заголовком — «Чего не делать». Рисунок не

бог весть какой, даже, пожалуй, аляповатый, но точный. Видел ли его Плеханов? Нет, наверно. Впрочем, что это я? Уж не думаю ли, что в тот момент какая-то там карикатура могла подействовать на него?

Ба! Ко мне пожаловали гости. Целая делегация. Ну, круглолицый солдатик-надзиратель — это понятно. «Личная» охрана. А что тем двоим, в дверях, надобно? Ясно: доставлен ужин. Форточка-то зарешечена, приходится вот с доставкой на дом. А чтоб я не тюкнул круглолицего и не «сбёг», благо дверь теперь открыта,— эти двое и караулят в дверях. Остроумно... Итак, ужин. Еда отвратительная, но — еда. Привередничать не приходится.

Прервали, собакины дети. Мысль перебили. А... Карикатура Эссена, кудрявого мальчика со странной кличкой Барон. Довольно смешной рисуночек. Остро схвачен Плеханов: гордая голова небожителя. Но нам невесело было всем. Мы сидели в столовой у Ленина, на «Каружке» — Rue de Carouge. Из гостей — Барон, стало быть, потом я, Лядов, Бонч-Бруевич, Циля Зеликсон, Бобровский, кто-то еще, не помню. Лепешинский, да. Сидим как в воду опущенные — угрюмые, мрачные. Точно покойника схоронили. Так и есть — покойник. Плеханов... Нужно было разрядить обстановку, любым способом. Я тут же сочинил историйку. Будто меньшевики хвастают: «Вы видите, кто примыкает к Ленину? Ветеринары! Бауман, Бобровский — это же лошадиные доктора! А вот у нас, у меньшевиков, у нас доктора настоящие, человеческие! Федор Дан, например...» Поулыбались, опять скисли.

Тогда заговорил Эдик Эссен. Нет, он и не думал смешить. Напротив, он говорил серьезно. Он хотел показать, как крепки позиции большевиков на местах

и что, следовательно, нет причин для уныния. «У нас в Питере»,— начал он. Нет, не так. «Не знаю, как где,— горделиво начал он,— а вот у нас, в Питере, работают целые коллективы: коллектив пропагандистов, коллектив агитаторов, коллектив организаторов». Ленин прямо коршуном накинулся на него, закидал вопросами. «Батенька, что же вы до сих пор-то молчали! Сколько человек у вас в коллективе пропагандистов?» Мается Барон, петуха пустил от смущения, сфальцетил: «Пока я один».— «Маловато! — смеется Ленин.— Ну, а в коллективе агитаторов?» Барон прямо пунцовый стал: «Я один пока...» Про коллектив организаторов никто уже не спрашивал. Хохотали до упаду. На минутку о Плеханове даже забыли...

Интересно, знает ли наш многоуважаемый Георгий свет-Валентинович, какими методами действуют его новоявленные союзники? В такие вещи его, поди, не посвящают. Впрочем, как знать! Теперь уже ни за что поручиться нельзя. Может, и знает, может, и одобряет: неисповедимы пути господни.

Но методы, каковы, однако, методы! Вероятно, ничто так не выдает меньшевиков, как эти методы, эта неразборчивость в средствах. Не в клевете даже дело — бог с ними, пусть клевещут, пусть наклеивают свои ярлыки, если, по их разумению, в этом и заключается суть идейной борьбы. Но опускаться до приемчиков босяков с Молдаванки... Интеллигенты чертовы!

История с Литвиновым хотя бы. ЦК назначил его заведовать партийной типографией. Вместо Блюменфельда, меньшевика. Приехав в типографию, Литвинов прошел в редакционную комнату (там помимо Блюменфельда был также Мартов), предъявил распоряжение ЦК. Блюменфельд ни слова в ответ, по-

вернулся и вышел из комнаты. Ушел и Мартов. А через минуту Литвинов услышал, как кто-то запирает дверь. Проверил — так и есть, заперта дверь. Решил — шутка. Час прошел — хороша шуточка! Пришлось просить по телефону товарищей приставить к окну лестницу, по которой потом и спустился со второго этажа... Отлично вижу всю эту картину, будто сам свидетелем был! Представляю, как, близоруко щурясь из-под очков, ухмылялся доблестный вождь меньшевиков Юленька Мартов, как покуривал он при этом неизменную свою папироску, обсыпая пеплом лацканы пиджака...

А «наши», московские меньшевики? Что они вытворяли на первых порах?! Труба пониже, дым пожиже — а все туда же, как бы от «вождей» не отстать! Тоже типографию захватили, весь шрифт прикарманили. Добро б еще сами что-не-что печатали, нет, кишка тонка. Но — сам не «ам» и тебе не дам...

Что и говорить, веселенькая у меня с ними встреча была, первая. В состав-то комитета, конечно, ввели — деваться некуда, мандат ЦК как-никак предъявлен, но, видно, чуяли, что «неудобен» я для них, попытались вначале образумить приезжего большевичка, в праведную свою веру обратить. Больше всех старался Вольнов, явный лидер всех их. Цейтлин подпевал только. Запомнилась еще Силуянова, со строгими глазами школьной наставницы и гладко зачесанными, стянутыми на затылке в тугой узел волосами.

Я ожидал, что Вольнов сразу начнет с нападок. Ничуть не бывало. Он приветливо улыбался, всячески изображал радость: вот-де как здорово, что такой «опытный», такой «известный», такой «первоклассный» работник объявился на нашем несколько «под-
 запущенном» московском горизонте... Эпитетов не

жалел, словом. И вообще изъяснялся вполне роскошно: «Я нимало не сомневаюсь... Позволю себе заметить... Прошу меня великодушно извинить...» Цицерон!

Ну, разумеется, цель у него была вполне, так сказать, определенная, вовсе неспроста стелил он так мягко. Очень уж ему хотелось, чтобы, бия себя в грудь, я тут же бросился им в объятия. Трогательно говорил товарищ Вольнов, чрезвычайно трогательно. Дай бог память... Вот:

— Меньшевики, большевики...— (Слеза в голосе.) — Как всё это нелепо! Разве мы не делаем одно дело? Мы — социал-демократы, марксисты, люди одной партии. Это главное. Пустяки же, по которым мы расходимся, право, не стоят того, чтобы ломать из-за них копья.

Я молчал, мне было важно до конца понять, на какой основе мыслит себе Вольнов мир между нами. Чем черт не шутит, думал я, может, московские меньшевики — поскольку находятся в гуще движения — оценивают обстановку более здраво, чем их женевские заправилы? Я сидел с совершенно непроницаемым лицом и слушал Вольнова. Но вот он подошел к существенному. Он простер вперед руку... гм, гм, не иначе как для того, чтоб усилить, подчеркнуть значение своих слов... и воскликнул:

— Необходимо учитывать закономерности исторического развития, а не принимать наполеоновские мечтания за действительность!

Тут, помнится, он умолк, победно оглядывая присутствующих, и было непонятно — то ли он сказал все, что хотел, то ли просто перевел дух, чтобы потом с новой силой продолжить свою сверхзажигательную, словно бы на тысячную толпу рассчитанную речь. Этой-то паузой я и воспользовался.

— То есть? — тихо спросил я.

Вольнов, тоже отлично помню, настороженно нацелил на меня стекляшки очков:

— Не понимаю.

Пришлось объяснить:

— Что вы имеете в виду, говоря о наполеоновских мечтаниях и действительности?

— Неужели вам не ясно? — сманеврировал он, должно быть, догадываясь, что, стоит ему расшифровать роскошно-туманную свою фразочку, тотчас псу под хвост пойдут все его миротворческие усилия.

— Не вполне ясно,— сыграл я в наивность.

— Хорошо, я уточню свои слова. Речь вот о чем. Думаю, вы не станете возражать, если я скажу, что движение растет и ширится с каждым днем. Растет как на дрожжах, я бы сказал. Короче говоря, хотим мы того или нет — Россия идет к революции.

— Бесспорно,— охотно подтвердил я.

Уж не знаю, ей-ей, до сих пор не знаю, что подействовало так на него: мое ли мимоходное это замечание, которое он, возможно, воспринял как полное одобрение своей позиции, или, наоборот, угадав, что не найдет во мне союзника, он из-за этого решился идти напролом,— но та открытость, та откровенность, с какой он излагал взгляды своих сторонников, показалась мне в тот момент просто поразительной.

Но я отвлекаюсь. Вольнов! Человек, решившийся высказать, притом перед своим противником, нечто в высшей степени знаменательное.

— Да, бесспорно,— полемически заострил он.— Россия идет к революции. Но также бесспорно и то, что революция эта не социалистическая, а буржуазная; если точнее, буржуазно-демократическая — учитывая, что вместе с буржуазией выступят и другие классы. Вы согласны с этим?

— Вполне.

— Превосходно. В таком случае вы должны согласиться и с тем, что потому эта революция и буржуазная, что на нынешнем этапе противостоят друг другу две основные силы: буржуазия, с одной стороны, царизм — с другой. Таким образом, власть у царизма призвана — самой историей призвана! — взять буржуазия.

— Простите, а рабочий класс?

— Рабочие, естественно, не будут стоять в стороне, помогут! Такова действительность, согласующаяся, к слову, с опытом всех европейских революций, вспомним хотя бы революцию 48 года в Германии. Подобный же путь должна пройти и Россия. Бонапартистские же мечтаньица, как мы их понимаем, заключаются в том, что люди, некоторые люди, забывая об этом, готовы именно рабочий класс отправить на Голгофу — таскать, если позволено будет так выразиться, каштаны из огня для буржуазии. Да еще и вопрос — нуждается ли буржуазия в таких, э... каштанотаскателях, не отшатнется ли! Вы имеете что-нибудь возразить?

Я имел что возразить. Я говорил спокойно, до удивления спокойно. Говорил, что нужно быть слепым, чтобы не заметить, сколь существенно — со времен-то германской революции! — изменились исторические условия — не только в России, но в России особенно. Буржуа отшатнутся от революции? Отлично. Чтобы революция победила, как раз и нужно заставить буржуазию отшатнуться. Только пролетариат в состоянии одержать победу... Я говорил довольно долго, а мог и ничего не говорить — результат был бы тот же. Мы разговаривали на разных языках.

Да, пропасть. Именно пропасть разделяет нас. Не только в вопросах теории или тактики — здесь я еще

могу понять ошибки и заблуждения, вопросы достаточно сложны. Нет, по любому пункту, самому конкретному, частному, не было между нами ни точки соприкосновения.

Ну, вот хоть это... «Нас рассудит История!» — воскликнула молчавшая до той поры Силуянова и посмотрела вверх, словно История, как и господь-бог, пребывает как раз на небе. История само собой, согласился я, но не худо бы уже сегодня пойти к рабочим и попросить их рассудить нас. Ох, и накинулись же они на меня! О чем вы говорите? Это же темные, это же невежественные люди! Как можно делать их судьями в наших спорах? Что они поймут?

Это говорили революционеры. Это говорили члены рабочей партии.

Я сдержался. Вероятно, зря. Но я еще не терял надежды воспользоваться их связями на заводах и фабриках. А надежда, как выяснилось, зряшная была. Нет у них связей в рабочей среде, не было и нет. По «принципиальным», так сказать, соображениям. О том, что это к тому же совсем небезопасно: охранка-то не спит! — об этом они, понятное дело, предпочли умолчать.

Храбрецы. Типографию и ту умудрились «законсервировать». Это Цейтлин, храбрец номер один, так элегантно выразился. «Чего ради?» — поинтересовался я. Объяснили: «Конспирация».

Только тут я дал себе волю, заметил с усмешкой: о да, конечно, это очень надежная конспирация — ничего не делать! Обиделись. Люто и злобно. «Вы, большевики, никогда не получите нашу типографию!» — «Люди добрые, позвольте, но почему же «вашу»? Это ведь партийная как-никак типография?» — «Не имеет значения! Типография в наших руках, и вы ее не получите».— «Но ведь это нече-

стно!» — «В борьбе с вами любые средства хороши!..» Словом, цель оправдывает средства. Лихо! Орден Иисуса, у тебя достойные продолжатели!..

Впрочем, всё верно: средства насквозь пропитаны целью, строго сообразованы с нею. Да. Неправедная цель может достигаться только нечестными, нечистыми средствами. Не иначе. Да и немалый вопрос еще, достижима ли вообще такая цель. Даже такие (раз уж помянул иезуитов) всесильные, казалось, средства, как инквизиторские костры, даже они, в общем, не достигали своей цели — укрепления веры. Скорее наоборот. Истребляя неверующих, костры возбуждали новый дух протеста новыми фактами кричащего противоречия между учением церкви о божественном милосердии и поведением их кровожадных служителей. Так и должно быть: ложь да обман, как ни ловчи, к правде не приведут, нет! Гм, пословицами заговорил? Собственного изготовления? Довели меньшевички, ничего не скажешь! Ладно, вот вам другая пословица, уже не моя — из самой что ни есть глуби народной: без правды века не изживешь. Будь моя воля, заставлял бы их, меньшевиков, повторять эти слова раз по сто, как экзерсис,— да, да, каждое утро и натощак... чтобы лучше запомнилось!

Веселюсь? Это сейчас. А тогда ой и кисло же мне было! Такие надежды возлагал на эту встречу — и все прахом. Несолоно хлебавши ушел. Распрощались холодно, как чужие. Чужие и есть. Вот уж торжествовали они, представляю, оставив меня без явок, без связей, без типографии — этаким новоявленным министром без портфеля. Притом не могли же они не понимать, что, лишив меня всего этого, они, по сути, сознательно отдавали меня на съедение охранке. Расчудесно всё понимали! На то́ и рассчитывали — что охранка не даст мне особенно разгуляться. И дей-

ствительно: если бы не Качалов, не Морозов и, главное, не Мария Федоровна Андреева и еще многие, кто давал мне более или менее надежный приют, если бы не те обрывки связей, что сохранились каким-то чудом с прошлого моего пребывания в Москве,— разве удалось бы мне закрепиться здесь? А закрепившись — заново, в сущности, выстраивать всю работу?

Первые шаги — трудные они были. Адски трудные. Мало того, что шпики не давали покоя (уж не знаю, за кем они охотились: за Земпфегом? Иваном Сергеевичем? Бауманом? — только шагу невозможно было ступить без «хвоста»), мало этого — так еще братцы-меньшевики палки в колеса вставляли. Как они гадили нам! Сколько кровушки попили! Какую чушь распространяли среди рабочих про нас, большевиков! Никогда не забуду, как пришли мы с Федотычем на завод Гужона и как рабочие, узнав, что мы большевики, чуть не побили нас — будто мы (знакомая песня!) затеваем революцию для того, чтобы уничтожить в ней весь пролетариат. Не забуду. Не забуду и не прощу...

Наверное, это наивность, ребячество, но я свято верю, что доброе дело не могут делать, не вправе делать скверные, мелкие люди. Нет, я вовсе не думаю, что все они, меньшевики, сплошь плохи. Это, конечно, не так. Есть среди них, и немало, людей не только умных, но и тонких, честных, внутренне глубоко порядочных. Но, порази меня гром, как часто мельчат иные из них, как непорядочно ведут себя. Разобраться, так они и не очень виноваты. Такими, независимо даже от личных качеств, сделала их, и, пожалуй, не могла не сделать, сама логика борьбы.

Революция — что может быть чище и очистительней! Придет час, она победит, наша революция. Воз-

можно, это даже скоро будет. И как же зорко мы должны следить за тем, чтобы к ней не примазались бесчестные и непорядочные люди! Не дай бог, прорвется хоть один такой к большой власти и — от этой ли внутренней непорядочности, по злому умыслу или же просто от зависти, от неуемной гордыни или болезненного властолюбия — начнет такой пачкать все вокруг своими лапами. Моряки считают неизбежным, что днище корабля обрастает ракушками, тормозящими ход. У нас не должно быть этих ракушек, наш корабль всегда будет чистым. Должен быть. И порука тому — люди, которые идут с нами.

Отличные люди, да. Лучшие из лучших. Москву хоть взять, Северное бюро. Кнунянц, Лёля Стасова, Красиков, Ленгник — ну, это понятно: профессиональные революционеры, штучный отбор. Главное все-таки рабочие, они решают. С каждым днем их появляется все больше — сознательных, умных, беспредельно честных и стойких рабочих. Как быстро, в массе своей, раскусили они меньшевиков! Помню, сам был поражен, когда услышал на массовке Алешу Блохина, сверловщика с завода Листа. Какую отповедь дал он тогда Цейтлину, выступавшему от меньшевиков! Цейтлин кричал: «Большевики — не марксисты! Они отрицают то, что Россия должна пережить буржуазную революцию и что в этой революции руководящая роль будет принадлежать буржуазии!» Следующим должен был выступать я, но я еще и протиснуться вперед не успел, а он, Алеша Блохин, этот белобрысый парень лет двадцати пяти, уже начал говорить. И как говорил! «Да проснитесь же вы, господа хорошие,— вот что говорил, обращаясь к Цейтлину, великолепный парень по имени Алеша Блохин,— проснитесь да посмотрите вокруг! Вы живете ведь не тыщу лет назад, а сегодня! Как же вы не

видите, что капиталисты спелись с царем, одну линию с ним тянут? Насчет того, опять же, что буржуям нужна революция,— так это брехня! Только рабочие могут свернуть царю-батюшке сопатку, больше некому!» Ему устроили овацию. Цейтлин, я видел, был вне себя от ярости. Не выдержал, спросил у меня, когда расходились: «Ваша работа?» — «Стараемся»,— в тон ему ответил я, но это была неправда, я раньше и в глаза не видел Блохина, и то, что он выступил независимо, так сказать, от моих усилий, это-то как раз и радовало меня больше всего.

Тут было чему радоваться. Рабочие — да разве бы мы сумели без них, без их поддержки завоевать большинство в МК? И разве смогли бы создать еще Северное бюро ЦК, целиком большевистское, и через него развернуть работу во всем Северном районе — в Питере, Твери, Нижнем, Ярославле, Костроме, Владимире? Разве б отвоевали без них Москву у меньшевиков?..

А типографию меньшевики так и не отдали нам, утаили, черти. Интересно, где они сейчас? Что-то не видно их было последнее время, исчезли с горизонта. Арестованы? Нет, вряд ли. Так или иначе, но это стало бы известно. Да что-то и не припомню случая, чтобы их брата арестовывали. Нет, я вовсе не думаю, что они как-то там связаны с охранкой — до этого, надеюсь, дело не дошло; думаю, и не дойдет. Просто-напросто жандармы — не дураки же — понимают, должно быть, что в настоящий момент меньшевики не очень опасны, а поскольку борются с нами — в некотором роде даже и полезны...

Фу ты, какая неожиданная мысль! А справедливая? Мм... Да! Как ни горько, как ни неприятно сие, граждане меньшевики, а объективно, да, да, да,
 совершенно независимо от ваших намерений, так и

выходит: полезны. Ну разве ж не услугу, не бесценную услугу оказали вы господам из Гнездиковского переулка, когда, поправ все нормы партийной этики, оставили нас без типографии, а Москву, стало быть, без собственной печатной продукции, без листовок и прокламаций?

Типография. Ну никак не выходит она из головы. Верно, потому, что много мороки было с нею. Мы не могли существовать без нее, никак не могли. Сколько б ни было у нас пропагандистов и агитаторов (их было немало и все-таки безмерно мало), но без листовок, разъясняющих суть момента, без прокламаций, призывающих к борьбе,— без всего этого мы были не в состоянии охватить своим влиянием всю рабочую массу. Признаться, руки уже опускались: чего только ни делали, на какие хитрости ни шли, а даже Федотыч, при всех его знакомствах с рабочими типографий, даже он ничем разжиться в Москве не мог. Спасибо, товарищи из Смоленска и Вильны помогли. Шрифт, правда, старый, побитый, к тому же из разных гарнитур. Но мы и этому рады были до беспамятства.

Оказалось, однако, рано радовались. Мытарства наши еще не кончились на этом. Новая проблема — где разместить типографию? Федотыч договорился с одним своим знакомым, студентом,— завез печатный станок и шрифт к нему на квартиру. А жил тот студент... Володя?.. да нет же, Виктор... жил Виктор на Плющихе, в тихом церковном доме. Все бы ладно, можно бы уже и запускать нашу, кто-то окрестил, «синодальную» типографию, все уже для этого подготовлено было, но тут выяснилось, что неподалеку, буквально за углом,— полицейский участок! Я еще смеялся, говорил Федотычу — ты что, нарочно такое местечко подобрал?

Нашли другую квартиру, я сам подыскал ее — на Таганке, и цена было сходная, что особенно прельщало, денег-то у нас совсем в обрез было,— и опять неудача. Стоило запустить печатный станок — поднимался такой грохот, что даже на улице было слышно. Под нашей квартирой — кто бы мог подумать! — оказался огромный пустой танцевальный зал, он-то и служил резонатором. Ну что ты тут скажешь! Просто фатальное невезение.

Но тут, на счастье, приехала Надюш со своим «железным» паспортом на имя Кузьминой. Сняла квартирку на Нижне-Красносельской — туда и типографию водворили. Пока. До лучших времен. Так всю зиму и длилось это «пока». Не одну тысячу листовок оттиснули. А ведь солидный «штат» обслуживал нашу старую тарахтелку! Надюш, Федотыч, Серов с завода Листа, водопроводчик Чукаев, Виктор-студент, я. Нет, я не в счет, я как раз меньше других непосредственно печатанием занимался. Других дел хватало: заводы, районные организации.

А и отчаянные же, как посмотрю, были мы люди... Держать типографию у себя — в подпольной квартире секретаря Московского комитета! Немыслимый риск. Почти безумие. Но это не от хорошей жизни — такая неконспиративность. Просто не было другого выхода. Не ждать же, в самом деле, когда появятся благоприятные условия. Наши прокламации нужны были не завтра, а именно сегодня. И так по милости меньшевиков мы изрядно подзадержались с их выпуском. И ради того, чтобы рабочие Лефортова и Сокольников, Бутырок и Замоскворечья уже сегодня бесперебойно получали нашу печатную продукцию,— ради этого можно было идти на все, на любой риск. Нет, даже и сейчас я не брошу в себя камень, даже сейчас воздержусь обвинять себя в легкомыслии.

Чего не было, того не было. Все делалось обдуманно и совершенно сознательно.

Но и ищейки, понятно, не дремали. Должно быть, все же пронюхали что-то, напали на след. Ничем иным, во всяком случае, нельзя объяснить, что Кнунянц был схвачен на подходах именно к Красносельской. В марте это было. Той же ночью свернули типографию, по частям растаскали. Обидно, конечно, но что поделаешь. Я еще подумал тогда — что ж, на том хоть спасибо, что эти-то два месяца дали спокойно поработать.

А недельки через две, уже в апреле, удалось снять, и недорого, эту заброшенную дачку в Петровском парке. То-то ликовали мы: дачка уединенная, на отшибе стоит, ни единого дома в ближайшем соседстве! Апрель, май, июнь... впрочем, не полный июнь, до девятнадцатого... значит, два с половиной месяца бесхлопотно работала здесь наша типография. Недурственно, а? И еще ведь немало послужит старушка! Только бы Федотыча не взяли. Он знает (заранее договорились) место, где, в случае чего, я должен закопать шрифт и станок. Не забыл бы только. Ну нет. Федотыч не из тех, кто забывает.

Отличнейший подпольщик выработался из него! Ему бы грамотешки только побольше. Но ничего, это дело наживное, было б желание. За ним-то, за Федотычем, остановки не будет: на лету все хватает, как губка, впитывает. Тут моя вина, каюсь,— ну ни минуты же не было для занятий с ним.

Очень он мне Ивана Бабушкина напоминает. Даже внешне.

А Бабушкин, где он сейчас, Бабушкин? Последний раз в Лондоне виделись, у Ленина. Ленин жил тогда... память, память! нет, все в порядке... Ленин тогда жил на Холфорд-Сквере, 30, снимал квартирку из двух

комнат у почтенной англичанки с несколько странной, на русское ухо, фамилией Йо. Когда это было? Осенью. Следовательно, в сентябре девятьсот второго. До съезда... Бабушкин тоже тогда из тюрьмы сбежал, в Екатеринославле. Перепилил решетку — и был таков. Фантастический побег! А потом, после нашей встречи уже, укатил он в Питер. Там и арестовали его вновь, сослали в Якутию. В Верхоянск. Гибельное, говорят, местечко. И бежать оттуда трудненько. Как и отсюда, из чертова этого изолятора...

Солдатик — на посту? А как же! Ну и рожа. А в общем, зря злоблюсь. Обыкновенное лицо. Если б не ружьишко, так даже и милое. Фу ты, милоту, тоже, нашел!..

Ну — спать. Пора. Тяжелый выдался денек.

Спокойной ночи.

Все. Сплю.

4

Когда посреди ночи его растолкали и старший надзиратель приказал одеться, первым желанием было — послать всех их к черту, ни на какие допросы не идти. Но рассудив, что это в его же интересах — пораньше узнать, в чем обвиняют, оделся.

Комната, куда его привели, помещалась рядом с канцелярией, на первом этаже. За столом сидел ротмистр.

— Ротмистр Васильев,— чуть привстав, назвал он себя.

И улыбнулся.

Бауман мельком подумал, что у кого-то еще была точь-в-точь такая же вот — осторожная — улыбка, но не успел додумать до конца, понял уже — не у кого-то, а именно у этого человека была такая улыбка. Только тогда он не назвал свою фамилию...

— Садитесь.

— Благодарю.

— Приступим?

— Я еще не проснулся.

Тогда ему незачем было представляться. Вероятно, он назвал бы себя позже — на станции Грязи, где, как он обещал, арест был бы произведен «по всей форме».

— Папиросу?

— Пожалуй.

— Крепкий чай?

Тот же голос. Та же, едва обозначенная, ирония превосходства. «Я вас понимаю, крайне неприятно быть арестованным на станции с таким названием... Грязи».

Но не надо так пристально смотреть на него. Лишнее. Авось пронесет, обойдется.

Нет...

— Рад видеть вас в добром здравии, Николай Эрнестович.

Да и не могло обойтись.

Все это было (как только ввели его, еще до того даже, как ротмистр улыбнулся особенной своей улыбкой, в тот же миг Бауман понял это), все это было нарочно подстроено — чтобы еще до начала допроса ошеломить его.

— Признаться, я уже не рассчитывал встретить вас среди живых... учитывая совершенно исключительные обстоятельства, при которых мы расстались.

Ротмистр торжествовал, хотя явно этого не показывал. Бауману, в общем-то, было все равно, ротмистрово пижонство несколько даже забавляло его, но он подумал, что сейчас самое как раз время показать ротмистру бесполезность его игры. Бауман сказал:

— Надеюсь, я вызван сюда не для этой светской беседы?

— О нет. Для допроса, разумеется. Но — вспомнилось вот! — И ротмистр продолжил, доверительно понизив голос: — У меня были тогда крупные неприятности. Могли быть еще большие, если бы вас не задержали вскоре,— такие вещи, согласитесь, не скоро забываются. Однако вы правы — к делу. Фамилия ваша, имя, отчество? — Приготовившись записывать, ротмистр придвинул к себе лист бумаги.

— Я не желаю назвать себя.

Ротмистр с удивлением посмотрел на него.

— Не понимаю.— И повторил: — Не понимаю — какой смысл.

— Вероятно, все же есть смысл.

Ротмистр был отменно любезен.

— Вы настороженны, это можно понять. Но все-таки послушайтесь доброго совета. Раз уж так совпало, что мы с вами знакомы,— поверьте, в ваших же собственных интересах...

Ну до чего же все они одинаковы, эти господа жандармские расследователи! Как пекутся об интересах своих жертв!.. Бауман сказал:

— Предпочитаю сам заботиться о своих интересах.

— Как вам угодно,— холодно проговорил ротмистр.— Тем не менее я вынужден повторить свой вопрос: ваша фамилия, имя, отчество?

— Я отказываюсь давать показания.

— Но почему же?

— Не испытываю желания помогать вам в вашем ремесле.

— Признать очевидное — помилуйте, какая же это помощь.

Бауман промолчал.

— В таком случае,— пожав плечами, сказал ротмистр,— зафиксируйте свой отказ на бумаге и распишитесь.

Бауман усмехнулся: очень уж на примитивную удочку пытался поймать его жандарм. С этой же усмешкой и сказал:

— А если вы сами запишете — что, вам даже в этом не поверят?

Понадобилось время, чтобы ротмистр нашелся, что сказать,— Бауман с удовольствием наблюдал, как он усмиряет себя.

— Вы хотите непременно разозлить меня. Не пойму только, зачем вам это. Ну, будь по-вашему. Я записываю: «Назвать себя отказался». Полагаю, вы и на другие вопросы не станете отвечать?

— Естественно.

— Все же я поставлю их перед вами.

— Зачем?

— Мне важно, чтобы ни один вопрос не остался без ответа. Того или иного ответа. Итак: где вы проживали за границей?

— Отказываюсь от дачи показаний.

— Когда вы приехали в Россию и, в частности, в Москву?

— Не желаю говорить.

— Где проживали в Москве?

— Давайте упростим процедуру.

— То есть?

— Задавайте все вопросы сразу.

— Хорошо. Знакомы ли вы с Еленой Стасовой и Артуром Циглером? Каково подлинное имя Артура Циглера? Признаете ли вы, что являлись секретарем Московского комитета и одновременно членом Северного бюро ЦК РСДРП? — Ротмистр оторвался от бумаги.

— Всё? — спросил Бауман.

— На первый случай достаточно. Что записать?

— Что я отказываюсь от каких бы то ни было показаний.

— Благодарю.

Сделав соответствующую запись, ротмистр захлопнул папку, убрал ее в ящик стола.

— Допрос, как видите, окончен,— сказал он.— Но, несмотря на поздний час, я все же осмелюсь задержать вас несколько. То, что я имею сообщить, думаю, заинтересует вас. Я даже уверен, что сведения, которыми я располагаю, представляют для вас сугубый интерес. Первое: Надежда Константиновна Кузьмина, арестованная вместе с вами, таковой в действительности не является. По справкам, наведенным нами, владелица паспорта, Кузьмина, уже скоро год как умерла. Есть серьезные основания полагать, что арестованная является вашей гражданской женой — Капитолиной, стало быть, Поликарповной Медведевой. Далее. Той же ночью, что и вас, мы арестовали некоего господина, назвавшегося Артуром Циглером, специалистом по артезианским колодцам системы Ракки. Он говорит только по-немецки и утверждает, что вообще не знает русского, ни слова. По имеющимся же у нас данным, он превосходно, во всяком случае, не хуже нас с вами, владеет русским языком. Доподлинно нам также известно, что он активнейший деятель Северного бюро. Установить его настоящее имя — задача ближайшего времени. Думаю, что это выполнимая задача. Ведь удалось же нам дознаться, что задержанный нами в марте потомственный дворянин Алексей Гогоберидзе — не кто иной, как делегат вашего второго съезда Богдан Кнунянц... Я вам не наскучил? В таком случае продолжу, с вашего позволения. Позавчера вечером на вокзале в Нижнем

арестована женщина — по паспорту Елизавета Павловна Беклемишева, вдова коллежского асессора. Разумеется, уже при ее задержании мы знали, что это Елена Стасова. Сегодня я ее допрашивал и, смею уверить, получил от беседы с нею истинное удовольствие. Чрезвычайно умная особа! Хотя и с жальцем. Спрашиваю: «Почему у вас возникло желание жить по чужому паспорту?» — «Ничего подобного»,— отвечает. «Тогда почему же,— говорю,— вы скрываете, что вы замужем? Нам известно, что вдова Беклемишева вышла замуж за Крестникова...» Думаете, растерялась? Нет! Отвечает: «Вполне возможно, что какая-нибудь вдова Беклемишева и вышла замуж за Крестникова, но я за Крестникова замуж не выходила».— «В таком случае,— говорю,— не девица ли вы Елена Дмитриевна Стасова?» Смеется мне в лицо, говорит: «А почему я должна, собственно, быть Еленой Дмитриевной Стасовой?» Наконец, уже составляя протокол, спрашиваю, признает ли она себя виновной. В ответ: «А кого вы спрашиваете?» — «Беклемишеву!» — «А кто вам сказал, что я — Беклемишева?» — «Тогда я спрашиваю Елену Стасову».— «А Стасова от всяких показаний отказывается!» — «В таком случае я спрашиваю Беклемишеву!» — «Так вы ее и спросите, я за нее отвечать не могу». Словом — сказка про белого бычка. А за ней, надо сказать, хвост еще по петербургскому делу тянется. Вот я и решил задать ей несколько вопросов из досье. Выслушала она меня, а потом вдруг заявляет: «Я требую немедленно предоставить мне вторую камеру!» — «Помилуйте, зачем?» — « А чтобы сидеть в ней по петербургскому делу!» Как видите, и в моем «ремесле» бывают веселые минуты. А вот Красикова — упустили! Успел пересечь кордон. Наш приказ — арестовать — поступил на границу с опозданием...

Ротмистр с улыбкой откинулся на спинку стула. Помолчал с минуту.

Потом сказал:

— Вас, вероятно, удивляет — с чего это я вдруг разоткровенничался?

Бауман не отреагировал на это замечание.

— Что ж, я охотно удовлетворю ваше любопытство.— Ротмистр сказал это таким тоном, словно Бауман в самом деле проявил как-то свою заинтересованность.— Охотно... В отличие от многих моих коллег, я не сторонник такого ведения следствия, при котором арестованному сначала объявляют, что о нем все известно, а потом путают, ловят его на противоречиях, как бы заманивают в ловушку,— в надежде, что он проговорится. Это примитив. Это для новичков. В вашем же случае мне гораздо выгоднее, чтобы вы точно знали, что мне известно... вернее, как много мне известно. К концу расследования, уверяю вас, я буду знать довольно много. Так вот, если позволите, я продолжу свою мысль. Я исхожу из того, что любой здравомыслящий человек, обнаружив, что его вина абсолютно доказана, не станет говорить «нет», посовестится. Не так ли?

— Знаете, меня как-то мало занимают тонкости вашей профессии,— сказал Бауман.— Куда больше, признаться, меня волнует — почему, на каком основании меня держат в изоляторе? Крайне любопытно также, как это согласуется с вашими столь, мм, прогрессивными методами дознания?

— Это безобразие — изолятор; вы правы. Но, поверьте, я тут ни при чем. Это тюремное начальство перестаралось. Когда я узнал — сам до глубины души возмущен был. Мне объяснили, что опасаются вашего побега. Но это же глупость, глупость! Не в том смысле, разумеется, что вы не захотите бежать,— тут их

опасения, как я понимаю, отнюдь не беспочвенны; просто из Таганки, даже и из общей камеры, невозможно бежать. Я ничего не обещаю вам, кроме того, что попытаюсь помочь. Обязуюсь также исходатайствовать для вас право переписки с родными. Если не ошибаюсь, они в Казани живут?

Положительно, он многое знал, ротмистр Васильев. И еще в одном следовало отдать ему должное: в том, что он рассказывал, не было ни малейшей натяжки, все соответствовало действительности, даже и догадки его. Баумана подмывало, воспользовавшись словоохотливостью ротмистра, поинтересоваться (раз уж его принцип — ничего не утаивать), от кого стали ему известны многие факты. Уже и вертелась на языке сдобренная насмешкой фраза: а так ли уж, мол, вы уверены, что осведомители снабжают вас надежной информацией? — но удержался: косвенно даже и этот, завуалированный и язвительно поданный вопрос мог быть воспринят ротмистром как признание справедливости сказанного им.

Впрочем, как скоро выяснилось, ротмистр и не собирался делать особого секрета из того, каковы источники его осведомленности. Уже на следующем допросе — через три дня — он по собственному почину раскрыл кой-какие свои карты.

Допроса, как такового, собственно, не было. Верный своей более чем странной методе, он не задавал никаких вопросов, почти без умолку говорил сам.

— Мне доложили — вы уже отправили письмо родным,— приветливо поздоровавшись, сказал он.— Видите, я исполняю свои обещания. Есть также надежда, что в ближайшие дни удастся извлечь вас из вашего изолятора; этому делу дан надлежащий ход.

Тут он подождал немного, словно рассчитывая услышать слова благодарности. Бауман молча и с

каменным лицом смотрел на него. Тогда ротмистр перевел разговор на другое.

— Знаете, а у меня радость! — ликующе сообщил вдруг он.— Артур Циглер, представьте, заговорил порусски. Точнее сказать, вынужден был заговорить по-русски. Ему были предъявлены неоспоримые доказательства того, что он тот самый Фридрих Вильгельмович Ленгник, который отбывал в свое время ссылку по делу о петербургском «Союзе борьбы». К счастью, в сравнении с фотографией тех лет, он совсем не изменился. Вообще, должен заметить, надеяться на то, что не будут опознаны, могут разве что люди, никогда доселе не участвовавшие в движении. Зеленые новички.

Дальше ротмистр посетовал, что, даже и опознанный, Ленгник, как, впрочем, и остальные, отказался от дачи показаний. Это, разумеется, затрудняет работу, но он, ротмистр, не отчаивается, нет. За последние дни удалось, например, подтвердить целый ряд агентурных сведений. Так, наружным наблюдением давно уже были установлены частые встречи определенной группы лиц на квартире у Вячеслава Матусевича, бухгалтера биологического института, но что это за встречи, до сих пор оставалось неизвестным; сбивало с толку и то, что Матусевич в частном порядке разводил дома животных для прививок и к нему за этими кроликами и свинками в течение дня приходило не меньше десятка клиентов. Но вот вчера, после ареста Матусевича, все наконец разъяснилось. Нет, сам он ничего не сказал. Но зато...

— Зато жена его, Мария Павловна, сообщила прелюбопытные сведения. Сейчас припомню... Она говорила, во-первых, что каждую неделю, главным образом по субботам, в кабинете у мужа собиралось по пять-шесть человек. Фамилий этих людей она не

знает, но когда ей предъявили фотографии, она, не колеблясь, опознала троих... вас, Николай Эрнестович, Ленгника и Стасову. Замечу в скобках, опознание это происходило в присутствии понятых и, таким образом, приобрело силу юридического доказательства... Далее она сообщила, что, хотя собрания в кабинете мужа и проходили при закрытых дверях, однажды ей удалось все же услышать разговор, смысл которого сводился к тому, что Северное бюро должно немедленно начать работу по подготовке третьего партийного съезда. Все это, надо признать, выглядит очень достоверно. Женщина она крайне ограниченная, так что придумать такое ей просто не под силу. Единственное, что нуждается в дополнительной проверке,— участвовал ли в ваших заседаниях ее муж; она утверждает, что он ни разу на них не присутствовал. Я бы попросил вас осветить сей немаловажный пункт, но предвижу, что, из боязни признать тем самым факт проведения таких заседаний, вы предпочтете отмолчаться. Поэтому я постараюсь выяснить это, не прибегая к вашему содействию.

Последующие откровения ротмистра Бауман слушал уже вполуха. Ротмистр разглагольствовал о том, что в последние годы профессия следователя как-то утрачивает свое назначение и свою прелесть. Ну в самом деле, к чему заботиться особо о доказательствах, если все равно политические преступления рассматриваются в административном порядке: тяпляп — и готово дельце, даже при сомнительных, с процессуальной точки зрения, доказательствах. Между тем если он, ротмистр Васильев, за что и любит свою профессию, так это за то, что, согласно принципу onus probandi (бремя доказывания — в переводе), как раз на следователе лежит обязанность исчерпывающе доказать виновность обвиняемого, независимо даже

от собственного признания им своей вины. Только в этом случае, к слову, можно быть уверенным, что суд, каков бы ни был состав присяжных, не усомнится в обоснованности обвинения.

Рассуждения эти изрядно наскучили Бауману, но он терпел, в надежде услышать что-нибудь более существенное. И действительно, в заключение ротмистр поведал такую новость, ради которой можно было многое стерпеть. В явной связи с предыдущим и как бы подытоживая все сказанное, он сообщил вдруг, что недавно введено в действие новое Уголовное уложение, согласно которому теперь политические преступления, как и все прочие, подлежат без малейшего изъятия разбирательству в открытом судебном заседании.

О, это была новость! Прежде всего: судебная палата вполне могла оправдать подсудимого,— оправдана же была в свое время Засулич! А кроме того, появлялась теперь возможность использовать суд для открытого высказывания своих взглядов, для отстаивания программы и тактики социал-демократии в рабочем движении; это самое главное.

— Я рад, что мое сообщение привело вас в столь доброе расположение духа,— подавшись вперед, проговорил ротмистр.— Впрочем, не скрою, я на это и рассчитывал. Мы оба, таким образом, заинтересованы теперь поскорее закончить следствие. Я отлично понимаю, что находиться в тюрьме до суда — занятие не из самых веселых. Приблизить суд — теперь это зависит только от вас. Сделайте необходимые признания, и буквально через неделю дело уйдет в суд. Искренне советую вам подумать об этом.

Бауман пристально и словно бы другими глазами смотрел на ротмистра. О, он совсем не так прост, этот ротмистр Васильев. В новом свете рисовалась теперь

и чрезмерная его словоохотливость, и вся — белыми нитками шитая — тактика его.

— Так вы непременно подумайте,— повторил ротмистр, поднимаясь со стула.

— Хорошо, я подумаю,— сказал Бауман.

5

В тот же вечер, незадолго до отбоя, его перевели из изолятора в обыкновенную одиночку, помещавшуюся на втором этаже. Вне всякого сомнения, это ротмистр Васильев постарался,— велико, видно, было его желание задобрить неуступчивого поднадзорного, создать ему наилучшие условия для обдумывания его предложения!

Что ж, премного благодарен, господин ротмистр. Это без издевки, от души. Избавиться от этих сощуренных глазок, день и ночь сверлящих тебя сквозь зарешеченную фортку в двери,— уже благодеяние. Что ни говори, тягостно это все-таки — не иметь возможности хоть на минуту остаться одному.

Но были и другие, в сравнении с изолятором, преимущества у одиночки. И первое из них — соседи, с которыми, если повезет попасть на своих, можно перестучаться через стену, поговорить.

Едва надзиратель, замкнув дверь, отправился в свой обход по коридору, Бауман постучал в соседнюю камеру: кто там, отзовитесь. Повезло: соседом оказался Соломон Черномордик, тоже большевик, районный организатор в Сокольниках. Он сообщил, кто арестован. Получалось, вместе с Бауманом, 19 человек. Много, черт побери! Но Красикова (выходило, и тут ротмистр не врал) среди названных не было — действительно, значит, успел уйти за границу; очень

хорошо! Насчет Федотыча, единственного, кто знает, где закопано оборудование для типографии, Бауман переспросил дважды; нет, Черномордик ручался, что в Таганке Федотыча не было. Еще Черномордик сказал, что н а ш и все до единого отказались давать показания. Бауман спросил, откуда это известно. В ответ Черномордик сказал, что здесь всё про всех известно: помимо «телеграфа», безотказно действует «телефон». Тут же он и объяснил, что это такое — «телефон». Нехитрая, оказалось, механика: к шпагату привязывается мешочек с песком (это для утяжеления), в мешочек вкладывается записка; затем высовываешь из окна через решетку руку, и товарищ, сидящий выше тебя или сбоку, бросает тебе мешочек с запиской, а ты, в свою очередь, перекидываешь его следующему, и так до тех пор, пока записка не попадет по назначению.

Утром, толком не проснувшись еще, Бауман услышал стук в потолок. Тюремная азбука! 4-3, 2-1, 3-1, 2-1, 4-5, 3-4, 3-3... «Телефон... Телефон... Телефон...» Бауман бросился к окну, высунул руку. Через минуту в раскрытую ладонь мягко опустился тугой мешочек. Бауман дважды дернул за шпагат, давая знать, что мешочек у него, затем вытащил записку и снова дернул; мешочек сразу же поплыл медленно вверх.

Записка была крохотная, но в ней уместилось целых два послания: от Надюш (чувствует она себя хорошо, очень рада, что он избавился от изолятора, пусть сообщит о своем самочувствии) и от Стасовой. Но с письмом Стасовой, прежде чем прочесть его, пришлось повозиться. Педантичнейший конспиратор, она и тут оставалась верна себе: за исключением приписки вверху — «Полетаеву» (вспомнила давнишнюю его кличку!) и подписи «Абсолют» (ее собствен-

ный псевдоним), письмо было полностью зашифровано. Шифр Абсолюта — басня Крылова «Дуб и трость» — Бауман знал назубок, но все равно расшифровка заняла много времени; нечем было записать басню, чтобы постоянно видеть текст перед глазами, а пока на память отыщешь нужную букву в нужной строке — раз сто повторишь про себя, от начала до конца, всю басню. Часа через полтора лишь он разобрал письмо. Стасова писала, что с «волей» налажена довольно надежная связь. Дела там сравнительно неплохи — несмотря на арест, кажется, всех руководителей. Превосходно развернулся Федотыч: есть сведения, что вновь заработала подпольная типография; необходимо срочно сочинять теперь тексты листовок «на злобу дня». И вообще, писала Стасова, завариваются интересные дела, но о них она сообщит в следующий раз.

Бауман не скоро сумел успокоиться. Но записка эта, так неожиданно разволновавшая его, в то же время ощутимо прибавила ему бодрости. Оглядывая свое новое обиталище, этот душный каменный пенал, в котором бог знает сколько ему придется еще пробыть, он ликующе думал о том, что, видно, нет на свете такой силы, которая могла бы отлучить революционеров от их дела,— если даже здесь, за столькими замками, они находят возможность продолжать общую борьбу; он думал о своих товарищах, тех, кто оказался вместе с ним в Таганке, и тех, кому приходится там, за стенами тюрьмы, работать теперь за двоих, за троих; думал о Ленине и всех тех, кто остался за границей; этим, пожалуй, труднее всего. Да, в России легче. Здесь — в Москве ли, в Питере, Ярославле или Костроме — мы не одни, с нами рабочие, чей революционный настрой, по счастью, не зависит от кучки раскольников, возпамерившихся

своротить рабочее движение на свою тропу. Дикое, подумал он, ненормальное, противоестественное положение! И прав, тысячу раз прав был Ленин, когда еще полгода назад, в декабре (это было за день до отъезда Баумана в Москву), говорил, что видит один только выход из этого неслыханного кризиса: съезд, созыв третьего съезда. Бауман возразил тогда, что если удастся повести за собой рабочую массу на местах, хотя бы в крупнейших центрах, то меньшевикам не останется ничего иного, как подчиниться,— не самоубийцы же они, в конце концов; так что, по-видимому, и без съезда все образуется. «В самом деле? — с неожиданной горячностью вскинулся Ленин.— Вы всерьез на это надеетесь? А я вот не верю, решительно не верю, что, забравшись в болото по шею, можно выбраться из него! Слишком далеко дело зашло, слишком глубоко затянула их трясина!» Бауману, оттого, должно быть, что не часто видел Ленина таким, особенно запомнились глаза его — колючие, неуступчивые.

Время показало, насколько Ленин прав. Чем больше рабочие уходили из-под меньшевистского влияния, тем откровеннее и нагляднее шарахались меньшевики вправо. Да, сегодня вопрос стоит не только уже о выходе из партийного кризиса. Речь сегодня идет о большем — о выработке тактики пролетариата в близящейся революции. Вот, кстати, подумал он, еще одна — и теперь едва ли не главная — причина того, почему нужен съезд, и чем скорее, тем лучше. «Чем скорее, тем лучше»,— как заклинание, повторял и повторял он, мечась по камере. А камера эта, черт ее побери, оказалась короче, чем даже изолятор,— всего четыре шага. В длину! В ширину — два. Обида и боль сдавили сердце. До чего же нелепо и обидно, и глупо — именно сейчас, в момент, когда решается

судьба партии, может быть, самой революции судьба, сидеть вот тут... взаперти...

Но с еще большей остротой и болезненностью ощутил он свою оторванность от того, что делается в партии, и свое бессилие спустя неделю. Вести, которые доставил ему в тот день тюремный «телефон», были вовсе уж тягостными. «Кол» (Ленгник) и «Рубен» (Кнунянц) оповещали остальных о «декларации», принятой от имени ЦК «примиренцами». Читая записку товарищей, Бауман отказывался верить своим глазам. Неужели еще и такое возможно? Призывая — в который раз — к умиротворению в партии, примиренцы, державшиеся до сих пор более или менее нейтральной линии, открыто провозгласили теперь полную сдачу позиций. Они не только отпустили все грехи меньшевикам, признав законность теперешней «Искры», но и лишили Ленина всех прав заграничного представителя ЦК и запретили печатать его произведения без разрешения коллегии ЦК. Вдобавок они категорически выступили против созыва третьего съезда.

Вот тебе и примиренцы, в растерянности думал Бауман. Изменнический, подлый удар из-за угла.

Он вдруг представил себе, как торжествуют сейчас Мартов и Плеханов. Что ж, их можно понять: примиренцы действительно крепко сыграли им на руку, тут уж никуда не денешься. Не сомневаюсь, теперь они ждут, что мы сдадимся, так сказать, на милость победителя. Дудки. Не будет этого. Вы завоевали центральные учреждения партии, товарищи меньшевики,— это много, кто ж спорит, но это еще не все, это далеко еще не партия. А партия, большинство партийных комитетов России, подавляющее большинство, пойдет за нами, не может не пойти. И в этой обстановке нам остается только одно: удесятерить

свои усилия в борьбе за созыв съезда. Удесятерим, не беспокойтесь!

Бауман принялся набрасывать письмо Ленину, затем отправил его по «телефону» товарищам для добавлений. Но еще раньше, чем это письмо, с поправками и добавлениями, вернулось к нему обратно, попал в Таганку и переходил из камеры в камеру отпечатанный, как значилось в конце, типографией Рижского комитета листок «К партии» — обращение 22 большевиков ко всем членам РСДРП.

В обращении говорилось:

«...тяжелый кризис партийной жизни все затягивается, ему не видно конца... Силы партии, молодой еще и не успевшей окрепнуть, бесплодно тратятся в угрожающих размерах.

А между тем исторический момент предъявляет к партии такие громадные требования, как никогда раньше. Революционное возбуждение рабочего класса возрастает, усиливается брожение и в других слоях общества, война и кризис, голод и безработица со стихийной неизбежностью подрывают корни самодержавия. Позорный конец позорной войны не так уж далек; а он неминуемо... столкнет рабочий класс лицом к лицу с его врагами и потребует от социал-демократии колоссальной работы, страшного напряжения сил, чтобы организовать решительную последнюю борьбу с самодержавием.

Может ли наша партия удовлетворить этим требованиям в том состоянии, в каком она находится теперь? Всякий добросовестный человек должен без колебания ответить: нет!..

Положение стало невыносимым, невозможным; затягивать его дольше прямо преступно.

...Практический выход из кризиса мы видим в не-
 медленном созыве третьего партийного съезда. Он

один может выяснить положение, разрешить конфликты, ввести в рамки борьбу.— Без него можно ожидать только прогрессивного разложения партии...»

Ленин! Не будь даже всего остального, попадись на глаза одна лишь последняя эта фраза, все равно Бауман безошибочно определил бы, кто написал обращение «К партии». Он вспомнил, что еще в пору, когда Плеханов всячески убеждал Ленина, что Мартов не так уж реакционен, как кажется, еще тогда Ленин сказал: «О да, Георгий Валентинович, вы правы: Мартов чрезвычайно прогрессивен! Он настолько прогрессивен, что ждет не дождется, когда у партии наступит прогрессивный паралич!»

Письмо Ленину пришлось теперь написать заново. Очень спешили, нужно было поспеть к субботе, когда Кнунянца, следствие по делу которого закончилось, посетит адвокат, не раз уже выносивший письма из тюрьмы. «Телефон» работал безостановочно, все 19 большевиков сумели ознакомиться с письмом. В субботу, после свидания с адвокатом, Кнунянц оповестил соседей по камере, а те, по цепочке, остальных, что «все в порядке».

Письмо было такое:

«Дорогие друзья, после разных мытарств вся наша компания собралась в Таганке. Оглядевшись здесь, мы решили продолжать свою борьбу с меньшинством и со слизняками. Участие примут Кол, Рубен, Полетаев, Соломон Черномордик (настоящее имя), Абсолют. Слышали мы о знаменитом «манифесте» ЦК и его совещании с меньшинством, кончившемся решением кооптировать последнее. Теперь, следовательно, руки у нас развязаны, и политическая дрянность нашего ЦК станет, наконец, ясной для всех... Мы уверены, что в России теперь начнется настоящее *вос-*

стание против наших фальшивых центральных учреждений. Стоит только поднять знамя восстания. И мы хотим это сделать, дольше терпеть нет уже сил. Надо, наконец, сказать им правду в глаза. Мы вполне уверены, что все мало-мальски сознательные элементы, дорожащие честью Партии, с восторгом примкнут к нам, когда мы выведем на чистую воду политику этой заграничной клоаки, успевшей заразить атмосферу вокруг себя затхлой кружковщиной и подлым стремлением улаживать партийный конфликт «по-домашнему», под сурдинку, за бутылкой пива и чашкой чая... Прежде всего мы обратимся к комитетам с призывом стать под наше знамя, причем мы постараемся объяснить им создавшееся положение в Партии. Это воззвание на днях у нас будет готово... Кроме того, мы проектируем выпустить характеристику деятельности меньшинства, изменнической подлости Плеханова, тряпичности нашего ЦК, который похоронил себя своей абсолютной бездеятельностью и последним своим поведением изрек себе приговор. Мы надеемся, что сможем так или иначе напечатать все это и распространить по России...

Нам нужна только помощь в отношении людей. Пусть едет опять сюда Август для разъездов. Если есть возможность, двиньте сюда еще людей. Вы ведь знаете, какая масса у нас народу провалилась... По нашему мнению, старику нужно во что бы то ни стало организовать литературную группу для систематической атаки на вымирающую «Искру». Без этого мы ничего не можем здесь сделать. Теперь, когда принципы пошли с молотка, смешно останавливаться перед созданием нового органа. Теперь настал момент, когда только решительность и самый необузданный натиск может поправить наши дела, иначе все пропало надолго. Надо воспользоваться брожением в

России, через год опять все затянется плесенью, и тогда не скоро разбудишь матушку-Россию...

P. S. Чувствуем мы себя превосходно. Иногда только бесимся, проклинаем подлые решетки, мешающие нам развернуться вовсю для *полновесной* оплеухи нашему бесподобному ЦК. А то все превосходно. Судить нас будут судом сословных представителей...

Отвечайте скорее. Адрес для писем сюда годен прежний. Горячий привет всем друзьям».

Ответ пришел через месяц: не скоры окольные пути конспиративной связи...

«Дорогие друзья! Нас бесконечно обрадовало Ваше письмо, оно дышит такой бодростью, что придало и нам всем энергии. Ваш план осуществите непременно. Он прекрасен и будет иметь громадное значение... Ждем от Вас с нетерпением дальнейших писем. Ваш совет об издательстве уже наполовину осуществлен. Литературные силы есть, готового материала масса. Вообще настроение теперь у всех нас бодрое, масса планов, старик тоже принялся за работу, переписка с Россией и заграницей оживилась, и теперь, надеюсь, скоро публика начнет группироваться... Подробности об издательстве большинства Вам сообщат общие знакомые, которым подробно пишем об этом... Ну вот, кажись, и все. Крепко вас обнимаем, дорогие, желаем здоровья и сил.

Старик и К°»

Радость, как и горе, в одиночку не ходит — это уж как водится. Письмо Ленина попало в Таганку одновременно с резолюцией Московского комитета, единодушно высказавшегося за созыв экстренного съезда. Новость эта и сама по себе была радостной: шутка ли, мнение такой организации, как москов-

ская; попробуйте-ка, товарищи цекисты, не посчитаться с этим! Но были тут еще и добавочные обстоятельства, и тоже очень приятные. Во-первых, резолюция эта была принята без малейшего их, обитателей Таганки, воздействия, принята самостоятельно, и притом полностью обновленным составом МК; во-вторых, резолюция отпечатана — во как! знай, мол, наших! — типографским способом в виде листовки, для широкого, значит, распространения; и последнее: шрифт-то, каким набрана листовка, тот самый, что покоился под кустами в Петровском парке... молодец, Федотыч, умница! Теперь нужно, подумал Бауман, чтобы и наше воззвание — от имени тех, кто сидит в Таганке,— было отпечатано. Надо поторопиться. Вот и Ленин пишет: «Ваш план осуществите непременно, он будет иметь громадное значение».

Воззвание от имени 19 «таганцев» почти готово. Составленное сообща, оно было сейчас у Баумана. Он внимательно перечитал его. Кажется, все нормально. Четкая недвусмысленная оценка положения. Решительное требование немедленно созвать третий съезд. Отправляя воззвание товарищам, он сделал приписку, что не имеет замечаний к тексту и считает возможным, если и у товарищей нет замечаний, при первой же возможности переправить его на «волю» — желательно для издания отдельным листком.

Превосходно все складывается, думал он, шагая взад-вперед по камере. Если даже мы сумели влезть в драку — совсем, значит, плохи ваши дела, товарищи меньшевики. Потому что в эти дни (тут сомневаться не приходится) тысячами ручейков стекаются в Женеву такие же воззвания, обращения, резолюции, и этот поток неостановим, он все сметет, все снесет до основания — и ваш ублюдочный ЦК, опозоривший партию, и вашу лживую, сеящую рознь и

склоки «Искру». И это только начало, господа. Начало.

Загромыхали дверные засовы. Бауман обернулся.

— На допрос,— сказал надзиратель.

Бауман усмехнулся: с заоблачных высот да на грешную землю! Ну что ж, для разнообразия и с ротмистром Васильевым поговорить можно, отчего не поговорить: воспитанный, вежливый человек, опять же из изолятора вызволил...

— Давненько не виделись,— с дружеской улыбкой сказал ротмистр.

— Давненько,— сказал Бауман и тоже улыбнулся.

— Я почему вас не вызывал — все ждал, что вы сами позовете.

— Не пришло в голову.

— Я надеюсь, вы обдумали мое предложение?

— Нет, не успел.

— У вас было достаточно времени,— с легкой укоризной заметил ротмистр.

— Не хватило,— поддразнивал Бауман.— Сложный вопрос.

Ротмистр предпочел серьезно отнестись к его словам.

— А вы не преувеличиваете эту сложность? Я ведь не вербую вас в осведомители, не требую, чтобы вы давали показания на своих «однодельцев». Меня вполне устроит, если вы, так сказать, не впутывая товарищей, признаете только свою вину, и хотя бы по одному только пункту. Ценя вашу щепетильность, советую выбрать эпизод, где вы заведомо действовали в одиночку. Такие эпизоды в деле имеются.— Перелистав довольно объемистое «дело» и оставив его раскрытым в нужном месте, он сказал: — Вот, к примеру. В конце апреля, а именно — 29-го, вас видели

на заводе Гужона. Вы вели с рабочими разговор о предстоящей маевке. После вашего ухода на заводе были обнаружены листовки, содержавшие... Впрочем, одна из них, взгляните, приобщена к делу. Так вот, по нашим сведениям, в тот день вы были там как раз один.— Ротмистр захлопнул папку.— Я не тороплю с ответом. Подумайте. Встретимся завтра, тоже вечером.

Бауман покачал головой:

— Нет. Завтра я откажусь пойти на допрос.

— Причина?

— С завтрашнего утра политические заключенные объявляют голодовку.

— Надолго?

— До полного удовлетворения наших требований.

— Каких именно, если не секрет?

— Нет, не секрет. Сегодня вечером тюремное начальство будет официально поставлено об этом в известность.

И Бауман, не вдаваясь, правда, в особые подробности, объяснил ротмистру, что голодовка преследует цель защитить интересы товарищей, дела которых уже разрешены в административном порядке, но к которым — вопреки тому, что закон, как известно, обратной силы не имеет,— теперь применяют новое Уголовное уложение, и, таким образом, эти товарищи, уже отбывающие ссылку, вынуждены будут вновь проделать мучительный путь по этапу, чтобы предстать перед судом.

— Поверьте, это бессмысленно,— сказал ротмистр.— Ничего у вас не выйдет.

— Посмотрим,— сказал Бауман.

— Видите ли, то, о чем вы говорите, делается по распоряжению Святополк-Мирского; это новый наш
 министр внутренних дел. Так что начальник тюрьмы,

при всем своем желании, просто не в силах будет удовлетворить ваши требования. Другое дело, если бы вы добивались предоставления вам книг или разрешения прогулок, пусть даже общих...

— Благодарю за совет,— сказал Бауман улыбнувшись.— Это мы тоже включим в свои требования.

— И все-таки я бы...— начал было ротмистр, но оборвал себя.— Мне остается лишь повторить, что ваше предприятие обречено на неудачу. Заведомо обречено.

— Посмотрим,— снова сказал Бауман.— Вы забываете, что о голодовке будет знать не только тюремное и всякое иное начальство. Мы позаботимся, чтобы об этом знало как можно больше людей. За пределами тюрьмы, разумеется.

Ротмистр пожал плечами.

Немного погодя он, точно решившись наконец, резко выдвинул ящик стола, достал оттуда какую-то бумагу с машинописным текстом.

— Прочтите это. Документ, правда, довольно давний, но, в связи с вашим сегодняшним сообщением, я хочу, чтобы вы все же познакомились с ним.

Бауман стал читать:

Начальник отделения по охранению
общественной безопасности и порядка
в г. Москве
11 сентября 1904 г.
№ 8136

Его превосходительству
директору департамента полиции

Представляю Вашему превосходительству, что, по полученным мной сведениям, в революционных сферах решено, не стесняясь никакими средствами, дать

возможность бежать из-под стражи привлеченному к дознанию при Московском губернском жандармском управлении ветеринарному врачу Николаю Эрнестову Бауману.

Об изложенном, в целях предотвратить возможность побега, одновременно с сим поставлены в известность: московский губернатор, начальник местного губернского жандармского управления и начальник местной губернской тюрьмы, в которой содержится арестованный.

— Любопытно? — спросил ротмистр.

— Очень,— сказал Бауман.— Но я не понял, какое это имеет отношение к голодовке.

— К голодовке — никакого. Но поскольку не исключено, отнюдь не исключено, что вы вновь окажетесь в изоляторе, я не хотел бы, чтобы вы думали, будто я повинен в этом.— Улыбнулся.— Как видите, я тоже не чужд щепетильности...

6

Вряд ли вчера, в первый день голодовки, было легче. Вчера чувство голода было даже более острым, пожалуй; вначале посасывало мучительно под ложечкой, потом появилась и несколько часов не оставляла в покое резкая боль в животе, с нею и заснул, но все это было то самое, что ожидалось и к чему поэтому он был готов.

Сегодня к вечеру боль исчезла, есть уже тоже не хотелось; когда надзиратель принес завтрак, а потом обед, а потом ужин,— без сожаления выплеснул все в парашу. Зато навалилась слабость, вернее даже —

расслабленность, и это состояние, очень схожее с тем, какое возникает на качелях, когда взлетаешь вверх и на какой-то миг, перед тем как опять низвергнуться вниз, словно бы застываешь в неподвижности, а сердце сжимается в комок, окаменевает, и кажется, никогда уже не разожмется, не забьется вновь,— вот это состояние, которое и мгновение-то трудно вынести, все длилось и длилось.

Вслушиваясь в то, что происходит с ним, он все время понимал, что делать этого нельзя, что нужно отвлечься, думать о чем-нибудь далеком. Но для этого требовались дополнительные немалые усилия, а мозг был ленив и неподвижен, он словно ждал толчка извне, чтобы начать свою работу. Пытаясь сосредоточиться и еще не зная, на чем сосредоточиться, как медик он понимал, что думать надо по возможности о радостном, приятном.

Утром принесли письмо. Из Казани, от отца. Вот оно, лежит на столе. Ждет ответа... Забавная деталь: каждый листок перекрещен широкими желтыми полосами — нет ли тайнописи? Полосы даже на обороте фотографии, которую прислал отец. Так положено, тут тюремные порядки ни для кого не делают исключений, и все же смешно это — предположить, что его отец способен помогать ему в его деле. Много лет Бауман не видел родных. Ни малейшей возможности повидать их не было: то заграница, то подполье. Отец умоляет не губить себя, одуматься, пока не поздно. Бауман не осуждает отца: любовь к сыну, тревога за него продиктовали такое письмо. От этого, однако, не легче. Неужели так трудно понять, что каждый человек должен идти своим собственным путем?

Нет, приказал он себе, не надо сейчас об этом. Когда-нибудь потом: не вечно же будет длиться эта голодовка. Потом. Через несколько дней.

Поднявшись и сев на койке, спиной к стене, он ощутил вдруг в себе то, чего не замечал раньше,— как колотятся молоточки в висках. Бесшумно и совсем небольно стучат молоточки. Однажды он, определенно, уже испытывал такое. Но когда, когда? Молоточки, точно так же стучали молоточки.

Да, такие же молоточки. В первый раз он уловил их стук, едва заметный, чем-то даже приятный, когда расплатился с извозчиком, привезшим его из Можайска, и, боясь простуды, пошел, промерзший до костей, в распивочную на Маросейке и выпил там две рюмки «перцовки». Потом — пока сидел в «люксе» паршивенького отеля, пока звонил Желябужской, не зная еще, что она актриса Андреева, и пока играл в кошки-мышки с портье — на все это время молоточки оставили его: то ли действительно исчезли, то ли он просто не замечал их, не до них было. И лишь когда опять очутился на морозной ночной улице (впрочем, мороза он тогда не чувствовал, было даже жарко: шел в Каретный ряд, распахнув пальто, но и это не помогало, горячий пот все равно обжигал спину) — лишь на улице снова ожили молоточки, только явственнее, чем прежде, и в этом не было уже, сколь помнится, ничего приятного. Следовало, конечно, взять извозчика или, на худой конец, идти с Мясницкой бульварами — все ближе, напрямую хоть; но он для чего-то вышел на Садовое кольцо и плелся по нему, плелся, и казалось, никогда не дойти ему до Каретного. Он не помнил, как шел, ни одна подробность не задержалась в памяти — осталось только это вот ощущение бесконечности пути. Но, очевидно, гвоздем сидел в сознании спасительный адрес — Каретный ряд, 4,— если в конце концов очутился все-таки перед заветной дверью. На медной табличке было вырезано:

 «Василий Иванович Качалов». Фамилия показалась

знакомой. Застегнул пальто на все пуговицы, поправил шарф — лишь потом позвонил. Дверь открыли не сразу.

— Вам кого? — спросила миловидная женщина.

И, путаясь, он произнес:

— Тетка передает привет и просит взаймы... в долг... сто двадцать рублей...

Но еще не докончив, уже знал, что говорит что-то не то: этот пароль — к Желябужской, а она дала другой пароль, а какой — он никак не мог вспомнить в ту минуту. По взгляду женщины он понял, что она ждала кого-то — его ждала! — и что его ответ невпопад был неожидан для нее. Недоумение на ее лице сменилось сперва растерянностью, потом испугом, когда он, отчаявшись вспомнить пароль, решился сказать, что он болен и что его прислала Мария Федоровна. Женщина испуганно, но и с состраданием, смотрела на него, но испуг взял верх, она сказала, что, вероятно, он ошибся, никакой Марии Федоровны она не знает и вообще она...

Пробормотав нелепые какие-то извинения, он ушел, не дослушав ее. Он не сомневался, что она принимает его за шпика.

Что было с ним дальше, он узнал лишь несколько дней спустя — сам он ничего этого не помнил. В тот самый момент, как он вышел на улицу, сознание его как бы выключилось. Нина Николаевна, жена Качалова, рассказывала потом, что эту ночь провел он в ночном извозчичьем трактире на Калужской заставе. А она, едва он, не дослушав ее, так неожиданно ушел, тут же поняла, что нет, так охранник не вел бы себя. Выждала какое-то время — не вернется ли, и, наказав нянюшке Агафье Никифоровне (Василия Ивановича не было дома, еще не приходил из театра), что если странный человек возвратится, чтоб без расспросов

впустила его, сама помчалась в Георгиевский переулок, к Марии Федоровне, рассказала ей о загадочном визите, обрисовала внешность приходившего, пересказала непонятные слова его о «тетке», которая просит в долг, и после этого они обе объездили чуть не всю Москву и только под утро разыскали его в трактире и, почти беспамятного, привезли сюда, к Качаловым. У него оказалась пневмония.

Довольно долго прожил он в тот раз у Качалова, недели две. С Василием Ивановичем сдружились быстро. Нина Николаевна все удивлялась: у Василия Ивановича, говорила она, масса приятелей, но почти нет друзей, и уж, во всяком случае, мало таких, с кем бы он был так откровенен. Она немного ревновала мужа к «Ивану Сергеевичу». Ревновала к их ночным (после спектакля) бесконечным разговорам. Возвращался Качалов из театра шумно, с громкими шутками. Распахивал тотчас дверь к Бауману:

— Иван Сергеевич, вы еще живы? О, да вы даже не спите! Не прогоните? Одну минуточку, коньяк только притащу! Говорите, я нынче весел? Еще бы мне не быть веселым! Играли нынче «На дне». Выхожу на улицу — толпа. И вдруг все расступаются, и образуется проход — для меня! И кричат: «Дорогу Качалову!» Вот черти. Нет, я не в претензии: приятно! Что поделаешь — Актер Актерыч, мелкий, тщеславный человек... И еще новость: предложение из Александринки. Ого, императорская сцена, большущий оклад!

— Соглашаетесь?

Становится серьезным.

— Нет. Из Художественного меня только ногами вперед вынести можно. Или если Станиславский взашей выгонит. Знаете, я иногда думаю, что он гений.
 Немировича я тоже люблю: образован, талантлив, та-

ких, как он, тоже не много, а Станиславский — один. Он имеет надо мной совершенно необыкновенную власть, и вот что странно: подчиняюсь я ему всецело и с наслаждением. Нет, не то говорю. Как ни велика надо мной его власть, я все же перешагнул бы через нее, если бы... Вся штука в этом «если бы». Все дело в том, что он сделал для меня. Я не говорю о том, что он помогал мне в создании ролей,— это не так важно, мог помочь, а мог и помешать; и не о том, что ему, и только ему, я обязан своим положением, успехом, некоторым именем и так далее,— это все суетно. Главное — он разбудил во мне художника, хоть маленького, но искреннего и убежденного. До встречи с ним, на провинциальной сцене, я пользовался не меньшим успехом, но, боже правый, я ведь весь состоял из «штучек», из «приемчиков», с ног до головы оброс копеечными штампами! А он, Станиславский, показал мне такие артистические возможности, какие, по чести, мне и не мерещились, какие никогда без него не развернулись бы передо мной. Ну, спите. Заговорил я вас.

Бауман постоянно чувствовал со стороны Качалова повышенный интерес к себе, своего рода любопытство.

Когда они стали особенно близки, он назвал Качалову свое настоящее имя (до той поры лишь Андреева знала, кто он), порассказал кое-что о себе.

— И все-таки я чего-то не понимаю,— сказал как-то Василий Иванович.— Есть в вас какая-то загадка. Словно бы вы человек с другой планеты. Сейчас объясню. Вы, при ваших... ну, в общем, понятно!.. вы могли стать кем угодно, думаю, не смейтесь, и актером могли бы стать, я не льщу, уж поверьте моему глазу. А стали революционером. Я не хочу сказать, что это меньше или ниже, или хуже, вовсе нет,—

вероятно, это и лучше, и выше, и больше, чем любое иное дело. Но все-таки почему?

Бауман в тот раз отшутился, сказал, что — как и Жанна Д'Арк — услышал голос всевышнего... И спросил в свою очередь:

— А вот почему вы, Василий Иванович, вы, человек с положением, очень известный человек, идете на риск, скрываете меня? Мало того — сами предлагаете свой адрес для конспиративной переписки?

Качалов рассердился:

— Нелепый вопрос. Да, да, не обижайтесь, глупый и нелепый вопрос! Только трус, да, только трус и обыватель могут отказаться от возможности помочь вам! Не именно вам — всем вам! Что же касается вас лично, то к вам я просто неравнодушен — не притворяйтесь, вы это сами прекрасно знаете!

К этой теме, так или иначе, возвращались еще не раз.

Как-то были на «Дяде Ване». Бесподобно играл Артем: крохотная роль Вафли. Всю дорогу, пока шли к Качалову, вспоминали уморительную реплику Вафли: «Я, ваше превосходительство, питаю к науке не только благоговение, но и родственные чувства: брат жены моего брата был магистром». И надо же было случиться, чтобы как раз в тот вечер Василий Иванович, среди прочих своих рассказов о детстве, о виленской гимназии, об однокашниках, рассказал и о двоюродном своем брате Ваньке Смирнове. Реалист выпускного класса, этот Ванька Смирнов был весьма радикально настроен, ненавидел царя, грозился собственноручно изничтожить его.

— Словом, этот Ванька,— а надобно заметить, что стал он впоследствии примерным семьянином и ни о чем таком не помышляет,— он и был моим первым,

так сказать, революционным учителем,— смеясь, закончил свой веселый рассказ Качалов.

— Ага,— тотчас подхватил его слова Бауман и, копируя голос Артема, воскликнул: — Стало быть, Василий Иванович, вы питаете к революции не только благоговение, но и родственные чувства... через братца Ваньку!

Качалов хохотал до слез.

Выздоровев, Бауман старался как можно реже бывать у Качалова: боялся навести шпиков на след. Лишь убедившись, что слежки нет, отправлялся он на угол Каретного и Петровки. Им была изобретена целая система условных обозначений, крестов и точек, на водосточной трубе соседнего дома. Один «крест» означал, что обнаружены подозрительные признаки повышенного внимания охранки к квартире Качалова. Два «креста» — что явка провалена. Три «точки», составленные в треугольник, оповещали об отсутствии «дождя» — значит, можно было уже безбоязненно идти к дому № 4. Не было случая, чтобы Качалов забыл сделать соответствующую пометку на трубе. К конспирации он относился как к игре, опасной, может быть, но и увлекательной, и с восторгом большого ребенка играл свою роль — серьезно и самозабвенно.

Да, было что-то трогательное и очень милое в том серьезе, с каким он опекал Баумана. Причем старался он это делать незаметно и словно невзначай. Зная, что Бауман вечно озабочен отысканием явок для встреч со связными районов, он приглашал его с собой на всевозможные вечеринки, банкеты, театральные «капустники». «Адрес такой-то,— говорил он в таких случаях.— Обязательно позовите кого-нибудь из друзей, там будет очень интересно!»

На одной из вечеринок — у Наденьки Комаровской, студийки театра,— Качалов вдруг исчез. Минут

через десять вернулся вместе с Наденькой, обеспокоенно спросил у Баумана:

— Как вы себя чувствуете, Иван Сергеевич?

Бауман был здоров, чувствовал себя прекрасно. Ответил неопределенно:

— По-прежнему, Василий Иванович.

И тогда Качалов с жаром принялся объяснять Наденьке и ее сестре:

— Понимаете, он страшно простужен... а живет в другом конце города. Погода скверная... Было бы отменно, если бы он остался ночевать у вас.

А этой сцене, как рассказывала потом Наденька, предшествовало вот что. Когда настало время уходить, Качалов подошел к ней, шепнул:

— Выйди со мной ненадолго, ты должна мне помочь. Дело в том, что на улице меня должен ждать один человек.

— А при чем тут я? — удивилась девушка.

— Ты ведь знаешь, я плохо вижу. Я могу его не заметить, а ты глазастая.

Вышли. На противоположной стороне улицы она действительно заметила одиноко стоящего человека. Качалов взял ее тогда под руку, они перешли улицу, но когда поравнялись с незнакомцем, Качалов, почти не взглянув на него, прошел вдруг мимо.

— Это не тот,— объяснил он ей.

А вернувшись в дом, попросил приютить Баумана на ночь. Что ж, тот человек и правда мог быть шпиком... Сам же Василий Иванович, даже много времени спустя, ни за что не хотел признаваться, отчего вдруг решил оставить его там на ночевку.

— Так, взбрело,— передергивал он плечами.— А почему вы спрашиваете? Что-нибудь не так? А, пустяки, выбросьте из головы! Всё — тлен... Лучше я вам Горького и Чехова изображу, хотите?

Ну что ты с ним поделаешь, с Актер Актерычем!

— Хочу.

— Помните, на новогоднем банкете? — спросил Качалов.— Тут, значит, Горький сидит, тут — Чехов. За столом. Разговаривают...

Сразу закашлял. Сперва басом, отрывисто.

— Кхо! Кхо! Кхо!

Потом тенорком, часто-часто:

— Кхе-кхе-кхе... Кхе-кхе-кхе...

Потом — вперемешку:

— Кхо! Кхе-кхе... Кхо! Кхе-кхе...

— Антон Павлович, что это вы все улыбаетесь?

— Да вот, Алексей Максимович, будут теперь про нас говорить: славно писатели провели вечерок: интересно друг с другом покашляли!..

Вряд ли именно это говорил Чехов. Да и не мог Качалов услышать, что тот говорил: столик, за которым сидели Горький и Чехов (тогда, на новогоднем банкете в театре), был все же далековато от столика, где был Качалов с Бауманом. Но что кашляли оба знаменитых писателя — это действительно...

Бауман не предполагал, что попадет на тот банкет. 31 декабря, вернувшись с утренней репетиции, Качалов, более обычного оживленный, привез с собой врача. Тот долго прослушивал Баумана, потом загадочно изрек:

— Я думаю, можно.

Проводив врача, Качалов возвестил голосом Юлия Цезаря:

— Отболелись, сударь! Хватит притворяться! Немедленно собирайтесь, едем на банкет. Что?.. Никаких возражений! Без вас я не поеду, учтите. Представляете: все соберутся, а Качалова, самого Василия Ивановича Качалова — нет? Немедленно десять тысяч курьеров отправятся на розыски помянутого

кумира московской публики! И — найдут! И — приволокут! С позором... Вы что, опозорить меня хотите, уважаемый?

— Но ведь это опасно,— за последнюю уже соломинку ухватился Бауман.

— Ну я ведь так и знал, что вы это скажете! — всплеснул руками Качалов.— Но я тоже не дурачок: вот вам маска. Бал-то новогодний. Бал-маскарад!

— Встречное условие.

— Никаких условий!

— Одно.

— Ну?

— Вы меня ни с кем не знакомите.

Качалов приуныл.

— Это невозможно. Кто-нибудь да обязательно полезет знакомиться.

— Хорошо, в таком случае я ваш товарищ по петербургскому университету. В Москве случайно, проездом.

— Имя? Иван Сергеевич?

— Лучше как-нибудь по-другому. Пусть Матвей Петрович...

— Беда мне с вами. Ну собирайтесь!

Бауман не жалел, что поехал. Было на банкете, а потом на балу такое непринужденное, чисто русское веселье, все были так рады друг другу — хозяева и гости, знакомые и незнакомые, что даже Бауман, не знавший никого, кроме Качаловых и Андреевой, ни на секунду не почувствовал себя чужаком.

Бал открылся вальсом. Дирижировал оркестриком лохматый и носатый человек, выделявшийся своей хрупкостью,— Илья Сац, композитор театра, «зверски», по аттестации Качалова, «талантливый музыкант». При первых звуках музыки Бауман решил,

что танцевать не будет: и потому, что, то ли после болезни, то ли от шампанского, чувствовал легкое головокружение, и потому, что не хотел выделяться (большая часть публики еще была за столиками). Но вскоре стало ясно, что единственный способ не привлекать внимания к себе — это именно танцевать: танцевали решительно все и решительно всюду — в зале, в фойе, даже на лестничных площадках.

— Вы чудесно танцуете,— сказала Нина Николаевна.

Бауман рассмеялся.

— В юности это было главное мое увлечение. Даже прозвище дали — «балерина».

В боковом фойе, куда, вальсируя, они выскользнули из зала, одиноко стоял у стены и дымил сигарой плотный человек с прищуренными монгольскими глазками и коротко остриженной седеющей головой; он дружески кивнул Нине Николаевне.

— Знаете, кто это? — шепотом спросила она Баумана.— Савва! — Глаза ее восторженно сияли.— Савва Морозов! Миллионер и меценат. Самый близкий друг театра! Хотите, познакомлю? Ах, я забыла — вам нельзя!

(Не знал он тогда, что очень скоро, и при обстоятельствах более чем необычных, судьба все же сведет его с Морозовым.)

— В зал! В зал! В зал! — зазывали разбредшихся по театру гостей глашатаи в средневековых одеяниях.— Начинается грандиозное представление!

А на сцене уже расположился римский сенат. Сенаторы, закутанные в простыни, но отчего-то с мужицкими нечесаными бородами, о чем-то посовещавшись, бросаются с кинжалами на Юлия Цезаря — Качалова. Цезарь, однако, и не думает падать; стоит, сложив руки на груди, и величественно улыбается.

Обескураженные неудачей сенаторы повторяют нападение. Опять безуспешно. Сенаторы в ужасе разбегаются. Тогда Цезарь подходит к Бруту, стоящему чуть в стороне, спрашивает: «А ты, Брут?» Брут тотчас хватается за кинжал, но тот застрял в ножнах. Цезарь терпеливо ждет.

— Так все и было! На премьере! — шепчет Нина Николаевна.

Но вот Цезарю уже надоедает ждать, он сам помогает Бруту вытащить оружие, однако и это ни к чему не приводит. Брут в ярости грозит кулаком за кулисы и тычет Цезаря ножнами. Цезарь падает, но тут же вскакивает и начинает перекатываться по сцене с места на место.

— Беда! — кричит он при этом испуганно.— Забыл, на каком квадрате помирать... Вот влетит от Станиславского! — Качалов что-то еще говорит, но разобрать это уже невозможно: хохот сотрясает зал.

Потом был номер с «дрессированной» лошадью, которая «угадывает» написанные на дощечке цифры.

Потом — пародийная опера «Соблазнительница», где колоратурную арию героини виртуозно спел Москвин, что не помешало ему, едва запел «несчастный любовник» — Качалов, по-извозчичьи громыхнуть:

— Чего басишь? Пой тенором, ты же любовник!

Последним номером шла французская борьба. Турок с черными усами и патагонец в черной маске не столько борются, сколько рычат и прыгают один на другого.

Москвин — на нем поддевка, картуз и лаковые сапоги — в роли циркового арбитра «дяди Вани».

— Дядя Ваня! — кричат подставные зрители.— Он его за ляжку укусил! Незаконный прием!

— Дуракам закон не писан! — почесав за ухом, глубокомысленно изрекает Москвин.

А в это время у патагонца отрывается голова и улетает со сцены. Арбитр невозмутим.

— Все в порядке,— успокаивает он зрителей.— Все четыре ноги на месте!

7

«Милый папа!

Ваши письмо и карточку я получил. Известие об Эрочкиной судьбе было для меня очень неожиданно. Представляю, с каким самочувствием он уезжал на войну, оставляя жену и четырех ребят. Интересно, в какую эскадру он попал: во Владивосток или же идет на Дальний Восток с Балтийским флотом?

За карточку большое Вам спасибо. Теперь я все-таки представляю приблизительно, насколько Вы изменились за эти годы. Я нахожу, что Вы пополнели. А относительно головы могу Вас утешить, что я скоро догоню Вас. Но Вы не думайте, однако, что это результат каких-то экстраординарных страданий и лишений. Нет, так уж мне на роду написано было лишиться волос к 30 годам. Еще в Петропавловской крепости доктор сказал мне, что у меня должна быть «наследственная» лысина. Ведь, помните, мама говорила, что я вылитый дедушка. Вероятно, и в этом смысле я похож на дедушку, а не на Вас. Уже по одному тому, что я останавливаюсь на этом вопросе, Вы можете судить, как неравнодушно я отношусь к своей лысине...

Жизнь моя течет обычным образом, так что никаких особых новостей сообщить не могу. До конца следствия, по-видимому, еще далеко.

Пока еще не скучаю. Чувствую себя довольно хорошо. Здоровье тоже в полном порядке. Вообще

условия здешней тюрьмы гораздо лучше, чем, например, в Петропавловской крепости.

Теперь несколько слов относительно Вашего письма.

Мне очень прискорбно слышать, что Вы до сих пор не можете или не желаете понять меня. Неужели Ваш долгий жизненный опыт не подсказывает Вам, что каждый человек должен идти своим собственным путем, что в жизни нет одной широкой проторенной дороги для тех, кто способен мыслить и чувствовать? Если принять это за истину, то заботы и страдания отца, матери и вообще всех любящих сразу принимают совершенно другой характер. Несчастными становятся не те, которые голодают, холодают или сидят за решеткой, и, наоборот, счастливы не те, которые живут в богатстве и безнаказанно пользуются свободой. В действительности же тот несчастен, кто сбился со своей настоящей дороги или не мог найти ее вовсе, а счастлив тот, кто идет неуклонно, без страха и сомнения, туда и прямо, куда указывают ему его совесть и убеждения. Не может быть счастлив человек, если он обречен на постоянную борьбу со своим внутренним голосом, если он вступил в сделку со своей совестью. Тогда все внешние блага, вроде богатства, знатности, даже слава не в состоянии заглушить душевных мук, отравляющих каждый шаг жизни.

Остается один путь: живи в мире и согласии со своей совестью. Вот единственная заповедь — стара, как мир, — которую нужно всегда помнить и никогда не забывать. Только на такой духовной основе строятся за́мки счастья. Не может быть одной мерки для всех. Если бы вдруг все люди помирились на идеале близкого благополучия, то не было бы современной культуры, не было бы прогресса; общественная жизнь остановилась бы и человечество вернулось бы

к первобытному варварству. А мы так любим человеческий гений, красоту, свободу, что с радостью и бодро смотрим в лицо самой страшной опасности, не боимся тернистой дороги: лишь бы перед нами светила яркая заря нашего идеала.

Вы же советуете мне свернуть с моей дороги. Если бы я поступил таким образом, то бросил бы себя в пропасть самых ужасных, неизлечимых мук. Нет, милый и дорогой папа! Постарайтесь вникнуть в мое сердце, и Вы поймете, что иначе я не могу жить: мой путь давным-давно намечен, свернуть с него — значит убить свою совесть. Последнее же — самое ужасное преступление; для него нет искупления.

Поверьте, дорогой папа, Вы жестоко ошибаетесь. Только потому, что у меня мозг и сердце идут нога в ногу, неразлучно, я так непоколебим в избранном мною пути. И тот, кто стремится соблазнить меня другими, более покойными, ровными и широкими дорогами, несмотря на все свои добрые намерения, по моему мнению, желает мне не счастья, а такого существования, против которого протестует вся моя личность. Я вижу, что в этом пункте мы никогда не сойдемся с Вами. Если бы Вы могли видеть меня сейчас, то, я уверен, Вы благословили бы меня идти дальше и оставаться самим собой.

Пишите, папа. Я был бы очень рад, если бы Вы успокоились на мой счет, не рисовали мое положение в мрачных красках. Я чувствую себя гораздо лучше, чем многие и многие общепризнанные удачники и счастливчики.

Желаю Вам всего лучшего, а главное, здоровья. Крепко целую Вас.

Ваш сын Коля».

8

Голодовка длилась уже девять дней.

Бауман вспоминал роман Кнута Гамсуна «Голод» — года два назад этой книгой зачитывалась вся Европа; он прочел ее в Женеве, на немецком. Роман поразил тогда удивительно правдивым и достоверным описанием мук голода, который время от времени настигает героя; сколь помнилось, муки эти шли по нарастающей.

Вначале Бауман удивлялся, что его ощущения не совпадают с описанными Гамсуном; но потом он сообразил: все дело было, вероятно, в том, что герой книги не голодал дольше двух суток кряду; в критический момент он одалживал или зарабатывал очередные пять крон, их хватало на неделю, и затем все начиналось сначала.

Значит, Гамсун не отступил тут от правды. Вот если бы герой его голодал более длительный срок — тогда другое дело.

Анализируя свои ощущения, Бауман установил, что чувство голода, несколько ослабевшее к исходу вторых суток, вскоре совсем исчезло и уже не появилось больше. Все возрастала только слабость. Слабость — это, пожалуй, единственное, что с беспристрастностью медика мог отметить он в себе. Целыми днями он не поднимался с койки: берег силы. По его прикидке, их должно было хватить надолго.

Каждое утро навещал его (как, вероятно, и остальных) начальник тюрьмы. Говорил он всякий раз одно и то же: от него ничего не зависит, ровно ничего.

Потом являлся врач; этот, ощупывая пульс, удрученно качал головой, говорил о необратимом разрушении нервных клеток и других роковых последст-

виях дистрофии. Было жаль врача: он искренне переживал.

— Я понимаю,— говорил он,— что вы поступаете так не из каприза. Но все равно это ужасно. Какое-то варварство, право.

Врач — звали его Павел Антонович — приносил с собой газету. «Московский листок». Дрянная газетенка, бездарная, но кое-какая дельная информация — с театра военных действий или о наиболее крупных забастовках — все же и в нее проникала. Бауман жадно проглядывал газету, от начала до конца,— даже и по этим, более чем скудным сообщениям можно было судить о нарастании революционного движения.

На этот раз Павел Антонович, добрая душа, тоже принес газету. Бауман развернул ее, и, как обычно и бывает в таких случаях, первое, на что упал взгляд, была эта телеграмма, отбитая траурной рамкой.

«Во Франции, в Каннах, в возрасте 42 лет застрелился известный московский промышленник Савва Тимофеевич Морозов. Подробности в следующем номере».

— Что с вами? — услышал он голос врача.

Бауман не ответил, и Павел Антонович, в беспокойстве взяв его руку у запястья, достал из жилетного кармашка часы и принялся считать пульс.

— Не надо,— сказал Бауман и отнял руку.— Не надо. Идите.

— Я заберу газетку.

— Да, конечно,— сказал Бауман; газету нельзя было оставлять в камере.

Врач уже ушел, и надзиратель вновь замкнул дверь, и немало, должно быть, еще времени прошло,— внезапная боль, захлестнувшая сердце, все не

отпускала. Потом, обретя способность хоть как-то осмыслить происшедшее, он вынужден был отметить, что до некоторой степени это даже самого его удивило — что смерть Саввы так тяжело ударит; при всей близости, какая была между ними, он не числил Савву среди близких своих друзей.

Они величали друг друга по имени-отчеству: «Савва Тимофеевич», «Иван Сергеевич», были на «вы», но сейчас, в мыслях своих, Бауман называл его С а в в а, не мог иначе: словно бы смерть, расставив все по своим местам, внесла ясность и в их отношения.

Гнездилось теперь в глубине сознания чувство, что он знает Савву не просто даже давно, а столько, по крайней мере, сколько знает себя. И хотя заведомо это было не так, хотя Савву впервые увидел он совсем недавно, только в этом году, на новогоднем банкете в Художественном, а познакомился с ним и еще позже,— все равно это чувство не покидало его.

Чем больше думал он теперь о Савве, тем отчетливее понимал: как ни неожидан конец Саввы — такой только конец и мог у него быть; рано или поздно... Миллионер и «хозяин», притом жестокий, который весь свой талант и всю свою страсть отдает приумножению семейных капиталов и в то же время десятки тысяч жертвует без сожаления на дело революции,— что может быть противоестественнее и нелепее? Разве что только на Руси с ее фантастическими противоречиями и возможен еще такой гибрид. Трагедия вызревала, пока не стала уже неизбежной, трагедия человека, не нашедшего себя. Трагедия — было точное слово. И Бауман подумал, что только так — по высокому счету — и можно судить Савву.

...У Баумана были тогда трудные дни. Меньшевики вытолкнули его из комитета, как инородное, чуж-

дое тело. Он остался без явок, без связей, без денег. День-деньской мотался из конца в конец по городу, поздним вечером, за неимением другого пристанища, забредал либо в театр, к Андреевой и Качалову, либо прямо домой к Качалову, где к тому времени стал вполне своим человеком.

Накануне встретила его Мария Федоровна, встревоженно рассказала о весьма недвусмысленном разговоре, который был у нее не далее как сегодня утром. Она спешила на репетицию. И только Захар, кучер, остановил у подъезда — к ней навстречу один из ее поклонников, Джунковский, адъютант московского генерал-губернатора. Целует ручку, любезничает: «Вы как всегда очаровательны... Я так рад, что встретил вас... Сегодня у меня будет счастливый день...» А потом, словно ненароком, тем же светским тоном добавляет по-французски: «Но я никогда не предполагал, что вы такая опасная...» Андреева насторожилась: «Вы очень любезны, полковник, но я вас не очень понимаю». И тогда Джунковский уже без всякой игривости сказал вполголоса: «Стало известно, что вы скрываете опасного государственного преступника. Могут быть неприятности. Прошу вас, верьте мне...» С тем и откланялся.

Рассказав об этом, Мария Федоровна сказала, что едва ли грозит непосредственная опасность,— Джунковский вел бы тогда себя иначе,— так что сегодня Бауман вполне может переночевать у Качаловых, а уж к утру она что-нибудь придумает.

На другой день, рано утром (хозяева еще спали, сам Бауман вот-вот должен был уйти), явился Морозов.

— Вы Иван Сергеевич?

— Я.

Морозов протянул руку:

— Морозов, Савва Тимофеевич. Хорошо, что я вас застал. Я от Марии Федоровны. Вас проследила полиция.

— Где они? Здесь?

Бауман невольно сунул руку в карман: там был револьвер.

Морозов заметил его движение.

— До этого, думаю, не дойдет. Одевайтесь! Поедемте ко мне, там сам черт вас не сыщет.

Через несколько минут морозовский кровный рысак мчал на Спиридоньевку. В санях рядом с Морозовым сидел, укрывшись медвежьей полостью и высоко подняв воротник пальто, Бауман. Полицейские на перекрестках козыряли рысаку и седокам: Савва Морозов — личность в Москве знаменитая.

Особняк на Спиридоньевке, мрачный, неуклюжий, больше походил на средневековый дворец. В полутемном вестибюле откуда-то сбоку, совсем из темноты, возник вдруг огромный человек в косматой черной папахе, в черкеске с газырями и большим кинжалом у пояса; помогая Бауману снять пальто, он зловеще шевелил черными усами.

— Это мой черкес Николай,— зажигая электричество, со смешком сказал Морозов.— Да он не кусается, не бойтесь! — И повернувшись к черкесу, приказал: — Этого человека, зовут его Иван Сергеевич, впускать в любое время, все равно — дома я или нет. Будет жить у меня в кабинете.

Кабинет, куда поднялись по парадной мраморной лестнице, был заставлен мебелью из темного дуба; дубовой же панелью выложены стены; кресла и широченный диван обтянуты красной кожей.

— Спать на диване будете,— сказал Савва.— Простыни и все прочее — в ящике.

Бауман огляделся.

— Это кто — Витте? — показал он на поясной портрет, висевший над диваном.

— Он! Кто же еще! А надпись-то какую, взгляните, учинил мне! — Савва рассмеялся.— А теперь сюда посмотрите! — Он показал на другую, противоположную стену — там был портрет Горького.— Тоже, между прочим, с лестным автографом. Ну, это все пустое. Перейдем к делу. Вы, кажется, агроном?

— Ветеринар.

— Еще лучше. Сумеете отличить коровье копыто от лошадиного?

— Пожалуй.

— Прекрасно! Вы будете у меня заведовать конным двором, в Горках! — Помедлил: — Если будет, конечно, охота...

Потом неожиданно:

— Вам нужны деньги? — Уточнил: — Не вам — для дела. Да что вы жметесь, ровно барышня! Не беспокойтесь, Савву Морозова не так просто разорить.— И быстро, по-деловому, предложил: — Тысячу, на первый случай, хватит?

Как выручила тогда эта тысяча! Федотыч съездил в Смоленск, а потом в Вильну — за шрифтом и прочим типографским оборудованием. Сняли, когда приехала Надюш, квартиру на Красносельской. А сколько поездок по делам Северного бюро ЦК!

Бауман и раньше знал, что Морозов немало денег давал партии. Знал, что помещение Художественного театра на Камергерском перестроено на его, морозовские, деньги. Что это, спрашивал себя Бауман. Чудачества богача? Щедрость широкой натуры? Нет, вряд ли; недаром же по Москве ходят легенды о его скаредности, о том, к примеру, как он даже с извозчиками торгуется из-за каждой копейки. Тогда — что же?

Впрямую спросить об этом он не решался. Но иногда на Савву на самого находил «стих», и тогда он, не то хвастая, не то жалуясь, говорил:

— Я ведь не человек, я — экспонат. Меня преподавать надобно, по курсу политической экономии, ей-ей! Дед мой, может, слыхали, тоже Савва, умнющий, судя по всему, человек был. Бедняк, крепостной, пришел в город, делал фальшивые деньги, а умер миллионщиком! Отец мой — тот уже пожиже был да и поглупее. Но ничего, деньгу тоже делать умел. Сам был неуч, а меня к грамоте силком тащил — этак, знаете, по-дикому, по-старообрядчески (мы ведь старообрядцы). Воспитывали меня по уставу древнего благочиния и за неуспехи в английском, к примеру, языке драли лестовкой. А лестовкой-то куда больнее, чем ремнем: она с рубчиками, дьявол! После порки нянька мазала мне задницу елеем и заставляла молиться Пантелеймону Целителю, чтоб скорей заживало. Кроме няньки этой — Феодосьи — ничего приятного про детство не помню. Богачи были, а жили нищими: я старшего брата Сергея рубашки донашивал... А я ведь химик. В Московском университете лекции слушал, в Англии учился — на бабкины деньги: мои-то меня в то время от дома отлучили, из-за жены двоюродного братца, я их развел, а потом на ней женился; а по старообрядчеству это грех и позор великий... Так я о чем? А! Собирался в Кембридже диссертацию защищать — я специалист по краскам, патенты даже имею. Но ученого из меня не вышло. Сначала жена заболела, и пришлось приехать в Москву, а тут отец как раз свихиваться помаленьку стал, дело прикрыть захотел, ну матушка не допустила этого — меня директором назначили. Это — по мне! Тут уж я развернулся — пригодилась аглицкая наука! Все перестроил, станки новые завез — всех конкурентов к ногтю!

Измельчал народ, щенки... Личностей нет — вот в чем беда! — Ткнул пальцем в портрет Витте. — Думаете, этот — личность? Прихвостень! Сперва потянулся к нему, думал, сумеет власть в руки взять. Где уж там нашему теляте! Россию только снизу перевернуть можно.

— Революция?

— Конечно. Другого исхода у России нет.

— А не боязно, Савва Тимофеевич? Вам-то?..

— Это вы насчет моих капиталов изволите беспокоиться? У, батенька, пока суд да дело... За себя я спокоен. Я еще не один миллион из своих фабрик выжму! Неужто, думаете, я такой дурень, что стану рубить сук, на котором сижу?

— Рубите ведь.

— Так думаете?

— Да.

— А мне плевать на то, что вы думаете! Плевать, понимаете? — Помолчал. — Не обижайтесь. Я ведь не на вас злюсь — на себя. Оттого, что сам с собой в прятки играю. — Еще помолчал. — Я ведь деньги больше всего на свете люблю! Есть деньги — я хозяин, я все могу, могу даже революцию, ха, подкармливать. Нет денег — кому я нужен?

В другой раз — подвыпив — начал вдруг декламировать по-английски Броунинга, потом целые главы из «Евгения Онегина». Читал он хорошо, но неожиданно оборвал себя.

— Спать! Тяжелый день был. На фабрике, это в Орехово-Зуеве, стачка намечалась — так я сорвал ее...

— Каким образом?

— Секрет! У Морозова не шибко разгуляешься. Ну, я спать.

Но прежде чем уйти — спросил:

— Вы Ленина знаете?

— Знаю.
— Лично?
— Да. А почему спрашиваете?
— Так. Брошюрку давеча одну прочел, Ленина как раз: «Шаг вперед, два шага назад». Не вы подсунули? Ну, ну, шучу! О вашем втором съезде... Я не особо смыслю в ваших партийных тонкостях, но одно скажу: зоркий человек, Ленин-то, многое видит. И точно знает, чего хочет,— это уж совсем редко бывает. Но главное — есть у него упорство, и одержимость, и злость.— Помолчал.— Знаете, что я нынче решил? Меньшевикам я больше ни копейки не дам!
— А давали?
Савва засмеялся озорно:
— Было бы что давать, а кому — всегда найдется. Так ведь?
...В Каннах в возрасте 42 лет застрелился известный московский промышленник Савва Тимофеевич Морозов...

Закончилась голодовка на одиннадцатые сутки.
Удалось добиться даже большего, чем ожидали. Министр внутренних дел мало того, что удовлетворил все требования,— под давлением общественного мнения он вообще вынужден был освободить (под залог, разумеется) многих заключенных, чьи дела еще не были рассмотрены предварительным следствием. Освобождена была и Стасова. Это обнадеживало.
Меж тем нескончаемые тягучие тюремные месяцы шли и шли. И как ни старался Бауман спрятаться за иронию,— дескать, только выдержанное вино и имеет цену,— нет, не помогало это. Окаянная жизнь, думал он, целый год проторчать в проклятой этой Таганке — и какой год! Злейшему врагу не пожелаешь такой доли...

Нет, вовсе тут не в Таганке было дело: Таганка ли, Бутырка — какая разница? Главное — несвобода. Это было непереносимей всего — что как раз сейчас, когда революции так нужен каждый мало-мальски дельный организатор, он, Бауман, обречен на полное бездействие. Обессмысливалась жизнь.

Революция... Мог ли он думать год назад, когда в тюремной карете везли его июльской теплой ночью через Москву в Таганку, что она, эта революция, при всей ее неотвратимости, так близка? Что сам ход событий ускорит ее? Можно ли было предполагать (даже и после падения Порт-Артура, которое, с несомненностью, вело к падению самого царизма), что так быстро, вот уж поистине в одночасье, народ — притом в самой широкой массе своей — освободится от царистских иллюзий? Кто мог, наконец, ждать, что Николай II сам, собственными своими руками, подожжет 9 января запальный фитиль, который неминуемо должен подорвать самый трон?

И вот уже не просто революционная ситуация — сама революция неудержимым снежным комом, вобравшим в себя всю Россию и весь ее народ, стремительно движется к главной своей цели — захвату власти...

Нет, нет, само собой это не случится. Нужна немыслимая, нечеловеческая работа, чтобы то, что должно произойти, произошло. Бауман не обольщался насчет себя, не переоценивал свою роль: рядовой практический работник, не больше. Но и не меньше... Черт возьми, да где же, где тот Вельзевул, которому можно было б заложить душу, всего себя заложить, со всеми потрохами своими, ради года, ради мига хоть настоящей жизни!..

9

Из воспоминаний защитника

Однажды в наш кружок политических защитников обратилась группа большевиков с предложением защищать Баумана и его товарищей по скамье подсудимых. Кружок с готовностью откликнулся на это предложение. Личность Баумана придавала особое значение процессу, и потому в защите участвовали наши лучшие силы: В. А. Маклаков, Н. К. Муравьев, П. Н. Малянтович, М. Л. Мандельштам, Н. В. Тесленко. Но, кроме обычных защитников крупных политических процессов, на этот раз к защите был привлечен и помощник присяжного поверенного Виргилий Шанцер, только недавно вернувшийся из ссылки. Шанцер был видным членом партии большевиков, как мне говорили, агент ее Центрального Комитета. Этим как бы подчеркивалось партийное значение процесса.

Прежде всего мы ознакомились с делом, то есть с обвинительным актом и следственным производством. Обыкновенная история: сообщество, поставившее своей целью ниспровержение существующего строя. Такое сообщество можно было подвести и под 102-ю и под 126-ю статьи старого Уголовного уложения. А между тем разница между ними была для судьбы Баумана громадная. При обвинении по 102-й статье — длительная ссылка; 126-я статья давала возможность назначить только год крепости и, с зачетом предварительного заключения, немедленно освободить его из тюрьмы. Разница слишком большая, соблазн слишком велик! Но чтобы добиться или полной свободы или минимального наказания, надо было вести процесс «в мягких тонах».

Защитники процесса собирались на квартире у адвоката П. Н. Малянтовича. С нами были и обвиняемые, находящиеся на свободе. В этих совещаниях самое деятельное участие принимала Стасова, дочь патриарха русской адвокатуры, видный член партии большевиков.

При обсуждении системы защиты выявилось сразу два течения. Одни на первый план выдвигали интересы партии и ее идеи; других больше интересовал подсудимый и его личность. Это не означало, конечно, что пропагандисты идей партии готовы были жертвовать во имя своей пропаганды судьбой обвиняемых, нет; но они никогда не согласились бы принизить революционное значение партии, к которой принадлежал подсудимый, и т а к и м п у т е м добиться облегчения его участи. При попытке внести примиряющий мягкий тон в процесс личные и партийные друзья Баумана сразу же заявили решительный протест, с удовольствием подхваченный непримиримым флангом нашего небольшого кружка политических защитников. Друзья Баумана самым категорическим образом заявили, что сам Бауман никогда не согласится получить свободу путем принижения революционного значения своей партии. Оставалось подчиниться. Обвиняемый — хозяин своей участи.

Было решено вести процесс с распущенными партийными знаменами, не приспуская их древка перед тяжестью угрожающего наказания. Как бы там ни было, но все наши совещания носили только предварительный характер. Ничего нельзя было решить окончательно до переговоров с теми из подсудимых, которые содержались под стражей (другая часть подсудимых была под залог освобождена до суда).

Я отправился к Бауману, сидевшему в Таганской тюрьме. В то время там еще не было при конторе

особых помещений для свидания наедине защитников с заключенными, и администрация устраивала такие свидания в одной из свободных камер. Для нас, защитников, такая система свиданий представляла большое удобство. Благодаря ей мы могли сколь угодно долго оставаться наедине с заключенными, не тревожимые докучливыми напоминаниями надзирателей.

Меня ввели в одну из таких свободных одиночных камер. Отправились за Бауманом. Вскоре в коридоре послышались шаги. Загромыхали ключи, застучали засовы. В камеру вошел Бауман.

Судя по тому, что говорили на наших совещаниях лица, хорошо знавшие Баумана, как они пугали нас, защитников, его непреклонностью, я ожидал встретить человека с несколько аффектированной резкостью речи, взвинченно-приподнятым настроением, угловатыми движениями. Словом, должен сознаться, я представлял себе Баумана таким, как обыкновенно рисуют революционеров в сочувствующих, но лубочных изданиях. Каково же было мое изумление, когда в камеру ввели человека, прежде всего и больше всего поражающего своей необыкновенной простотой, отсутствием всякой аффектации. Достаточно было провести с Бауманом полчаса-час, чтобы от лубочных представлений не осталось и следа. В нем чувствовалась большая глубина, недюжинная сила воли и безмерная преданность своему делу. Но все это сдерживалось уравновешенным спокойствием и исключительным тактом.

Вообще Бауман был не из тех натур, которые поражают вас при первой встрече блеском фейерверка, чтобы потом, по мере знакомства, как фейерверк же, померкнуть. Это был, напротив, человек внутреннего огня, который вы не сразу замечали, но который, чем ближе вы к нему подходили, тем ярче разгорался.

Прежде всего мы, конечно, стали говорить о предстоящем процессе. При обсуждении его Бауман не выдвигал своей личной участи на первый план, но и не рисовался искусственным к ней безразличием. Ни малейшей позы и рисовки. Для него процесс прежде всего был «делом», одним из этапов его революционной работы, к которому он относился как к очередной партийной задаче, со всей добросовестностью старого и опытного партийного работника.

Покончив с деловой частью нашей беседы, мы перешли на общий разговор. Мы оба оказались казанцы; наша юность и детство протекали, таким образом, в одной и той же обстановке. Начались воспоминания. Нашлись общие преподаватели, общие знакомые. Бауман даже помнил моего отца, который, будучи детским доктором, лечил его. Воспоминания детства всегда сближают, и наше деловое знакомство быстро перешло в добрые личные отношения. Я стал часто навещать Баумана в тюрьме, привозил ему газеты, сообщал всевозможные новости.

Постепенно сближаясь в своих беседах, мы, конечно, не могли не обмениваться мнениями относительно развертывающихся событий текущего политического момента. А момент был поистине захватывающий: Россия впервые выходила на путь подлинной массовой революции.

Между мной, членом группы «Освобождение», и Бауманом, ярко выраженным большевиком, разумеется, не могло не быть разногласий. В наших беседах то и дело вспыхивал спор. Бауман охотно полемизировал. Очевидно, сказывалось более чем годичное тюремное заключение: хотелось высказаться, даже поспорить. А спорщик он был на редкость хороший. С большим вниманием выслушивал оппонента и, что так редко бывает в русских спорах, не только спешил

сам высказаться, но давал и своему собеседнику полную возможность возражать. В споре его интересовало не удовлетворение мелкого тщеславия легкой словесной победой; нет, его интересовало выяснение самого вопроса. Поэтому Бауман не старался поймать своего противника на случайном промахе, на второстепенной ошибке, не старался сбить его с позиции, забросать словами и потом аплодировать своей собственной победе. Бауман обычно предоставлял своему собеседнику возможность выговориться до конца, причем ни разу не прерывал его. Конечно, это не был митинговый прием для толпы, но в небольшой компании, скажем, в комитете или в разговоре с глазу на глаз, он был неотразим. Не то чтобы я соглашался со всеми мнениями, высказанными Бауманом; этого, конечно, не было, да и быть не могло; но я чувствовал, что с каждым его доводом, с каждой его мыслью необходимо серьезно считаться, ибо то были размышления не только осведомленного, но и вдумчивого человека.

День, назначенный для слушания процесса,— 27 августа 1905 года — приближался, но вместе с тем нарастало и революционное движение в стране. Правительство чувствовало, что окончательно теряет почву под ногами. В так называемых «сферах» боролись самые противоположные течения, и не было такого пророка, который взялся бы предсказать, какое возьмет верх. Бюрократия, в том числе и судебная, сбитая с толку колебаниями у самого источника власти, не знала, чего и кого держаться и какой курс взять. Она всего боялась, у всех заискивала, ко всем подлаживалась и на всякий случай старалась заручиться симпатиями либеральных элементов.

При таких условиях как сами обвиняемые (среди
 них и Бауман), так и мы, защитники, понимали, что

чем больше мы затягиваем процесс, тем больше шансов на его благоприятный исход. Совершенно очевидно было, что процесс надо отложить во что бы то ни стало. Но, с другой стороны, приходилось считаться и с тем, что подсудимые уже около полутора лет сидели в тюрьме. И вот перед защитой встала двойная задача: добиваясь перенесения дела на более поздний срок, в то же время настоять перед судебной палатой на изменении меры пресечения и на освобождении всех подсудимых.

Темы речей были распределены, план атаки детально разработан. Настал день процесса. В своих речах, проникнутых стремлением к единой цели и построенных по строго определенному плану, защита настаивала на отложении дела, но под непременным условием освобождения всех подсудимых из-под стражи. Одни аргументировали это требование юридическими соображениями, другие — политическими, общественными и пр.

Палата удалилась для совещания. В перерыве я подошел к Бауману, чтобы поделиться с ним своими впечатлениями. Бауман был чрезвычайно доволен:

— Если из-за пустяков такой перезвон — что же будет, когда дело дойдет до существа?

— Будем надеяться,— ответил я,— что до существа сегодня не дойдет.

Звонок суда. Засуетился судебный пристав, уселись защитники, пришел прокурор, насторожились подсудимые. Вышла палата и в напряженной тишине огласила свое определение: дело отложить, меру пресечения изменить и всех подсудимых из-под стражи освободить.

Ура! Битва выиграна!

Но вскоре обнаружилось, что мы рано радовались и торжествовали. Мы не учли, что какое бы решение

ни вынесла палата — приводит в исполнение это решение не она, а прокурорский надзор. И вот здесь-то мы наткнулись на совершенно неожиданное препятствие.

Не то чтобы прокуратура была принципиально против оставления таких людей, как Бауман, на свободе. Дело было не в принципах, а в карьере. Освободить? А кто будет отвечать? Кто будет в ответе, если направление переменится и ветер подует с другой стороны? Как это ни странно, прокуратура совершенно не боялась не подчиниться органу судебной власти и не исполнить ясного и точного определения судебной палаты. Она не боялась совершить вопиющее нарушение закона и даже совершить преступление (каковым, бесспорно, является лишение свободы без законного на то основания), но она страшилась поступить вопреки «видам» правительства и вызвать неудовольствие министерства. Малейшее неудовольствие сильных мира сего — и против твоей фамилии стоит уже крест в министерстве. Если не уволят, то сдадут в архив, и тогда прости-прощай роскошный кабинет прокурора судебной палаты со спокойным сенаторским креслом в перспективе. Еще не был забыт процесс Веры Засулич. Присяжные ее оправдали, а растерявшееся начальство раскрыло перед нею двери тюрьмы. Сенат, конечно, кассировал приговор, но Вера Засулич была уже вне пределов досягаемости. С присяжных взятки гладки, а вот прокурорским деятелям это даром не прошло...

Ничего не подозревая, мы с адвокатом Н. К. Муравьевым отправились в Таганскую тюрьму, чтобы лично проследить за освобождением, кого нужно, взять на поруки и вообще выполнить все необходимые формальности.

 Освобождены были все, кроме Баумана.

«Таково распоряжение прокурора»,— объяснили нам.

Вне себя от негодования мы бросились, не медля ни минуты, к прокурору. Чтобы понять всю глубину нашего негодования, надо быть юристом, надо проникнуться чувством незыблемости судебного определения. Прокурор, конечно, и не думал посягать на авторитет решения палаты — как мы могли его в этом заподозрить? При освобождении Баумана вышло недоразумение, не больше того: просто понадобилось получить некоторые справки о нем от градоначальника, к которому прокурор нам и рекомендует обратиться для ускорения ответа. Это дело нескольких часов, и он, прокурор, решительно не понимает причины нашего волнения.

Мы ясно понимали, что ссылкой на градоначальника прокурор хочет выиграть время, пока идут сношения с Петербургом о разрешении перечислить Баумана за градоначальником, задержав его таким образом в тюрьме административно, в порядке охраны. Но несмотря на прозрачность этой недостойной игры, нам с Муравьевым ничего не оставалось, как последовать совету прокурора и ехать к градоначальнику. Не в сенат же подавать жалобу на действия прокурорского надзора, а потом месяцами ожидать решения сената в деле, в котором спешность имела главное значение!

Отправились в градоначальство. Время было позднее, ни о каких приемных часах не могло уже быть и речи. Но градоначальник, подобно всей бюрократии, либеральничал и немедленно нас принял. Он, несколько даже сконфуженно, ссылался то на прокурора, то на ожидающееся распоряжение из Петербурга. Для нас не составляло труда доказать ему абсурдность ареста в порядке охраны Баумана, который и без

того уже больше года сидел в тюрьме. Цель ареста в порядке охраны, говорили мы, определяется законом и его логическим смыслом. Он может быть произведен либо если по тем или иным соображениям дело решено вести в административном порядке, не передавая его судебной власти, либо когда необходимо в спешном порядке, до передачи дела суду, принять срочные меры. Ни одно из этих положений нельзя применить к Бауману. Его дело нельзя направить в административном порядке, потому что оно уже находится на рассмотрении судебной власти, и именно компетентный суд своим определением постановил освободить Баумана из-под стражи. С другой стороны, очевидно, что Бауман, сидя более года в тюрьме, не мог совершить какого-либо нового преступления, которое требовало бы решительных и быстрых мер со стороны администрации. Таким образом, доказывали мы, арест Баумана в порядке охраны есть не что иное, как плохо замаскированная отмена судебного определения.

Градоначальник нас внимательно выслушал, во всем с нами согласился, но... дело уже передано на разрешение министерства, и он ничего теперь не может сделать. Он лично убежден в благоприятном ответе, он не может и допустить, чтобы такие очевидные доводы, как наши, не были бы приняты во внимание; он не сомневается, что завтра же Бауман будет на свободе. Впрочем, он, градоначальник, еще не подписал приказ об аресте Баумана в порядке охраны — таким образом, прокурор имеет полную возможность освободить его хоть сейчас; к нему-то нам, если мы не желаем ждать, и следует обратиться...

Мы чувствовали перед собой стену. Было ясно, что в охранном отделении имеются чрезвычайно серьезные основания считать Баумана видным революцион-

ным деятелем, хотя сведения эти не из тех, которые можно обнаружить на суде. И потому становилось совершенно очевидным, что в Москве мы ничего не добьемся, что здесь прокурор будет нас посылать к градоначальнику, градоначальник к прокурору, и ни один из них ни на что не решится без санкции министерства внутренних дел.

Надо было хлопотать в Петербурге.

На другой же день утром я отправился в Таганскую тюрьму. Все товарищи Баумана по процессу были уже освобождены. Сам Бауман на этот раз нервничал и не скрывал этого.

— Пока мы сидели все вместе,— говорил он мне,— а главное, пока свобода представлялась мне чем-то далеким и недоступным, я чувствовал себя совершенно спокойным. Но после решения суда я стал считать себя уже на свободе. Я думал, что зайду в свою камеру только на минуту, чтобы взять вещи. И опять быть запертым на неопределенный срок... Это очень тяжело. С этим трудно примириться.

Между тем в департаменте полиции одобрительно отнеслись к действиям градоначальника и прокурора. В тюрьме было получено официальное предписание об аресте Баумана в порядке охраны. Прошло несколько дней. Мы забрасывали министерства внутренних дел и юстиции телеграммами, но толку от этого никакого не выходило, и Бауман продолжал сидеть в тюрьме. Тогда было решено, что в Петербург должна ехать жена Баумана — Медведева, вместе с ним арестованная, проходившая по одному с ним процессу, но освобожденная вместе с другими при отложении дела. Медведева отправилась хлопотать в департамент полиции и министерство юстиции. Через несколько дней она вернулась, заручившись твердыми заверениями, что Бауман немедленно будет освобожден.

Но департамент полиции, быстрый на аресты, не особенно торопился исполнить свое обещание. Я не знаю, вообще был бы освобожден Бауман, если бы не события, последовавшие вскоре. События эти хорошо известны. Всеобщая политическая стачка, первые вооруженные столкновения рабочих с полицией и войсками, невиданное доселе нарастание революционного движения — все это ставило уже под угрозу само существование самодержавия...

10

Начальнику
московской губернской тюрьмы

По приказанию московского градоначальника охранное отделение просит ваше высокоблагородие выдать предъявителю сего, полицейскому надзирателю отделения Федору Кондратьеву, содержащегося во вверенной вам тюрьме под стражей политического арестованного, ветеринарного врача Николая Эрнестова Баумана, который, вследствие распоряжения департамента полиции, изложенного в отношении от 2 сего октября за № 4648, из-под стражи будет освобожден.

* *
*

Телеграмма

Казань, Эрнесту Андреевичу Бауману

Свободен. Целую. Коля.

Глава седьмая

При совсем других обстоятельствах

1

Он уже не надеялся, что его выпустят. Обжегшись на радости, которая обернулась обманом (что выпустят под залог до суда, как постановила палата), он пуще всего боялся теперь думать о свободе; это размягчало, ослабляло. Даже записочки с воли (от Надюш, от Стасовой — их иногда приносил адвокат), записочки о том, что хлопоты продвигаются успешно, что такой-то высокий чиновник, а потом еще такой-то обещали решить вопрос положительно и в самом скором времени, даже эти записки, поначалу так будоражившие его, он старался теперь воспринимать спокойно, без «эмоций». Он предпочитал готовить себя к худшему, так было разумнее. Он ждал суда — это требовало жесткого спокойствия, хладнокровия.

Он часто вызывал в воображении картину этого предстоящего суда. Он легко мог представить себе, что скажет прокурор, что скажет адвокат — дело, по сути, было несложное. Он довольно точно знал и то, что скажет сам в своем последнем слове; его заботило только — как он это скажет, какие слова найдет. Из каких-то закоулков памяти всплыло вдруг: «Когда же будут судить вас, не заботьтесь, как или что сказать».

Нет, он не был согласен с этой евангельской прописью. Дело, в конце концов, не только в нем — вместе с ним будут судить партию. Полагаться здесь на экспромт он не хотел. Он готовил свою речь, придирчиво взвешивая каждое слово.

По точному смыслу статей, по которым меня обвиняют (примерно так скажет он на суде), я должен быть выслан или на каторгу или в вечную ссылку на поселение. Но не смешно ли, господа судьи, говорить теперь о таких приговорах? Не злой ли иронией звучит требование закона сослать навечно в ссылку, когда никто из вас и за завтрашний день ручаться не может? Вся Россия кипит и бурлит; не сегодня-завтра ни от старого правительства, ни от всего хлама судейских постановлений и приговоров ничего не останется, и те, кто у вас теперь сидит на скамье подсудимых, окажутся одними из энергичных деятелей молодой России. Как же вы, господа судьи, можете серьезно заниматься вынесением бумажных резолюций? Согласитесь, что уже давно прошло то время, когда можно было наивно мечтать остановить революционное движение, вырвав из народа отдельных борцов за свободу. Теперь весь народ стал революционером, а народ еще ни один суд не осмеливался судить. Такие суды кончаются обыкновенно очень плачевно для судей. Не могу в связи с этим (непременно скажет он потом), не могу не указать на всю несообразность того, что вы собираетесь делать. Вы беретесь судить революционеров в то время, когда на дворе революция; вы беретесь защищать режим, который самой историей осужден на гибель. Судите же, господа судьи (скажет он напоследок), а нас с вами революция рассудит...

Революция и рассудила.

 Когда надзиратель отомкнул дверь и сказал: «Пой-

демте», думал — на допрос. Но привели его в канцелярию. Здесь были начальник тюрьмы и старший надзиратель. Начальник тюрьмы объявил ему, что, согласно поступившему распоряжению, он освобождается до суда из-под стражи и что ему надлежит теперь дать подписку о невыезде с точным указанием своего местожительства. Бауман выполнил все, что требовалось, спокойно, даже с безразличием: в глубине души крепко все же сидела боязнь провокации, нового обмана. И только когда вывели его через будку за ворота тюрьмы и он увидел метнувшуюся к нему Надюш, увидел ее длинные синие глаза и большой узел волос на затылке, ее милую, словно б испуганную улыбку,— вот тогда только и захолонуло сердце, только тогда по-настоящему понял: свобода.

Час был поздний, но Надюш, точно почувствовав, что ему сейчас больше всего нужно, повезла его (извозчик, нанятый ею, уже ждал их) к Техническому училищу; там, по ее словам, чуть не круглые сутки заседает МК большевиков.

Этой же ночью Бауман был кооптирован в состав МК.

Свобода. Когда бессонными душными ночами он думал о ней в своей одиночке, она означала для него не только это вот незарешеченное небо над головой, не только возможность пойти, куда вздумается, или сделать, что взбредет на ум; конечно, и это тоже, но главным было — окунуться в работу.

И вот блаженные эти дни настали. Началась веселая работа, притом в самом центре широко размахнувшихся событий. По записочкам с воли, по рассказам адвоката он, сидя в тюрьме, составил себе, конечно, какое-то представление о масштабе движения. Но действительность превзошла все предположения. И дело тут было не в недостатке у него фантазии. Как

ни фантазируй, *такое* все равно не придумаешь — чтобы тысячи, десятки, сотни тысяч людей были так одушевлены одной идеей, так слитно шли к одной цели.

Он невольно сравнивал. Шестнадцать месяцев назад, когда его засадили в Таганку, маевка человек на сто где-нибудь в глуши Подмосковья и та считалась великим достижением. В каторжных условиях подполья о большем, впрочем, и мечтать было нельзя. Но та их работа не прошла даром. Время сделало свое, и вот уже не единицы, а вся трудовая Москва осознала свою силу и свое назначение в революции.

Техническое училище, где находился Московский комитет партии, стало штабом восстания. Бауман сразу же почувствовал себя очень нужной частицей огромного механизма, работа которого с каждым днем, даже часом приближает окончательную развязку. Не хватало суток. Комитетчики спали тут же, в библиотеке училища,— не раздеваясь, прямо на полу, подложив под головы кипы старых газет. Митинг следовал за митингом, их было так много — не успевал кончиться один, как подходили новые толпы, и начинался другой,— что они как бы сливались все в непрерывный митинг. Всеобщая политическая стачка, охватившая Москву, перекинулась на другие города, стала всероссийской. На повестке дня стоял вопрос о непосредственной подготовке вооруженного восстания.

В один из таких горячих дней — 17 октября — Бауману все-таки удалось выкроить минутку — забежать к Качаловым, они жили теперь в Богословском переулке. Качалов по старой памяти называл его Иваном Сергеевичем. Бауман, смеясь, говорил:

— Да забудьте вы об Иване Сергеевиче, не те времена теперь.

 Качалов не хотел его отпускать.

— Николай Эрнестович, ну нельзя же так! Полтора года не видались, о стольком поговорить надо — оставайтесь ночевать!

Но Бауман не мог остаться: его ждали на фабрике Шмита, там организовывалась боевая дружина.

— Когда же мы теперь увидимся? Завтра? — все спрашивал Качалов.

— Не обещаю. Ни завтра, ни послезавтра. События разворачиваются так стремительно, что скорей всего мы теперь увидимся при совсем других обстоятельствах, совсем других. При гораздо лучших обстоятельствах!

А утром был обнародован царский манифест, подписанный накануне. Слогом торжественным и витиеватым в нем объявлялось «верным сынам России» о даровании «незыблемых основ гражданской свободы».

Тысячные толпы ходили по улицам — восторгу и ликованию не было конца. И это становилось опасно. Московский комитет постановил: всеми силами и средствами разъяснять, что права, «дарованные» манифестом,— бумажные, свободы — фальшивые, и одновременно усилить подготовку к вооруженному восстанию.

...Двор Технического училища был запружен людьми. То и дело раздавались радостные возгласы:

— Свобода! Свобода! Ура!

Здесь же, среди рабочих, были кучки пьяных черносотенцев — с портретами царя, с трехцветными знаменами; они пели «Боже, царя храни»: тоже, на свой манер, славили «свободу».

Комитетчики спустились во двор.

— Товарищи! — громким своим голосом объявил Шанцер.— Слово имеет член нашего комитета Бауман, ровно десять дней назад выпущенный из Таганской тюрьмы!

— Ура! — тысячеголосо отозвалась толпа.

Бауман поднял руку. Наступила тишина.

Расценив манифест, как вынужденную уступку царского правительства, испугавшегося могучей силы революционного народа, Бауман закончил свою речь призывом.

— Только вооруженною рукою,— с воодушевлением говорил он,— только всенародным вооруженным восстанием сметем мы с лица земли врага и завоюем себе подлинную свободу. Вперед же, в бой! Пользуясь добытыми плодами — в борьбу до полной победы! И первое, что мы должны сделать,— это сегодня, сейчас же пойти к тюрьмам и немедленно освободить политических заключенных — тех наших товарищей, которые и после манифеста томятся в застенках...

Он еще и закончить не успел — последние слова его были перекрыты возгласами, несшимися со всех концов просторного двора:

— Свободу заключенным! К тюрьмам!

Что-то выкрикивали и черносотенцы, но что именно — разобрать было совершенно невозможно: их тотчас оттеснили к забору; через минуту трехцветных флагов, кое-где вкрапленных в пеструю толпу, уже не было видно. До рукопашной, однако, дело не дошло.

Спустя полчаса толпы не стало: тысячи людей, заполнивших из конца в конец и Немецкую улицу и Коровий Брод, выстроились в колонну, по десять человек в ряд. Решили идти к Таганке: там было больше всего политических. Возглавляли шествие члены МК; здесь же, впереди, находилась боевая дружина — на случай нападения черносотенцев. В руках у Баумана было знамя; на алом полотнище вышито золотыми буквами: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!»

При выходе с Коровьего Брода помещались казармы резервного батальона. Завидев демонстрацию,

солдаты с ружьями выскочили на улицу. Колонна замедлила шаг. Но солдаты и не думали стрелять. Подняв вверх ружья, они приветствовали рабочих криками «ура».

Свернули уже на Немецкую. Справа, вдали, у фабрики Дюфурмантеля, безучастно, не делая попытки присоединиться к демонстрации, кучкой стояли рабочие, человек сто.

— Надо их позвать,— сказал Бауман.

— Стоит ли? — сказала Роза Землячка; она шла рядом.— Нас и без них много.

Бауман подумал, что она права: из-за сотни людей вряд ли есть резон останавливать колонну, задерживаться. Но тут поравнялись с извозчиком; прижатый к обочине, он глазел на колонну, заполнившую улицу; потом развернул пролетку и направил ее в обратную сторону: там, до самой фабрики Дюфурмантеля, улица была пустынна. В этот момент Бауман вскочил в пролетку.

— Куда? — крикнул Шанцер.

— Я быстро! — крикнул Бауман, крепко держа древко знамени.— Пяти минут не пройдет, как догоню!

Сказал извозчику:

— Гони, братец.

Извозчик мчал что есть мочи, пролетку немилосердно трясло по булыжной мостовой, и Бауман, чтобы не потерять равновесия, держался свободной рукой за облучок. Он смотрел вперед, туда, где у ворот фабрики словно бы в нерешительности стояли рабочие.

Он смотрел вперед и не видел, как из подворотни двухэтажного дома кинулся вслед за пролеткой человек не то с палкой, не то с железной трубой в руках. Не слышал он и предупреждающего крика из колонны: все заглушал стук стальных колесных шин о бу-

лыжник. Он оглянулся тогда лишь, когда низкорослый и в картузе человек с трубой вскочил уже на подножку. Последнее, что он увидел в это мгновение, была газовая труба, занесенная над его головой.

Боли он не почувствовал. Лишь земля качнулась ему навстречу.

Лишь земля — навстречу.

2

Чуть свет, еще и деготный мрак неба не начал сереть, поднялась в тот день Москва. Выйдя на улицу, Качалов поднял ворот пальто: вовсю бушевала непогодь, ярился ветер, гнал, крутил водоворотом изморосную въедливую пыльцу.

Качалов шел к Техническому училищу. По мере того как он отдалялся от центра, людей становилось все больше, особенно на дальних и ближних подходах к училищу — на Мясницкой, на Каланчевке, на Елоховской, на Немецкой. Потуже, поплотнее запахивая одежонку, люди выныривали из домов, из стоялого тепла, в эту гиблую студеную коловерть, без следа исчезая в сплошном человечьем потоке. Не то что лица — фигуры были неразличимы в темноте, и только по голосам, сдавленным, отсырелым как бы, можно было угадать, что вместе с мужчинами идут и женщины и дети даже.

Качалов прислушивался к разговорам.

— А где сбор-то? Прямо там — во дворе?

— В училище, где же! Митинг, что ль, там будет.

Женский всклик:

— Да разве все поместимся?!

Сзади:

— У тебя что — револьвер?

— Берданка. Детишек-то почто взял? Не на гулянку идем.

— Пусть глядят.

Уже сворачивали к училищу, когда взревели, завыли вдруг, надсадно и тревожаще, заводские гудки — сначала порознь, словно пробуя голос, потом слитно; звук был мощный, почти вещественный, властно заглушал людской говор.

Гудки умолкли через какое-то время, и стало, кажется, еще тише, чем прежде, и кто-то рядом с Качаловым отчетливо произнес:

— Неужто весь город выйдет?

— А ты думал! — ответили ему.

— Не было еще такого...

— Силища — ну!

С неба сероватый просвет мало-помалу перекидывался тем временем на землю, выхватывая из толпы то одно, то другое лицо — сосредоточенное, сурово-хмурое. Жилистый высокий старик в ватном пальто и зимней шапке сказал своему товарищу, тоже пожилому:

— Здесь проход напрямик — пошли?

Свернули в проулок между домами, побежали, расшмякивая сапожищами глинистое склизкое месиво. Качалов пошагал вслед за ними.

Как ни торопились, все же припоздали малость, во дворе училища было уже полно народу. Возвышаясь над всеми, на крыльце стоял высокий бородатый человек — Качалов узнал в нем Шанцера — и что-то говорил; до Качалова доносилось лишь немногое из его речи:

— ...в ответ на зверства... сплотиться, показать свою готовность... последние конвульсии правительства...

— Кто это? — спросили неподалеку.

Качалов хотел уже сказать, что это — Шанцер, большевик, но молодой парень, по виду рабочий, опередил его, сказал:

— Марат! Комитетчик!

Качалов протиснулся поближе к крыльцу — чтобы лучше слышать.

— Возможны,— говорил Шанцер,— и провокации со стороны властей. Без повода они вряд ли посмеют открыть огонь, знают, что нынче не 9 января. Так вот, мы не должны давать им этого повода. Любым провокациям мы должны противопоставить порядок и железную рабочую дисциплину...

Толпа — и во дворе, и на примыкающих к нему улицах — ширилась с каждой минутой: казалось, прибывает, бурля и клокоча на перекатах, неостановимая в своем напоре полая вода, густая, темная, грозная. Качалова охватила тревога: а удастся ли организовать толпу так, чтобы не получилась Ходынка, не возникнет ли при построении в колонны давка и свалка?

Под звуки траурного марша члены Московского комитета подняли покрытый ярко-красным полотнищем гроб Баумана. Тотчас образовался в толпе широкий проход. Медленно поплыл над головами гроб. А следом, на ходу перестраиваясь в ряды по десять человек, люди двигались уже колонной: ни суеты, ни замешательства, точно каждый заранее знал, где его место. По обеим сторонам колонны, отделяя ее от тротуара, живой цепью, взявшись за руки, шли боевики. Колыхались над процессией знамена, лозунги: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!», «В борьбе обретешь ты право свое», «Да здравствует диктатура пролетариата!», «Порядок охраняют сами граждане».

Колонна меж тем разрасталась и разрасталась, втягивая в свой поток все новых людей, теснясь, как

 бы впрессовываясь в узкомелье окраинных улочек

и оттого двигаясь временами так медленно, что иногда казалось, будто на месте застыли все.

Но зато потом, достигли лишь Красных ворот, и до размашистого, перебежечного почти шага ускорилось движение, волнами, с глухим рокотом выплескиваясь на ширь вместительного Садового кольца; такое только в паводок бывает, когда, прорвав узкую горловину устья, взбухшая от непомерного ливня река вырывается наконец на морской раздольный простор.

Солнце, хоть и не очень старательно, все же делало свое дело: стало почти светло. Неопрятное рогожное небо, точно удостоверясь, что все равно не загонишь этих людей в дома, перестало пылить своей изморосной сеянкой.

Черные и красные полотнища появились на балконах и в окнах многих домов. Балконы и крыши по пути следования процессии были, ровно б на празднестве, усеяны людьми. Качалов подумал вдруг, что со стороны все это и впрямь выглядит, наверное, как праздник: люди вышли на похороны, самое лучшее свое, самое нарядное надев.

Но это только со стороны. Вглядываясь в строгие, истовые в своей решимости лица, Качалов думал о человеке, чья смерть повела за собой всех этих людей, не знавших его при жизни, с болью думал о том, что Бауман, и это бесспорно, был один из самых лучших, один из самых чистых и светлых людей, с кем он, Качалов, сталкивался за всю свою богатую встречами жизнь. Думая так, он знал, что это не было обычной данью умершим, о которых, как водится,— либо хорошо, либо никак; нет, не сейчас, не в скорбную минуту он понял это; он знал и понимал это и раньше. Он не мог представить себе Баумана мертвым, не мог и не хотел. «При совсем других обстоя-

тельствах...» Эта фраза (последнее, что он услышал от Баумана) не выходила из головы. Бауман в тот раз был, как всегда, жизнерадостен, даже весел. Он так произнес эти слова, что невозможно было усомниться: эти другие — лучшие — обстоятельства непременно наступят, и непременно скоро, в самые, возможно, ближайшие дни... Только его, Баумана, уже не будет среди тех, кто увидит новые времена. Какая чудовищная, какая кощунственная, какая трагическая несправедливость! Каким страшным, именно трагическим смыслом обернулись его слова!..

Люди шли молча, не отвлекая себя даже на шепот, и в этом молчаливом шествии неисчислимой массы была та грозная величавость, которая невольно передавалась каждому и словно бы стирала различие между людьми: одинаково ушли глаза в подлобья, одинаково взбухли ядра желваков на посеревших скулах. Качалов подумал — так идут в бой: отрешившись от всего обыденного, суетного, сосредоточившись на одном чувстве, на одной мысли. Что особенно поражало — на тротуарах вовсе не было зевак; возможно, кто и вышел на улицу просто поглазеть,— не могло же не быть таких,— но через минуту даже и эти вливались в общий людской поток, ощетинившийся древками с красными стягами. Никогда раньше Качалов не испытывал чувства такой внутренней слитности с людьми, незнакомыми людьми, окружавшими его.

Смерть, думал Качалов. В ней всегда таится что-то пугающе-непонятное, противоестественное. Даже если человек долго жил, даже если умирал медленно, от болезней. Бауману было тридцать два года... Его убил некто Михалин, пьяница и черносотенец. Говорили, что он подослан охранкой. Верно, так оно и есть: спасаясь от расправы, недаром же он укрылся

в полицейском участке — надежное пристанище! А Бауману было всего тридцать два года... О господи, с содроганием подумал вдруг Качалов, как можно ставить рядом эти два имени? Его даже передернуло от пронзительной несовместимости такого, пусть и невольного, сопоставления. Он опустил голову.

...На всем пути — ни одного городового: ни на Мясницкой, ни на Лубянке, ни на Театральной площади. Неудержимо, неотвратимо — воистину половодьем — двигалась колонна. Как вдруг внезапно (это было уже на Манежной площади, около университета) какое-то легкое — как колыхание хлебов в безветренный почти день,— но все же ощутимое движение прошло по колонне, заставило откачнуться на мгновение назад. Качалов был в головной колонне, следовавшей сразу за гробом, он видел: у горловины площади, на углу Моховой и Никитской, возникли, перегородив дорогу, верховые казаки — отборные кони, остановленные вдруг, еще горячились, нервно перебирали копытами. Остановился, повинуясь чьему-то негромкому слову, отряд дружинников, шедший впереди. Все короче шаг колонны, пока не застыла она вся оледенело, словно не тысячи и тысячи людей были тут, а одно существо, огромное и умное.

Поперек улицы стояли в несколько рядов казаки. Было их немало — сотня, может, и эскадрон. И все равно столь очевидна была ничтожная, хоть и вооружены до зубов, малость их в сравненье с молчаливой, стянутой в кулак как бы, непомерной силой, запрудившей своей живой, текучей массой площадь, что казалось: двинься вся эта масса вперед, на ружья и клинки, на откормленных, в полтора человечьих роста, лошадей — и ничего, следа даже, не останется от доблестных защитничков родимого отечества.

Но колонна, отделенная от казаков узкой полосой брусчатки, стояла нерушимо.

Нависла тишина, сторожкая, чуткая. Тишина эта висела над площадью всего несколько мгновений — долгие, бесконечные секунды. Было так мертво в эти считанные секунды, что, когда раздался едва слышно детский плаксивый крик «мама»,— это отдалось в каждом саднящим, нестерпимым ударом.

И в тот же миг дробный — сталь по камню — цокот подков шквалом пронесся над площадью. Казаки вслед за своим подъесаулом, гарцевавшим на игривом, отменных статей жеребце, развернули коней и с места в галоп загромыхали прочь по пустынной Моховой — к Воздвиженке и Волхонке, открывая дорогу колонне.

Процессия свернула на Большую Никитскую.

И здесь, едва голова колонны поравнялась со зданием консерватории, из-за ограды вышел оркестр, и тотчас, послушные взмаху дирижера, взметнулись ввысь, выше колонны, выше гроба, взнесенного над головами, выше реющих знамен,— взметнулись, вскинулись в небо звуки похоронного марша. Необученные, хриплые голоса сплелись в нечто неповторимое и прекрасное.

Вы жертвою пали в борьбе роковой
Любви беззаветной к народу,
Вы отдали все, что могли, за него,
За жизнь его, честь и свободу.

Высоко и светло, с неожиданной слаженностью, звучала песня.

Падет произвол, и восстанет народ,
Великий, могучий, свободный!
Прощайте же, братья! Вы честно прошли
Ваш доблестный путь благородный...

Уже стемнело, когда подошли к Ваганькову.

Наступала последняя минута.

У могилы говорил Виргилий Шанцер.

— Товарищи,— с трудом начал он.— Мы опускаем в могилу гроб одного из передовых борцов за дело пролетариата. Мы потеряли замечательного революционера, верного товарища, незаменимого организатора. Вся недолгая жизнь его — вся без остатка — отдана борьбе за свободу. И он погиб тогда, когда уже занялась заря нашей победы... Пусть смерть его сплотит ряды борцов в несокрушимый монолит, усилит нашу решимость смести без пощады этот строй тиранов и наемных убийц. Безгранично наше горе. Безмерна наша ярость. Но эта ярость не ослепит нас. С холодным рассудком мы будем готовиться к решающей схватке.

Рядом с могилой стояла молодая высокая женщина, вся в черном. Кто-то сказал неподалеку, что это жена Баумана, и Качалов с горечью подумал, что Бауман так и не успел познакомить с ней... Сдерживая рыдания, жена Баумана говорила тихо, с долгими паузами, но была такая тишина, что ее слышали все. Освещенная огнями факелов, она говорила:

— Перед вами женщина, оплакивающая не только мужа, но и друга, товарища, в котором она всегда находила поддержку в борьбе... Враги хотели нам нанести ущерб этой смертью, совершенной наемным убийцей, но вышло... вышло наоборот. Несметная армия пролетариата вышла на улицу, организовалась там, произвела грандиозную манифестацию,— она расправила крылья и показала свои силы врагам!.. К оружию! Готовьтесь к вооруженному восстанию, товарищи, не давайте черной сотне безнаказанно вырывать борцов из рядов наших!

Качалов плакал.

Содержание

Долгий Вольф Гитманович

Д64 КНИГА О СЧАСТЛИВОМ ЧЕЛОВЕКЕ. (Повесть о Николае Баумане). М., Политиздат, 1971.

448 с. с илл. (Пламенные революционеры).

Р2 + 3КП1 (092)

Редактор *А. П. Пастухова*
Художник *Г. А. Позин*
Художественный редактор *В. И. Терещенко*
Технический редактор *О. М. Семенова*

Подписано в печать с матриц 23 декабря 1970 г. Формат 70 × 108¹/₃₂. Бумага типографская № 1. Условн. печ. л. 20,21. Учетно-изд. л. 18,48. Тираж 200 000 (100 001—200 000) экз. А 02737. Заказ № 4084. Цена 79 коп.

Политиздат, Москва, А-47, Миусская пл., 7.

Ордена Ленина типография «Красный пролетарий». Москва, Краснопролетарская, 16.





Книга о счастливом человеке ПР ВОЛЬФ ДОЛГИЙ